

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эдуард, — так мы будем звать богатого барона в полном расцвете сил, — Эдуард чудесным апрельским вечером целый час провел в своем питомнике, прививая молодым дичкам свежие черенки. Он только что покончил с этим занятием и как раз складывал инструменты в футляр, с удовлетворением глядя на сделанное, когда подошел садовник и остановился полюбоваться на труд и усердие своего господина.

— Не видал ли ты мою жену? — спросил Эдуард, собираясь уходить.

— Госпожа там, в новой части парка, — отвечал садовник. — Сегодня заканчивают дерновую хижину на скале, что против замка. Все вышло очень хорошо и, наверно, понравится вашей милости. Прекрасный оттуда вид: внизу деревня, немного правее — церковь, так что глядишь чуть ли не поверх шпиля, а напротив — замок и сады.

— И в самом деле, — ответил Эдуард, — когда я шел сюда, я же видел, как там работали.

— Дальше, направо, — все рассказывал садовник, — видна долина, а за перелесками даль, такая светлая. Ступеньки в скале высечены нельзя лучше. Наша госпожа знает толк в этих делах, для нее трудиться с радостью.

— Пойди к ней, — сказал Эдуард, — и попроси подождать меня. Скажи ей, что я хочу видеть ее новое творение и полюбоваться им.

Садовник тотчас же ушел, а вскоре за ним последовал и Эдуард.

Он спустился по террасам парка, мимоходом оглядел оранжерею и парники, дошел до ручья и, миновав мостик, добрался до того места, где дорожка к новой части парка разбежалась двумя тропинками. Пошел он не по той, что вела к скале прямо через кладбище, а выбрал другую, что вилась вверх несколько левее, скрытая живописными кустами; там, где тропинки вновь соединялись, он присел на минутку на скамью, весьма кстати поставленную в этом месте, а затем стал подниматься по ступеням, выбитым в скале; эта узкая дорожка, то крутая, то более отлогая, через ряд лестниц и уступов привела его наконец к дерновой хижине.

В ее дверях Шарлотта встретила своего супруга и усадила так, чтобы он сразу, сквозь окна и дверь, мог охватить одним взглядом окрестности — разнообразный ряд картин, словно вставленных в рамы. Он с радостью думал о том, что весна сделает все вокруг еще более пышным.

— Только одно могу заметить, — сказал он: — в хижине, мне кажется, слишком тесно.

— Для нас двоих в ней все же достаточно просторно, — возразила Шарлотта.

— Да здесь, — сказал Эдуард, — и для третьего найдется место.

— Разумеется, — заметила Шарлотта. — И для четвертого тоже. А общество более многочисленное мы примем где-нибудь в другом месте.

— Раз уж мы здесь одни, — сказал Эдуард, — и никто нам не мешает, и мы оба к тому же в спокойном и веселом расположении духа, я должен сделать тебе признание: уже с некоторых пор мое сердце тяготит одно обстоятельство, о котором мне надо и хотелось бы тебе сказать, и все же я никак не могу собраться это сделать.

— Я это видела по тебе, — ответила Шарлотта.

— Признаться, — продолжал Эдуард, — что если бы не надо было торопиться из-за почты, — а она отправляется завтра, — если бы не требовалось принять решение еще сегодня, я, пожалуй, молчал бы и дольше.

— Что же это такое? — с ободряющей улыбкой спросила Шарлотта.

— Дело касается нашего друга, капитана, — ответил Эдуард. — Тебе ведь известно то печальное положение, в котором он, как иногда случается, оказался не по своей вине. Как тяжело должно быть человеку с его познаниями, его талантом и способностями остаться без всякого дела, и... не буду больше таить то, что я желал бы для него сделать: мне хочется пригласить его на некоторое время к нам.

— Это надо обдумать и взвесить с разных сторон, — ответила Шарлотта.

— Я хочу сказать тебе мое мнение, — продолжал Эдуард. — В последнем его письме чувствуется молчаливое, но глубокое недовольство. Не то чтобы он в чем-нибудь терпел нужду: ведь он, как никто, умеет ограничивать себя, а о самом необходимом я позаботился; принять что-либо от меня тоже не тягостно для него, ибо мы в течение жизни столько рад бывали в долгу друг у друга, что не можем и подсчитать, каков наш дебет и кредит... Он ничем не занят, вот что, собственно, мучит его. Ежедневно, ежечасно обращать на пользу другим все те разносторонние знания, которые ему удалось приобрести, — в этом единственное его удовольствие, вернее даже — страсть. И вот сидеть сложа руки или же снова учиться и развивать в себе новые способности, в то время как он не в силах применить и то, чем уже владеет в полной мере, — словом, милое мое дитя, это горькая участь, и всю ее мучительность он в своем одиночестве ощущает вдвойне, а то и втройне.

— А я думала, — сказала Шарлотта, — что ему уже сделаны разные предложения. Я и сама писала о нем кое-кому из моих друзей и подруг, готовых помочь, и, сколько я знаю, Это не осталось без последствий.

— Все это так, — отвечал Эдуард, — но представившиеся случаи, сделанные ему предложения, явились для него лишь источником новых мучений, нового беспокойства, — ни одно из них не удовлетворяет его. Он должен бездействовать, он должен принести в жертву себя, свое время, свои взгляды, свои привычки, а это для него нестерпимо. Чем больше я обо всем этом думаю, чем живее это чувствую, тем сильнее во мне желание увидеть его у нас.

— Очень хорошо и мило, — возразила Шарлотта, — что ты с таким участием печешься о положении друга, но все же позволь мне просить тебя, чтобы ты подумал и о себе самом и о нас.

— Я подумал, — ответил Эдуард. — От общения с ним мы можем ждать только пользы и удовольствия. Об издержках не стоит и говорить: ведь они все равно не будут для меня значительными, если он к нам переедет, а присутствие его нас несколько не стеснит. Жить он может в правом флигеле Замка, все остальное устроится само собой. Как много это будет для него значить, а сколько приятного, сколько полезного принесет нам жизнь в его обществе! Мне давно хотелось произвести обмер поместья и всей местности; он возьмется за это дело и доведет его до конца. Ты собираешься, как только истекут сроки контрактов с арендаторами, сама управлять имениями. Это очень серьезный шаг! А сколько сведений, необходимых для этого, нам может сообщить капитан! Я слишком ясно чувствую, что мне недостает именно такого человека. Крестьяне знают все, что нужно, но когда рассказывают, то путаются и хитрят. Люди ученые из городов и академий, — конечно, толковые и порядочные, но им не хватает настоящего понимания дела. На друга же я могу рассчитывать и в том и в другом отношении; кроме того, тут возникает еще и множество других обстоятельств, о которых я думаю с большим удовольствием; они касаются и тебя, и я жду от них немало хорошего. Позволь поблагодарить тебя за то, что ты так терпеливо выслушала меня, а теперь говори ты так же откровенно и подробно и скажи все, что хочешь сказать, я не буду перебивать тебя.

— Хорошо, — сказала Шарлотта, — только я начну с одного общего замечания. Мужчины больше думают о частностях, о настоящем, и это вполне понятно, ибо они призваны творить, действовать; женщины же, напротив, больше думают о том, что связывает различные стороны жизни, и они тоже правы, ибо их судьба, судьба их семей зависит от этих связей, участия в которых как раз и требуют от женщины. Если мы бросим взгляд на нашу нынешнюю и на нашу прошлую жизнь, то тебе придется признать, что мысль пригласить капитана не вполне отвечает нашим намерениям, нашим планам, нашему укладу.

А как мне приятно вспоминать о наших прежних отношениях с тобой! Мы смолodu всем сердцем полюбили друг друга, нас разлучили: твой отец, ненасытный в своей жажде накопления, соединил тебя с богатой, уже немолодой женщиной; мне же, не имевшей никаких надежд на лучшее будущее, пришлось отдать руку человеку состоятельному, не любимому, но вполне достойному. Мы вновь стали свободны, ты — раньше, получив в наследство от твоей старушки крупное состояние, я — позже, как раз в то время, когда ты возвратился из путешествия. Так мы встретились вновь. Мы радовались воспоминаниям, наслаждались ими, и никто не мешал нам быть вместе. Ты убеждал меня соединиться с тобой; я не сразу согласилась; ведь мы почти одного возраста, и я, женщина, конечно, состарилась больше, чем ты. В конце концов я все же не захотела отказать тебе в том, что ты почитал за единственное свое счастье. Подле меня и вместе со мной ты хотел, отдохнув от всех тревожений, какие испытал при дворе, на военной службе, в путешествиях, отвлечься, насладиться жизнью, но спать-таки только наедине со мной. Мою единственную дочь я поместила в пансион, где она, конечно, получает образование более разностороннее, чем то было в сельском уединении; и не только ее, но и Оттилию я отправила туда, мою милую племянницу, которая под моим надзором, может быть, стала бы мне самой лучшей помощницей в домашних делах. Все это было сделано с твоего согласия — и только затем, чтобы мы спокойно могли жить для самих себя, чтобы мы могли насладиться счастьем, которого некогда так страстно желали, но так поздно достигли. С этого началась наша сельская жизнь. Я взялась устроить ее внутреннюю сторону, ты же внешнюю и все в целом. Я попыталась во всем пойти тебе навстречу, жить только ради тебя; так давай же испробуем хотя бы в течение малого срока, сумеем ли мы прожить в общении только друг с другом.

— Поскольку, — возразил Эдуард, — жизненные связи, как ты выразилась, составляют собственно вашу стихию, нам не к чему выслушивать от вас такие связные речи или уж надо решаться признать вашу правоту, да ты и была права вплоть до нынешнего дня. Основа, на которой мы доселе строили нашу жизнь, хороша, но неужели мы больше ничего не воздвигнем на ней и больше ничего из нее не разовьется? То, что я делаю в саду, а ты — в парке, неужели предназначено для отшельников?

— Прекрасно, — возразила Шарлотта. — Превосходно! Но только бы не внести сюда чего-нибудь постороннего, чужого... Подумай, ведь и в том, что касается времяпрепровождения, мы рассчитывали главным образом на жизнь вдвоем. Ты хотел для начала ознакомить меня с дневниками твоих путешествий во всей их последовательности, а для этого привести в порядок часть бумаг, относящуюся к ним, и при моем участии, при моей помощи составить из этих бесценных, но перепутанных тетрадей и беспорядочных записей нечто целое, занимательное для вас и для других. Я обещала помочь тебе при переписывании, и мы представляли себе, как хорошо, как мило, уютно и отраднo нам будет мысленно странствовать по свету, который нам не было суждено увидеть вместе. Да начало уже и положено. По вечерам ты теперь снова берешься за флейту, аккомпанируешь мне на фортепиано; к тому же нередко мы ездим в гости к соседям и соседи к вам. Из всего этого, по крайней мере для меня, складывались планы на лето, которое я впервые в жизни собиралась провести по-настоящему весело.

— Если бы только, — ответил Эдуард и потер рукою лоб, — если бы только, слушая все, о чем ты так мило и разумно мне напоминаешь, я не думал в то же время, что присутствие капитана ничему не помешает, а, напротив, все ускорит и оживит. И он одно время путешествовал со мной, и он многое запомнил, притом по-иному, чем я; всем этим мы воспользовались бы сообщд, и создалось бы прекрасное целое.

— Так позволь же мне откровенно признаться тебе, — с некоторым нетерпением промолвила Шарлотта, — что твоему намерению противится мое сердце, что предчувствие не сулит мне ничего хорошего.

— Вот потому-то вы, женщины, и непобедимы, — ответил Эдуард, — сперва вы благоразумны — так, что невозможно вам противоречить; милы — так, что вам охотно подчиняешься; чувствительны — так, что боишься вас обидеть; наконец, полны предчувствий — так, что становится страшно.

— Я не суеверна, — возразила Шарлотта, — и не придаю значения этим порывам души, если только за ними не кроется ничего иного; но по большей части это неосознанные воспоминания о пережитых нами счастливых или несчастных последствиях своих или чужих поступков. В любых обстоятельствах прибытие третьего знаменательно. Я видела друзей, братьев и сестер, влюбленных, супругов, отношения которых совершенно менялись, и в жизни происходил полный переворот после нечаянного появления или заранее обдуманного приглашения нового лица.

— Это, — отвечал Эдуард, — вполне может случиться с людьми, которые живут, ни в чем не отдавая себе отчета, но не с теми, кто научен опытом и руководствуется сознанием.

— Сознание, мой милый, — возразила Шарлотта, — оружие непригодное, порою даже опасное для того, кто им владеет, и из всего этого вытекает по меньшей мере, что нам не следует слишком спешить. Дай мне еще несколько дней сроку, не принимай решения!

— В таком случае, — ответил Эдуард, — мы и через несколько дней рискуем поторопиться. Доводы «за» и «против» привел каждый из нас, остается только решить, и, право, здесь было бы лучше всего бросить жребий.

— Я знаю, — возразила Шарлотта, — что ты в сомнительных случаях любишь биться об заклад или бросать кости, но я в таком важном деле сочла бы это святотатством.

— Но что же мне написать капитану? — воскликнул Эдуард. — Ведь я же сейчас должен сесть за письмо.

— Напиши спокойное, благоразумное, утешительное письмо, — сказала Шарлотта.

— Это все равно, что ничего не написать, — возразил Эдуард.

— И все же в иных случаях, — заметила Шарлотта, — необходимость и долг дружбы скорее велят написать какой-нибудь пустяк, чем не написать ничего.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Эдуард уединился у себя в комнате и был в глубине своего чувствительного сердца приятно взволнован словами Шарлотты, которая заставила его вновь пережить пройденный путь, осознать сложившиеся между ними отношения и их дальнейшие планы. В ее присутствии, в ее обществе он чувствовал себя столь счастливым, что уже обдумывал приветливое, участливое, но спокойное и ни к чему не обязывающее письмо капитану. Но когда он подошел к письменному столу и взял письмо друга, чтобы еще раз перечитать его, ему тотчас живо представилось печальное состояние этого превосходного человека; все чувства, томившие его в последние дни, снова воскресли в нем, и ему показалось невозможным оставить друга в столь тягостном положении.

Отказывать себе в чем-либо Эдуард не привык. Единственный балованный сын богатых родителей, склонивших его на несколько необычный, но в высшей степени выгодный брак с женщиной уже пожилой, которая всячески потакала ему и старалась величайшей щедростью отплатить ему за доброе отношение к ней, он, став после ее смерти полным хозяином своих поступков, привыкнув в путешествиях к независимости, допускавшей любое развлечение, любую перемену, не требуя от жизни ничего чрезмерного, но многого и разного, — прямой, отзывчивый, порядочный, где нужно — даже смелый, — в чем мог он встретить помехи своим желаниям?

До сих пор все шло в согласии с его желаниями, он добился наконец и руки Шарлотты благодаря настойчивой, почти романтической верности, и вот он впервые чувствовал, что ему перечат, что ему мешают, и как раз тогда, когда он собрался привлечь к себе друга своей молодости, когда всему складу своей жизни он собирался придать некую завершенность. Он был раздосадован, раздражен, несколько раз брался за перо и снова его откладывал, ибо так и не решил, что же ему писать. Против желаний своей жены он не хотел идти, а исполнить их не мог; полный такого беспокойства, он должен был написать спокойное письмо, что было совершенно невозможно. Естественно, что он дал себе отсрочку. Он в немногих словах просил друга извинить его, что не писал эти дни, что и сегодня не пишет подробно, и обещал в ближайшем будущем письмо более содержательное и успокоительное.

На следующий день, во время прогулки к тому же самому месту, Шарлотта воспользовалась случаем и возобновила вчерашний разговор, держась, вероятно, того мнения, что самый надежный способ притупить чужое намерение — это часто его обсуждать...

Эдуард сам желал к нему вернуться. Говорил он, по обыкновению, дружелюбно и мило: если благодаря своей впечатлительности он легко воспламенялся, если, живо к чему-либо стремясь, он проявлял настойчивость, если его упрямство могло вызвать досаду в другом, то все его доводы настолько смягчала совершенная деликатность в отношении собеседника, что, несмотря на такую настойчивость, его всегда находили любезным.

Так ему в это утро удалось сперва привести Шарлотту в веселое расположение духа, а потом, искусно меняя течение разговора, настолько задеть ее за живое, что под конец она воскликнула:

— Ты, наверно, хочешь, чтобы возлюбленному я уступила в том, в чем я отказала мужу. Но тебе, дорогой мой, — продолжала она, — пусть хоть будет известно, что твои желания и та милая живость, с которой ты их выражаешь, не оставили меня равнодушной или бесчувственной. Они побуждают меня сделать признание. Я тоже кое-что от тебя скрывала. Я нахожусь в таком же положении, как и ты, и уже сделала над собой усилие, которого жду теперь от тебя.

— Это мне отрадно слышать, — сказал Эдуард. — Я замечаю, что в супружеской жизни порой полезны разногласия, ибо благодаря им узнаешь друг о друге кое-что новое.

— Итак, да будет тебе известно, — сказала Шарлотта, — что у меня с Оттилией дело обстоит так же, как у тебя с капитаном. Мне очень жаль, что это милое дитя находится в пансионе, где ей, конечно, тяжело. Если Люциана, моя дочь, рожденная для жизни в свете, и

воспитывается там для света, если иностранные языки, история и прочие сведения из наук, преподаваемые ей, даются ей так же легко, как гамма и вариации, схватываемые ею с листа, если при живости своею характера и отличной памяти она, можно сказать, все забывает и сразу же все вспоминает, если она непринужденностью в обращении, грацией в танцах, уверенной легкостью в разговоре первенствует над всеми и, самой природой предназначенная властвовать, царит в своем тесном кружке; если начальница этого пансиона видит в ней маленькое божество, которое, лишь попав в ее руки, по-настоящему расцвело и которое принесет ей честь, завоеует ей доверие и привлечет целый поток других юных девиц; если первые листки ее писем и ежемесячных отчетов содержат сплошные гимны бесценным свойствам этого ребенка — гимны, которые я вынуждена переводить на свою прозу, — то, напротив, все ее последующие упоминания об Оттилии не что иное, как извинение за извинением по поводу того, что такая, во всем остальном превосходная, девушка не развивается и не выказывает ни способностей, ни талантов. То немногое, что она сверх этого добавляет, тоже не загадка для меня, ибо в этом милом ребенке я всецело узнаю характер ее матери, моей дорогой подруги, выросшей вместе со мной, и из дочери ее, если бы я могла сама воспитывать ее или следить за ней, я сделала бы чудесное существо.

Но так как это отнюдь не входит в наши планы и уклад жизни нельзя то и дело менять и перестраивать, вводя в него что-нибудь новое, я готова примириться с таким положением, даже подавить в себе тягостное чувство при мысли, что моя дочь, прекрасно знающая о полной зависимости бедной Оттилии от нас, кичится перед ней своими достоинствами и том самым до некоторой степени уничтожает добро, сделанное нами.

Но где найти человека столь просвещенного, чтобы он не стал иной раз жестоко злоупотреблять своими преимуществами перед другими? Кто стоит столь высоко, чтобы ему не приходилось порой страдать под тяжестью такого гнета? Эти испытания возвышают Оттилию, но с той поры, как мне уяснилось ее тяжелое состояние, я старалась поместить ее в другое заведение. С часу на час должен прийти ответ, и тут уж я не стану медлить. Так обстоит со мной, мой милый. Ты видишь, у каждого из нас в сердце одинаковые заботы, вызванные верностью и дружбой. Так будем же вести их вместе, раз мы не можем друг друга освободить от них.

— Странные мы люди, — сказал Эдуард, улыбаясь. — Как только нам удастся удалить от себя то, что причиняет нам заботы, мы уже думаем, будто с ними покончено. Мы способны многим жертвовать, но побороть себя в малом — вот требование, которое мы редко можем удовлетворить. Такова была моя мать. Пока я был мальчиком и юношей и жил при ней, ее ежеминутно одолевали беспокойства. Если я запаздывал с верховой прогулки, — значит, со мной произошло несчастье; если я попадал под ливень, — значит, была неминуема лихорадка. Я расстался с ней, уехал далеко от нее — и словно перестал для нее существовать... Если, — продолжал он, — вдуматься поглубже, то оба мы поступаем неразумно и неосмотрительно, оставляя в печальном и трудном положении два благороднейших существа, столь близких нашему сердцу, и только для того, чтобы не подвергать себя опасности. Если не назвать это эгоизмом, то что же заслуживает такого названия? Возьми Оттилию, мне предоставь капитана, и бог да поможет нам в этой попытке!

— Рискнуть можно было бы, — нерешительно сказала Шарлотта, — если бы опасность касалась только нас. Но считаешь ли ты возможным соединить под одним кровом капитана и Оттилию, мужчину твоего примерно возраста, того возраста, — этот комплимент я скажу тебе прямо в глаза, — когда мужчина только и становится способным любить и достойным любви, и девушку таких достоинств, как Оттилия?

— Я никак не пойму, — отвечал Эдуард, — почему ты так высоко ставишь Оттилию. И объясняю это себе только тем, что на нее ты перенесла свою привязанность к ее матери. Она хороша собою, это правда, и я вспоминаю, что капитан обратил мое внимание на нее, когда мы год тому назад вернулись из путешествия и встретили ее вместе с тобой у твоей тетки. Она хороша, особенно красивы у нее глаза, и все же на меня она не произвела ни малейшего впечатления.

— Это очень похвально с твоей стороны, — сказала Шарлотта. — Ведь тут же была и я, и хотя она моложе меня намного, но присутствие твоей более старой подруги имело для тебя такую прелесть, что твой взгляд не задержался на ее распускающейся и многообещающей красоте. Это тоже одно из тех свойств твоего характера, благодаря которым мне так приятна жизнь с тобой.

Несмотря на всю видимую искренность своих речей, Шарлотта кое-что скрывала. Дело в том, что возвратившемуся из путешествия Эдуарду она нарочно показала тогда Оттилию, желая составить для любимой приемной дочери такую прекрасную партию. Капитан, тоже посвященный в замысел, должен был указать на нее Эдуарду, но тот, упорно храня в душе старую любовь к Шарлотте, был слеп ко всему и чувствовал себя счастливым лишь при мысли о возможности обрести наконец то, к чему он так страстно стремился и от чего ему, по целому ряду обстоятельств, пришлось отказаться, как он думал, навсегда.

Супруги уже намеревались спуститься к замку по вновь разбитым участкам парка, как вдруг они увидели, что навстречу им быстро поднимается слуга, веселый голос которого донесся к ним еще снизу.

— Ваша милость, идите скорее! К замку прискакал господин Митлер. Он созвал всех нас и велел разыскать вас и спросить, не нужен ли он? «Не нужен ли?» — кричал он нам вслед. — Слышите? Да живей, живей!»

— Вот забавный человек! — воскликнул Эдуард. — Пожалуй, он приехал в самое время, не правда ли, Шарлотта? Беги за ним! — приказал он слуге. — Скажи ему, что нужен, очень нужен! Пусть он задержится. Позаботьтесь о лошади, а его отведите в залу и подайте завтрак, мы сейчас придем. Пойдем кратчайшей дорогой, — сказал он жене и выбрал путь через кладбище, которого обычно избегал. Но как же он был удивлен, когда увидел, что Шарлотта и здесь выказала заботу, исполненную чувства. Всячески щадя старые памятники, она во все сумела внести такую стройность и такой порядок, что место это являло теперь отрадное зрелище, привлекавшее и взгляд и воображение прохожего.

Даже самым древним надгробиям она воздала должный почет. Они были расставлены вдоль ограды, в последовательности годов, частью вделаны в нее, частью нашли себе другое применение. Даже высокий цоколь церкви был разнообразно украшен ими. Отворив калитку, Эдуард остановился, пораженный; он пожал Шарлотте руку, и в глазах его блеснула слеза.

Но она сразу исчезла при появлении гостя-чудака. Тому не сиделось; он проскакал галопом через деревню на кладбище, где остановил коня, и крикнул своим друзьям, шедшим навстречу:

— А вы надо мной не шутите? Если и вправду нужен, я останусь здесь до обеда, но без надобности меня не задерживайте: у меня сегодня много дела.

— Раз уж вы проделали такой путь, — закричал ему Эдуард, — то въезжайте прямо сюда и поглядите, как красиво Шарлотта убрала это печальное место, у которого мы встретились сейчас.

— Сюда, — воскликнул всадник, — я не собираюсь ни верхом, ни в карете, ни пешком. Те, кто здесь, пусть починут в мире, мне с ними нечего делать! Вот когда меня притащат сюда ногами вперед, то придется покориться. Так вы всерьез?

— Да, — воскликнула Шарлотта, — вполне всерьез! Мы, молодожены, в первый раз в смущении и тревоге и не знаем, как себе помочь.

— По виду не скажешь, — ответил он, — но я готов поверить. Если вы меня обманываете, то я вам больше помогать не стану. Живо идите за мной; а лошадь пока пусть отдохнет.

Вскоре все трое уже сидели в зале; завтрак был подан, и Митлер рассказывал о своих сегодняшних делах и намерениях. Этот необыкновенный человек был прежде духовным лицом и, неутомимо деятельный в своей службе, отличался тем, что умел уладить и прекратить любую ссору и спор как в семье, так и между соседями, а впоследствии и между целыми приходами или несколькими землевладельцами. Пока он служил в своей должности, ни одна супружеская чета не возбуждала ходатайства о разводе, и местные суды никто не утруждал тяжбой или процессом. Вовремя поняв, как важна для него юриспруденция, он целиком погрузился в ее изучение и вскоре уже чувствовал себя в состоянии померяться с любым адвокатом. Круг его деятельности необычайно расширился, и его уже собирались пригласить в резиденцию, дабы сверху завершить то, что он начал снизу, как вдруг на его долю выпал крупный выигрыш в лотерее, он купил себе небольшое имение, сдал его арендаторам и сделал центром своей деятельности с твердым намерением, — или, скорее, то была старая склонность и привычка, — не бывать в таких домах, где не требовалось кого-либо мирить и кому-нибудь помогать. Те, кто вкладывает в имена суеверный смысл, утверждают, что самая фамилия побудила его принять это своеобразное решение[1].

Когда подали десерт, гость строгим тоном предложил хозяевам не медлить более с признаниями, так как ему после кофе немедленно надо ехать. Супруги стали подробно рассказывать, ко едва только он усвоил суть дела, как сердито вскочил из-за стола, подбежал к окну и приказал седлать лошадь.

— Либо вы меня не знаете, — вскричал он, — и не понимаете, либо вы очень злые люди. Разве же это спор? Разве здесь нужна помощь? Неужели вы думаете, будто я на то и существую, чтобы давать советы? Это глупейшее ремесло, какое только может быть. Пусть каждый сам себе советует и делает то, что ему надо делать. Если ему везет, пусть он радуется своей мудрости и удаче; если ему не посчастливилось, я готов помочь. Кто хочет пособить горю, тот всегда знает, чего хочет; кто от добра ищет добра, тот всегда действует вслепую... Да, да! Можете смеяться, — он играет в жмурки, он, пожалуй, даже и поймает, но что? Поступайте как хотите, это все едино. Зовите друзей к себе или не заботьтесь о них — все едино! Я видел, как самые разумные начинания терпели неудачу, а нелепейшие удавались. Не ломайте себе головы, а если и так и сяк выйдет плохо, тоже не горюйте. Пошлите только за мной, и я вам помогу. А до той поры — ваш покорный слуга! — И он, так и не дожидаясь кофе, вскочил в седло.

— Вот видишь, — сказала Шарлотта, — как, в сущности, мало пользы может принести третий там, где нет полного согласия между двумя близкими друг другу людьми. Ведь мы сейчас, если это только возможно, в еще большем смятении и нерешительности, чем были раньше.

Супруги долгое время пребывали бы в колебаниях, если бы не пришел ответ от капитана на последнее письмо Эдуарда. Он решил принять одно из предложенных ему мест, хотя оно ему отнюдь не подходило. Ему предстояло делить скуку со знатными и богатыми людьми, возлагавшими надежду на то, что ему удастся ее рассеять.

Эдуард ясно оценил все положение и обрисовал его резкими чертами.

— Потерпим ли мы, чтобы друг наш находился в подобном состоянии? — воскликнул он. — Ты не можешь быть так жестока, Шарлотта!

— Этот чудак, наш Митлер, — ответила Шарлотта, — в конце концов все же прав. Ведь подобные начинания рискованны. Что из них получится, никто не знает. Такие перемены в жизни могут быть чреватые счастьем и горем, но мы не вправе усматривать в этом ни своей заслуги, ни своей вины. Я не чувствую в себе достаточной силы долгие противоречить себе. Сделаем попытку. Единственное, о чем я тебя прошу, чтобы это было ненадолго. Мне же позволь более деятельно, нежели до сих пор, заняться хлопотами о нем и пустить в ход мое влияние и знакомства, чтобы доставить ему место, которое могло бы сколько-нибудь удовлетворить человека его склада.

Свою живейшую признательность Эдуард в самых душевных словах высказал Шарлотте. С легким и радостным сердцем он поспешил написать другу о своем предложении. Шарлотта сделала дружескую приписку, в которой она присоединилась к просьбам Эдуарда и одобряла его план. Писала она с привычной легкостью, любезно и приветливо, но с некоторой торопливостью, вообще несвойственной ей, и, что не часто с ней случалось, под конец испортила листок чернильным пятном; рассерженная, она попыталась стереть его, но только еще больше размазала.

Эдуард пошутил по этому поводу и, так как место еще оставалось, сделал вторую приписку, прося друга видеть здесь признак нетерпения, с которым его ждут, и в соответствии с поспешностью, с какой писалось письмо, ускорить свой приезд.

Слуга ушел на почту, и Эдуард избрал самый убедительный путь для выражения своей благодарности, вновь и вновь настаивая на том, чтобы Шарлотта немедленно взяла к себе Оттилию из пансиона.

Шарлотта попросила повременить с этим и постаралась пробудить в этот вечер у Эдуарда охоту заняться музыкой. Она прекрасно играла на рояле, Эдуард — менее искусно на флейте; если он порою прилагал немало усилий, то все же ему не было дано терпения и выдержки, которые требуются для развития таланта в этом деле. Вот почему он исполнял свою партию очень неровно: местами —

удачно, только, пожалуй, слишком быстро, в других местах же, напротив, замедлял темп, ибо не был в них уверен, и всякому другому труден был бы дуэт с ним. Но Шарлотта умела применяться к нему: она то замедляла темп, то вновь его ускоряла и таким образом несла двойную обязанность опытного капельмейстера и умной хозяйки, в целом всегда соблюдая меру, хотя отдельные пассажи и не всегда выдерживались в такте.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Капитан приехал. Перед тем он прислал весьма рассудительное письмо, которое совершенно успокоило Шарлотту. Такая ясность взгляда на самого себя, такая отчетливость в понимании своего положения, положения своих друзей обещали светлое и радостное будущее.

Разговоры в течение первых часов, как обычно при встречах друзей, не видевшихся некоторое время, были оживленны, почти утомительны. Под вечер Шарлотта предложила прогулку в новую часть парка. Местность очень нравилась капитану, и он замечал все то живописное, что теперь только стало видимо и радовало взор в перспективе новых аллей. У него был взгляд знатока, и притом такого, который умеет довольствоваться тем, что есть, и хотя он прекрасно понимал, к чему нужно стремиться, он не расстраивал людей, показывавших ему свои владения, не требовал, как это нередко бывает, большего, чем позволяют обстоятельства, не напоминал о чем-либо более совершенном, виденном в другом месте.

Они пришли к дерновой хижине, которая оказалась причудливо украшенной, правда, искусственными цветами и зимней зеленью, но среди этой зелени попадались также пучки колосьев пшеницы и других полевых злаков и ветки садовых растений, красотой своей делавшие честь художественному чувству той, что создала это убранство.

— Хотя муж мой и не любит, чтобы праздновали день его именин или рождения, но сегодня он все же не посетует на меня за то, что эти скромные венки я посвятила тройному празднику.

— Тройному? — воскликнул Эдуард.

— Разумеется! — ответила Шарлотта. — На приезд нашего друга мы, естественно, смотрим как на праздник. А кроме того, вы оба не подумали, что сегодня ваши именины. Ведь вас — и того и другого — зовут Отто?

Приятели протянули друг другу руки над маленьким столом.

— Ты, — сказал Эдуард, — приводишь мне на память годы нашей юношеской дружбы. В детстве мы оба носили это имя, но когда мы оказались в одном пансионе и из-за этого получился ряд недоразумений, я добровольно уступил ему это красивое лаконичное имя.

— При этом ты все-таки поступил не слишком уж великодушно, — сказал капитан. — Ибо я хорошо помню, что имя Эдуард нравилось тебе больше: ведь оно, когда его произносят милые уста, особенно благозвучно.

Так они втроем сидели за тем самым столиком, у которого Шарлотта столь горячо возражала против приглашения гостя. Эдуард, вполне удовлетворенный, хотя и не желал напоминать жене о тех часах, все же не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Для четвертого здесь тоже хватило бы места.

В этот миг со стороны замка донеслись звуки охотничьих рогов, словно подтверждая и подкрепляя добрые помыслы и намерения сошедшихся друзей. Они молча слушали, углубившись каждый в самого себя и вдвойне ощущая собственное счастье в этом прекрасном единении.

Эдуард первый прервал молчание, поднявшись с места и выйдя из хижины.

— Давай, — сказал он Шарлотте, — поведем нашего друга прямо на самую вершину холма, чтобы он не подумал, будто только эта тесная долина и составляет наше родовое поместье и постоянное пребывание; наверху кругозор расширяется и грудь дышит вольней.

— Только нам на сей раз, — заметила Шарлотта, — придется взбираться еще по старой крутой тропинке. Но я надеюсь, мои дорожки и ступеньки вскоре позволят нам с большим удобством подниматься на самый верх.

Подымаясь по скалам, пробираясь через кусты и заросли, они наконец достигли высшей точки: то была не ровная площадка, а гребень, тянувшийся вдаль и покрытый растительностью. Деревня и замок остались внизу, далеко позади, и не были уже видны. В самом низу раскинулись пруды, за ними можно было различить поросшие деревьями холмы, вдоль которых они тянулись, и, наконец, отвесные скалы, четко замыкавшие вдали их зеркальную гладь и величаво отражавшиеся в ней. Там, в ложбине, где над прудами низвергался водопад, притаилась мельница, и все это место казалось приветливой обителью покоя. В пределах полукружия, замкнутого горизонтом, всюду разнообразно чередовались долины и холмы, кустарник и леса, молодая зелень которых обещала в будущем пышный расцвет. Там и здесь приковывали взгляд отдельные купы деревьев. Особенно привлекательно выделялась внизу, у самых ног друзей, занятых созерцанием, группа тополей и платанов вблизи среднего пруда. Они подымались, стройные, крепкие, разрастаясь ввысь и вширь.

Эдуард попросил друга повнимательнее приглядеться к ним.

— Я сам посадил их в юности, — воскликнул он. — Это были тоненькие деревца, и я их спас, когда отец при разбивке новой части замкового сада велел их выкорчевать в разгаре лета. Наверно, они и в этом году отблагодарят меня новыми побегами.

С прогулки все вернулись довольные и веселые. В правом крыле замка гостю была отведена просторная уютная квартира, где он вскоре же разложил и расположил в порядке книги, бумаги, инструменты, собираясь заняться своими привычными делами. Но в первые дни Эдуард не давал ему покоя; он всюду звал его с собой, приглашая на пешие и верховые прогулки, и знакомил его с местностью, со

своими владениями, рассказывая ему при этом и о своем давнишнем желании лучше познакомиться с ними, чтобы извлечь из них большую пользу.

— Первым делом, — сказал капитан, — мы снимем план местности с помощью компаса. Это занятие легкое и приятное, и если результаты его и не будут вполне точными, то все же для начала оно весьма полезно; к тому же с этим делом можно управиться без большого числа помощников. Если же ты когда-нибудь захочешь произвести более точное измерение, то мы и тут что-нибудь придумаем.

Капитан был весьма опытен в такого рода съемках. Он привез с собой необходимые инструменты и тотчас же приступил к делу, дав нужные объяснения Эдуарду, нескольким егерям и крестьянам, которые должны были помогать в работе. Дни выдались благоприятные, а вечерами и ранним утром он чертил и штриховал. Скоро все было оттушевано, раскрашено, и владения Эдуарда как будто заново возникли на бумаге. Ему казалось, что он только теперь знакомится с ними, что они только сейчас действительно стали его собственностью.

Это послужило поводом для разговора о здешнем крае, о разбивке парка, которую с помощью подобного плана осуществить гораздо легче, чем на основе случайных впечатлений, когда к природе подходишь вслепую.

— Это надо как следует объяснить моей жене, — сказал Эдуард.

— Не советую, — отвечал капитан, не любивший, чтобы чужие убеждения сталкивались с его собственными, и по опыту знавший, что людские мнения слишком многообразны и даже разумнейшими доводами их нельзя привести к единству. — Не делай этого! — воскликнул он. — Так ее легко можно сбить с толку. Для нее, как и для всякого, кто занимается подобными вещами из любви к искусству, важнее что-то делать, чем что-то сделать. В таких случаях человек блуждает ощупью среди природы; то или иное местечко вдруг полюбит ему, но у него не хватает решимости устранить препятствия на пути туда, недостает смелости чем-нибудь пожертвовать, он не может представить себе заранее, что должно получиться, и вот производятся опыты, то удачные, то неудачные, меняется то, что, может быть, следовало оставить, оставляется то, что следовало бы изменить, и в конце концов получается нечто лоскутное, оно нравится и привлекает, но не дает удовлетворения.

— Признайся откровенно, — спросил Эдуард, — ты недоволен тем, как она разбила парк?

— Если бы исполнение вполне соответствовало замыслу, а он хорош, то ничего нельзя было бы заметить. Ей мучительно далась эта дорога в гору между скал, и теперь, можно сказать, она мучит каждого, кого туда ведет. Ни рядом, ни друг за другом по этой дороге нельзя идти свободно: ритм шагов то и дело нарушается — да и мало ли что еще тут можно возразить?

— А можно было это сделать по-другому? — спросил Эдуард.

— Очень просто, — ответил капитан. — Следовало только сломать угол скалы, к тому же довольно невзрачный, — он весь искрошился, — тогда получился бы красивый поворот при подъеме в гору, да не было бы недостатка и в камнях, чтобы выложить ими участки, где дорожка узка и неудобна. Но пусть это будет между нами, мои замечания только собьют ее с толку и огорчат. Что сделано, пусть так и останется. А если не пожалеть усилий и денег, то вверху над хижинкой и на самой вершине можно придумать и сделать еще много хорошего.

Если друзья таким образом находили достаточно дела в настоящем, то немалую дань они отдавали и воспоминаниям о прошлом, в чем и Шарлотта обычно принимала участие. Решено было по завершении уже начатых работ сразу же приняться за чтение путевых записей, чтобы и таким способом воскресить прошедшее.

Впрочем, Эдуард находил меньше предметов для бесед с Шарлоттой наедине, особенно с тех пор, как сделанное ею в парке вызвало упрек, казавшийся ему столь справедливым и тяготивший его сердце. Он долго молчал о том, что ему говорил капитан; но однажды, увидев, что жена его опять принялась за свои ступеньки и дорожки, с трудом пролагая путь от дерновой хижинки к вершине, он не выдержал и, после некоторых колебаний, поделился с ней своим новым мнением.

Шарлотту оно озадачило. Она была достаточно умна, чтобы понять правильность замечаний; но уже сделанное обязывало, не позволяло ей соглашаться; оно пришлось ей по сердцу, оно ей нравилось; даже то, что заслуживало порицания, было ей до последней частички мило; она восставала против доводов, отстаивала свое маленькое творение, нападала на мужчин, которые сразу же затевают нечто большое и сложное, какую-нибудь шутку или забаву сразу превращают в серьезное дело, не думая о расходах, неизбежно связанных с широкими замыслами. Она была выведена из равновесия, обижена, рассержена; она не могла ни отказаться от старого, ни полностью отвергнуть новое; но, будучи женщиной решительной, она тотчас же приостановила работы и дала себе срок, чтобы все обдумать и дать мыслям созреть.

В то время как мужчины, оставаясь вместе, все с большим рвением отдавались своему делу, увлекались устройством сада и теплицы, но не бросали вместе с тем и привычных для помещицкой жизни занятий: ездили на охоту, покупали, меняли и объезжали лошадей, — Шарлотта, лишившись своей обычной деятельности, с каждым днем чувствовала себя все более одинокой. Она усердно принялась за переписку, продолжая свои хлопоты о капитане, и все же нередко томилась одиночеством. Тем приятнее и интереснее были для нее известия, приходившие из пансиона.

Одно из обстоятельных писем начальницы, которая, как обычно, с удовольствием распространялась об успехах дочери Шарлотты, содержало короткую приписку; мы воспроизводим ее здесь, а также и листок, написанный рукой ее помощника.

#### ПРИПИСКА НАЧАЛЬНИЦЫ

Об Оттилии я, милостивая государыня, могу, собственно говоря, повторить лишь то, о чем я уже докладывала Вам в предыдущих письмах. Бранить мне ее не за что, а между тем я не могу быть довольна ею. Она по-прежнему скромна и услужлива, но ее готовность от всего отказаться, и самая эта услужливость не нравятся мне. Ваша милость недавно прислали ей деньги и разные материи. К деньгам

она и не прикоснулась, материи тоже лежат — она до них не дотронулась. Вещи свои она, правда, хранит в большом порядке и чистоте, только ради которой как будто и меняет платья. Не могу также похвалить ее чрезвычайную воздержанность в пище и питье. За столом у вас нет ничего лишнего, но меня радует больше всего, когда дети едят досыта, а блюда — вкусны и идут им на пользу. То, что готовится со знанием дела и подается на стол, должно быть съедено. Оттилию же в этом не убедишь. Она сама придумывает себе дела, уходит поправлять какой-нибудь недосмотр прислуги, лишь бы пропустить одно блюдо или десерт. При этом не следует, однако, упускать из виду, что у нее, как я лишь недавно узнала, часто болит левый висок; боль, правда, скоро проходит, но бывает мучительна. Вот все, что касается этой в остальном милой и привлекательной девушки.

## ЗАПИСКА ПОМОЩНИКА

Наша почтенная начальница обычно дает мне читать письма, в которых она сообщает родителям и опекунам своя наблюдения над воспитанницами. То, что она пишет Вашей малости, я всегда читаю вдвойне внимательно и с двойным удовольствием, ибо если мы можем поздравить Вас как мать девушки, сочетающей в себе все те блестящие качества, которые помогают возвыситься в свете, то я, со своей стороны, считаю не меньшим для Вас счастьем заменять родителей Вашей приемной дочери, существу, рожденному на благо и на радость не только другим, но, смею надеяться, и самой себе. Оттилия едва ли не единственная из наших воспитанниц, касательно которой я не могу разделить мнение нашей глубокоуважаемой начальницы. Я отнюдь не осуждаю эту столь деятельную женщину, если она требует, чтобы плоды ее забот были видны ясно и отчетливо, но ведь есть и другие, таящиеся от нас, плоды, притом самые сочные, и рано или поздно они дадут начало новой, прекрасной жизни. Такова, несомненно, и Ваша приемная дочь. С тех пор как я ее учу, она все время ровно и медленно, очень медленно, двигается только вперед, а назад — ни шага. Если обучение всегда следует начинать с начала, то с ней это особенно необходимо. Того, что не вытекает из предыдущего, она не понимает. Она оказывается беспомощной, становится в тупик перед самой простой задачей, если она ни с чем не связана для нее. Но если удастся найти и показать ей связующие звенья, она начинает понимать и самое трудное.

Идя вперед так медленно, она отстает от своих подруг, которые, обладая совсем иными способностями, постоянно спешат вперед, легко схватывают все, даже и ни с чем для них не связанное, все легко запоминают и умело используют. Поэтому она ничего не может усвоить, ничему не может выучиться, если преподавание идет слишком быстро, что бывает иногда на уроках даже у превосходных, но горячих и нетерпеливых учителей. Мне не раз жаловались на ее почерк, на неспособность усвоить правила грамматики. Я подробно выяснял, в чем тут дело: пишет она, правда, медленно и как-то напряженно, но не вяло и не безобразно. То, что я шаг за шагом объяснял ей во французском языке, хотя он и не является моим предметом, она понимала с легкостью. Она знает многое, и весьма основательно, но, как ни странно, когда ее скрашивают, кажется, что она не знает ничего.

Если мне будет позволено заключить письмо общим замечанием, я бы сказал: она учится не как девушка, получающая воспитание, а так, словно она сама собирается воспитывать, — не как ученица, а как будущая учительница. Вашей милости, может быть, кажется странным, что я, сам будучи воспитателем и учителем, не нахожу лучшей похвалы, как равняя ее с собой. Но Ваша пронизательность, Ваше глубокое знание людей и света помогут Вам сделать верный вывод из моих скромных и благожелательных замечаний. Вы убедитесь, что и на эту девушку можно возлагать радостные надежды. Поручаю себя Вашему милостивому вниманию и прошу позволения я впредь писать Вам, если будут какие-либо существенные и утешительные новости.

Шарлотту порадовали эти строки. Их смысл в точности соответствовал представлениям, какие у нее создались об Оттилии; но она не могла удержаться от улыбки, подумав, что горячность учителя превышает простое удовлетворение достоинствами воспитанницы. Рассудительная, свободная от предрассудков, она допускала и такое отношение, как и многие другие, ибо жизнь научила ее тому, что в этом мире, где всюду царят равнодушие и неприязнь, следует высоко ценить каждую подлинную привязанность.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Топографическая карта, на которую в довольно крупном масштабе, отчетливо и ясно, пером и красками, нанесено было имя с его окрестностями, и которой капитан с помощью тригонометрических измерений сумел придать необходимую точность, скоро была готова; не случайно этот деятельный человек столь мало нуждался в сне, день же его всегда был посвящен насущной цели, и потому уже к вечеру он неизменно заканчивал какую-нибудь часть работы.

— Теперь, — сказал он другу, — мы перейдем к следующему, к описанию имения; у тебя, наверно, уже собрано много предварительных сведений, из которых нам удастся вывести и оценку аренды отдельных участков, и разное другое. Только давай примем решение и поставим себе за правило отделять от жизни все, что относится к делу. Дело требует серьезности и строгости, а жизнь — произвола; дело нуждается в полнейшей последовательности, меж тем как в жизни часто бывает нужна непоследовательность, которая временами даже оказывается желанной и отрадной. Чем ты спокойнее за дело, тем свободнее чувствуешь себя в жизни, а стоит только смешать одно с другим, как свобода разрушит и уничтожит спокойствие.

В этих словах Эдуард почувствовал легкий упрек. Не будучи беспорядочным от природы, он никак не мог собраться привести в порядок свой архив. Бумаги, касавшиеся других лиц, и те, что касались только его, — вес было перемещено, как не умел он должным образом отделять дела и занятия от развлечений и удовольствий. Теперь он почувствовал облегчение, ибо эту задачу взял на себя друг, второе «я» осуществляло то расчленение, которому не всегда способно подвергнуться единое человеческое «я».

Во флигеле капитана они устроили полки для текущих дел, архив для завершенных; из различных хранилищ комнат, шкафов и ящиков снесли туда все документы, бумаги, ведомости, и очень скоро весь этот ворох, разложенный по рубрикам с особыми пометками, был приведен в образцовый порядок. То, чего они искали, нашлось в таком изобилии, на какое не приходилось и рассчитывать. При этом большую помощь оказал им старый писарь, которым до сих пор Эдуард всегда бывал недоволен. Он целый день и даже часть ночи не отходил от конторки.

— Я его не узнаю, — говорил Эдуард своему другу, — таким он стал деятельным и полезным.

— Это, — заметил капитан, — происходит оттого, что мы не поручаем ему ничего нового, пока он по мере своих сил не справится со



старым, и вот, как видишь, он делает очень много; а стоит ему только помешать — он не делает ничего.

Вместе проводя дни, друзья по вечерам непременно посещали Шарлотту. Если — как это нередко случалось — никто не приезжал в гости из соседних поместий, то разговор, как и чтение, обычно посвящались таким предметам, которые способствуют благополучию современного общества, его пользе и удобству.

Шарлотта, вообще привыкшая наслаждаться настоящим, видя мужа своего довольным, сама испытывала удовлетворение. Разные усовершенствования в быту, которые она давно хотела, но все никак не могла ввести, были теперь осуществлены с помощью капитана. Пополнилась домашняя аптека, до сих пор состоявшая лишь из немногих лекарств, и Шарлотта благодаря книгам и сведениям, почерпнутым из разговоров, имела теперь возможность чаще и плодотворнее приходить на помощь другим.

Так как они приняли во внимание и несчастные случаи, столь обычные и все же слишком часто застающие людей врасплох, то запаслись всем необходимым для спасения утопающих, тем более что в местности, где было столько прудов, речек и запруд, подобные несчастия нередко повторялись. Капитан особенно заботливо пополнял эту статью, и Эдуард не мог удержаться от замечания, что такой случай однажды составил примечательное событие в жизни его друга. Но капитан промолчал, как будто стараясь уйти от печального воспоминания, и Эдуард не продолжал разговора; смолчала и Шарлотта, зная в общих чертах обстоятельства дела и ничего не добавившая к словам мужа.

— Мы можем быть довольны сделанным, — сказал однажды вечером капитан, — но нам еще недостает самого необходимого — сведущего человека, который умел бы со всем этим обращаться. Я могу предложить одного знакомого мне полкового хирурга, он теперь пойдет служить и за умеренную плату; это знаток своего дела, не раз помогавший мне и при тяжелых болезнях лучше, чем знаменитые врачи, а немедленная помощь и есть то самое, в чем больше всего нуждаешься в деревне.

Хирург был немедленно приглашен, и супруги радовались, что нашлась возможность употребить на самые неотложные нужды те деньги, которые раньше оставались им на прихоти.

Так Шарлотта и для себя извлекала пользу из познаний капитана, из его деятельности и, успокоившись насчет каких-либо возможных последствий, была очень довольна его присутствием. Обычно она заранее обдумывала вопросы, которые хотела задать ему, и так как она любила жизнь, то ей хотелось удалить из дому все опасное, все смертоносное. Свинцовая глазурь на горшках и ярь на медной посуде причиняли ей немало тревог. Она просила у капитана объяснений, и им, естественно, пришлось обратиться к основным понятиям физики и химии.

Непреднамеренный, но всегда приятный повод для разговоров на такие темы давал Эдуард, любивший читать вслух. Он обладал приятным мягким басом и в свое время пользовался в обществе успехом благодаря живой, исполненной чувства передаче произведений поэтического и ораторского искусства. Теперь его привлекали другие предметы, и читал он вслух другие книги, в последнее время главным образом труды по физике, химии и технике.

При этом у него была одна черта, общая, может быть, с целым рядом людей: он не выносил, когда кто-нибудь во время чтения заглядывал ему в книгу. Прежде, когда он читал стихотворения, драмы, повести, это было естественным следствием живого желания, свойственного чтецу в такой же мере, как поэту, актеру, рассказчику, удивлять слушателей, возбуждать их ожидание паузами, держать их в напряжении; а такой эффект, конечно, нарушается, если кто-нибудь успеваешь забежать вперед. Поэтому Эдуард всегда садился так, чтобы никого не было за его спиной. Теперь, когда их было только трое, подобная предосторожность стала излишней; кроме того, ему уже не нужно было действовать на чувство, поражать фантазию, и он, естественно, перестал остерегаться.

Но однажды вечером, во время чтения, он вдруг заметил, что Шарлотта смотрит ему в книгу. В нем проснулась былая раздражительность, и он довольно резко ей заметил:

— Неужели нельзя раз навсегда бросить эту дурную привычку, как и многое другое, что неприятно в обществе? Когда я читаю вслух, разве это не то же самое, как если бы я рассказывал? Написанное, напечатанное заступает место моих мыслей, моих чувств, — а разве взял бы я на себя труд говорить, если бы у меня в голове или груди было устроено окошечко и тот, кому я в известной последовательности сообщая мои мысли, с кем постепенно делюсь чувствами, всякий раз заранее знал бы, что у меня на уме? Когда кто-нибудь заглядывает в книгу, мне кажется, будто меня рвут на части.

Шарлотта, чья находчивость, испытанная и в большом свете, и в тесном кругу, выражалась в том, что она умела предотвратить всякое неприятное, резкое, даже просто слишком страстное суждение, прекратить затягивающийся разговор, а вялый поддержать, и в данном случае не утратила этой счастливой способности:

— Ты, наверно, простишь мне мой промах, если я объясню, что со мной сейчас было, Я слушала, как ты читаешь о сродстве, и тут же мне пришли на ум мои родственники, два мои двоюродные брата, которые сейчас доставляют мне много забот. Потом мое внимание опять возвратилось к чтению: я услышала, что речь идет уже о неодушевленных предметах, и заглянула к тебе в Книгу, чтобы восстановить для себя ход мыслей.

— Тебя смутило и сбilo с толку сравнение, — сказал Эдуард. — Здесь говорится всего-навсего о почвах и минералах, но человек — прямой Нарцисс: всюду он рад видеть свое отражение; он точно фольга, которой готов устлать весь мир.

— Да! — продолжал капитан. — Так человек относится ко всему, что лежит вне его; своей мудростью и своей глупостью, своей волей и своим произволом он наделяет животных, растения, стихии и божества.

— Мне не хочется, — сказала Шарлотта, — отвлекать вас от темы, которой мы сейчас заняты, но не объясните ли вы мне вкратце, что здесь, собственно, разумеется под сродством.

— Постараюсь, — ответил капитан, к которому обратилась Шарлотта, — разумеется, по мере моих сил и так, как меня этому учили лет

десять назад и как я вычитал из книг. По-прежнему ли думают на этот счет в ученом мире, соответствует ли это новым учениям, сказать не берусь.

— Все-таки очень плохо, — сказал Эдуард, — что теперь ничему нельзя научиться на всю жизнь. Наши предки придерживались знаний, полученных в юности; нам же приходится переучиваться каждые пять лет, если мы не хотим вовсе отстать от моды.

— Мы, женщины, — сказала Шарлотта, — не вдаемся в такие тонкости; и если уж говорить откровенно, то мне, собственно, важен лишь смысл слова: ведь в обществе ничто не вызывает бо́льших насмешек, чем неправильное употребление иностранного или ученого слова. Я хочу только знать, в каком смысле употребляется в подобных случаях это выражение. А что оно должно значить в науке — это предоставим ученым, которые, впрочем, как я могла заметить, вряд ли придут когда-нибудь к единому мнению.

— С чего бы нам начать, чтобы скорее добраться до сущности? — помолчав, спросил Эдуард капитана, а тот немного подумал и сказал:

— Если мне будет позволено начать по видимости издали, то мы быстро достигнем цели.

— Будьте уверены, что я слушаю с полным вниманием, — сказала Шарлотта, откладывая рукоделие.

И капитан начал:

— Все, что мы наблюдаем в природе, прежде всего существует в известном отношении к самому себе. Странно, может быть, говорить то, что разумеется само собою, но ведь только полностью уяснив себе известное, можно переходить к неизвестному.

— Мне кажется, — перебил Эдуард, — мы сможем и ей и себе облегчить объяснение примерами. Попробуй представить себе воду, масло, ртуть — и ты увидишь единство, взаимосвязь их частей, это единство они утрачивают только под воздействием какой-нибудь силы или при других таких же обстоятельствах. Как только последние устранены, частицы вновь соединяются.

— Бесспорно, так, — подтвердила Шарлотта. — Дождевые капли быстро сливаются в потоки, И еще в детстве, когда нам случается играть ртутью и разбивать ее на шарики, мы удивляемся тому, что они соединяются вновь.

— Здесь будет уместно, — прибавил капитан, — мимоходом упомянуть об одном существенном явлении, а именно, что это чистое, возможное только в жидком состоянии свойство решительно и неизменно обнаруживает себя шарообразной формой. Падающая дождевая капля кругла; о шариках ртути вы только что говорили сами; даже расплавленный свинец, если он в своем полете успевает застыть, долетает до земли в форме шарика.

— Позвольте мне опередить вас, — сказала Шарлотта, — и, может быть, я угадаю ход вашей мысли. Подобно тому как всякий предмет стоит в отношении к самому себе, так он должен иметь отношение и к другим.

— А это отношение, — подхватил Эдуард, — в зависимости от различия веществ будет различно. Иной раз они будут встречаться как друзья и старые знакомые, быстро сближаясь и соединяясь и ничего друг в друге не меняя, как вино при смешивании с водой. Иные, напротив, будут друг другу чужды и не соединятся даже путем механического смешивания или трения; вода и масло, сболтанные вместе, все равно отделяются друг от друга.

— Еще немного, — сказала Шарлотта, — и в этих простых формах мы узнаем знакомых вам людей; особенно же это напоминает те круги общества, в которых нам приходилось жить. Но наибольшее сходство с этими неодушевленными веществами представляют массы, противостоящие друг другу в свете: сословия, профессии, дворянство и третье сословие, солдат и мирный гражданин.

— И все же, — заметил Эдуард, — подобно тому как их объединяют законы и нравы, так и в вашем химическом мире существуют посредствующие звенья, которыми можно соединить то, что друг друга отталкивает.

— К примеру, — вставил капитан, — при помощи щелочной соли мы соединяем масло с водой.

— Только не спешите с объяснениями, — произнесла Шарлотта. — Мне хочется доказать, что и я иду с вами в ногу. Но не добрались ли мы уже и до сродства?

— Совершенно верно, — ответил капитан, — и мы вас сейчас познакомим с ним во всей его силе. Натуры, которые при встрече быстро понимают и определяют друг друга, мы называем родственными. В щелочах и кислотах, которые, несмотря на противоположность друг другу, а может быть, именно благодаря этой противоположности, всего решительнее ищут друг друга и объединяются, претерпевая при этом изменения, и вместе образуют новое вещество, эта родственность достаточно бросается в глаза. Вспомним известь, которая обнаруживает сильное влечение ко всякого рода кислотам, явное стремление соединиться с ними. Как только прибудет наш химический кабинет, мы вам покажем разные опыты, весьма занимательные и дающие лучшее представление, нежели слова, названия и термины.

— Признаться, — сказала Шарлотта, — когда вы называете родственными все эти странные вещества, мне представляется, будто их соединяет не столько кровное, сколько духовное и душевное сродство. Именно так между людьми возникает истинно глубокая дружба: ведь противоположность качеств и делает возможным более тесное соединение. Я готова ждать, какие из этих таинственных влияний мне удастся увидеть воочию. Больше я, — сказала она, оборотившись к Эдуарду, — не стану прерывать твое чтение и буду слушать внимательно, так как теперь я лучше в этом разбираюсь.

— Раз уж ты затеяла такой разговор, — возразил Эдуард, — ты так просто не отделаешься: ведь всего интереснее именно сложные случаи. Только в них узнаешь степени сродства, связи более тесные и сильные, более отдаленные и слабые; сродство становится интересным лишь тогда, когда вызывает развод, разъединение.

— Неужели, — воскликнула Шарлотта, — даже и в естественных науках встречается это грустное слово, которое мы теперь так часто

слышим в свете?

— Конечно, — ответил Эдуард. — Недаром в свое время почетным для химии считалось название — искусство разъединять.

— Значит, теперь, — заметила Шарлотта, — оно уже не считается почетным, и это очень хорошо. Больше искусства в том, чтобы соединять, и в этом большая заслуга. Искусство соединения в любой области — желанно. Расскажите же мне, раз уж вы вошли во вкус, несколько таких случаев.

— Вернемся, — сказал капитан, — опять к тому, о чем мы уже упоминали. Например, то, что мы называем известняком, есть более или менее чистая известковая земля, вошедшая в тесное соединение со слабой кислотой, которая известна нам в газообразном виде. Если кусок известняка положить в разведенную серную кислоту, то последняя, соединяясь с известью, образует гипс, а слабая газообразная кислота улетучивается. Тут произошло разъединение и новое соединение, и мы считаем себя вправе назвать это явление «избирательным сродством», ибо и в самом деле похоже на то, что одному сочетанию отдано предпочтение перед другим, что одно сознательно выбрано вместо другого.

— Извините меня, как я извиняю естествоиспытателя, — сказала Шарлотта, — но я бы никогда не усмотрела в этом выбора, скорее уж — неизбежный закон природы, да и то едва ли: ведь в конце концов это, пожалуй, только дело случая. Случай создает сочетания, как он создает воров, и если говорить о ваших веществах, то выбор, как мне кажется, дело рук химика, соединяющего эти вещества. А если уж они соединились, так помоги им бог! В настоящем же случае мне жаль только бедной летучей кислоты, которой опять предстоит блуждать в беспредельности.

— От нее зависит, — возразил капитан, — соединиться с водой, чтобы потом влагой минерального ключа поить здоровых и больных.

— Гипсу-то хорошо, — сказала Шарлотта, — с ним все в порядке, он стал телом, он обеспечен, а вот вещество, оказавшееся в изгнании, еще, может быть, много натерпится, прежде чем найдет себе пристанище.

— Или я сильно ошибаюсь, — с улыбкой сказал Эдуард, — или в твоих словах скрыт лукавый намек. Признайся, что ты шутишь с нами. Чего доброго, я в твоих глазах — известняк, соединившийся с капитаном, как с серной кислотой, вырванный из твоего общества и превращенный в непокорный гипс.

— Если совесть вкушает тебе такие мысли, — ответила Шарлотта, — я могу быть спокойна. Такие иносказания приятны и занимательны, и кто не позабавится подобным сравнением? Но ведь человек на самом деле стоит неизмеримо выше этих веществ, и если он не поспешил на прекрасные слова: «выбор» и «избирательное сродство», то ему будет полезно вновь углубиться в себя и как следует взвесить смысл таких выражений. Мне, к сожалению, достаточно известны случаи, когда искренний, неразрушимый, казалось бы, союз двух людей распался от случайного появления третьего, и одно из существ, связанных такими прекрасными узами, бывало выброшено в пространство.

— Химики в этих делах куда галантнее, — сказал Эдуард, — они присоединяют что-нибудь четвертое, дабы никто не остался без партнера.

— Совершенно верно! — заметил капитан. — Самые значительные и самые примечательные, безусловно, те случаи, когда в действительности наблюдаешь это притяжение, это сродство, это расхождение и соединение как бы крест-накрест, когда четыре вещества, доселе соединенные попарно, будучи приведены в соприкосновение, расторгают свою первоначальную связь и сочетаются по-новому. В этом разделении и соединении, в этом бегстве и в этих поисках друг друга как будто вправду видишь предопределение свыше; таким веществам приписываешь своего рода волю, способность выбора, и тогда термин «избирательное сродство» кажется вполне уместным.

— Опишите мне такой случай, — попросила Шарлотта.

— Тут не следовало бы, — ответил капитан, — ограничиваться одними словесными объяснениями. Я уже говорил, что, как только я смогу показать вам опыты, все станет и нагляднее и занимательнее. А так мне придется утомлять вас страшными терминами, которые все-таки ни о чем не дадут вам точного представления. Надо своими глазами видеть в действии эти вещества, как будто безжизненные, но внутренне всегда готовые прийти в движение, надо с участием смотреть, как они друг друга ищут, притягивают, охватывают, разрушают, истребляют, поглощают, а затем, по-иному слившись воедино, выступают в обновленной, неожиданной форме. Вот тогда мы готовы признать в них вечную жизнь, чувства и рассудок, ибо наши собственные чувства кажутся нам недостаточными, чтобы как следует наблюдать за ними, а разум едва ли не бессильным, чтобы их постичь.

— Не стану отрицать, — сказал Эдуард, — что человеку, который ознакомился с научными терминами не наглядным путем, но через понятия, они должны показаться трудными, даже смешными. Однако отношения, о которых у нас была речь, мы покамест легко могли бы обозначить и буквами.

— Если это не покажется вам чем-то педантическим, — продолжал капитан, — то я мог бы кратко выразить мою мысль на языке знаков. Представьте себе некое А, которое так тесно связано с Б, что оторвать его не в состоянии многие средства, даже применение силы; представьте себе некое В, которое точно в таком же отношении находится к Г; теперь приведите обе пары в соприкосновение: А устремится к Г, В устремится к Б, причем нельзя будет даже определить, кто кого бросил первым и кто с кем раньше соединился заново.

— Ну что ж, — перебил капитана Эдуард, — пока мы все это не увидим собственными глазами, примем эту формулу за иносказание и извлечем из него вывод, чтобы сразу же применить его на деле. Ты, Шарлотта, представляешь А, а я — твое Б, ибо, в сущности, я завищу только от тебя и следую за тобой, как Б за А; В — это, бесспорно, капитан, который на сей раз, в известной мере, отвлекает меня от тебя. А чтобы ты не ускользнула в беспредельность, справедливо будет позаботиться для тебя о каком-нибудь Г, а это, без всякого сомнения, милая девица Оттилия, и ты больше не должна возражать против ее приглашения.

— Хорошо! — ответила Шарлотта. — Хотя, как мне кажется, это пример не совсем подходящий, но все же, по-моему, очень удачно, что сегодня наши мысли наконец совпали и что сродство натур и вещей дало вам повод скорее и откровеннее высказать свои взгляды. Итак, не скрою от вас, сегодня я уже окончательно решила взять Оттилию к нам, потому что прежняя наша верная домоправительница нас покидает: она выходит замуж. Вот что побуждает меня к такому шагу ради моей собственной пользы; а что побуждает меня к нему ради самой Оттилии, об этом ты нам прочитаешь. Я не стану заглядывать тебе через плечо, однако содержание письма мне уже известно. Так читай же, читай! — С этими словами она достала письмо и протянула его Эдуарду.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ПИСЬМО НАЧАЛЬНИЦЫ

Ваша милость извинит меня, если я сегодня ограничусь самым коротким сообщением: окончились публичные испытания, и мне предстоит известить всех родителей и опекунов о том, каких успехов достигли в истекшем году вверенные нам воспитанницы; позволю себе писать коротко и потому, что в немногих словах могу сказать многое. Ваша дочь во всех отношениях оказалась первой. Прилагаемые свидетельства и собственное ее письмо, в котором она описывает награды, полученные ею, одновременно говорят о том, как приятна ей эта блестящая удача, и успокоят и порадуют Вас. Моя же радость не может быть столь полной, ибо я предвижу, что девушке, достигшей таких успехов, не придется уже долго быть у нас. Поручаю себя Вашей милости и беру на себя смелость вскоре сообщить Вам мои соображения по поводу того, что для нее, по-моему, будет самым полезным. Об Оттилии пишет мой любезный помощник.

### ПИСЬМО ПОМОЩНИКА

Написать об Оттилии наша почтенная начальница поручила мне отчасти потому, что ей, по всему ее складу, неприятно сообщать то, чего нельзя не сообщить, отчасти же и потому, что она сама нуждается в оправдании и предпочитает предоставить слово мне.

Так как мне слишком хорошо известно, насколько нашей бедной Оттилии недостает способности выказывать свои дарования и познания, то я в известной мере опасался для нее публичного испытания, тем более что подготовка при этом вообще невозможна, а если бы и была возможна, как в обычный день, то Оттилию все же не удалось бы научить произвести выгодное впечатление. Исход экзаменов слишком оправдал мои опасения: она не получила ни одной награды и оказалась в числе тех, кто не заслужил даже и свидетельства. Что мне еще сказать? Вряд ли кто превзошел ее в красоте почерка, но зато другие писали гораздо свободнее; со счетом все справились быстрее, а до трудных задач, которые она решает лучше многих учениц, дело не дошло. Во французском многие перещеголяли ее в болтовне и переводах; в истории она не сразу вспоминала имена и даты; в географии ей не доставало внимания к границам государств. Для музыкального исполнения нескольких скромных мелодий, знакомых ей, не было ни времени, ни спокойной обстановки. За рисование ей наверно бы досталась награда, рисунок был чист, а исполнение — тщательное и продуманное; к несчастью, замысел был слишком широкий, и она не успела справиться с ним вовремя.

Когда ученицы ушли, а экзаменаторы стали совещаться, давая к нам, учителям, высказать кое-какие замечания, я скоро заметил, что об Оттилии вовсе не говорят, а если и говорят, то хотя и без порицания, но с полным равнодушием. Я надеялся, что хоть немного расположу их в ее пользу, если откровенно обрисую ее характер, и тем охотнее взял на себя эту задачу, что мог говорить с полной убежденностью; я и сам в юные годы находился в таком же печальном положении. Меня выслушали со вниманием, но когда я кончил, главный Экзаменатор сказал мне хотя и любезно, но лаконично: «Способности — предпосылка, важно, чтобы они дали результаты. Это и есть цель всякого воспитания, это составляет явное и отчетливое желание родителей и опекунов и невыраженное, полуосознанное стремление самих детей. Это же составляет и предмет испытания, причем судят не только об учениках, но и об учителях. То, что вы нам сказали, позволяет ждать от этой девушки много хорошего, и с вашей стороны, разумеется, похвально, что вы обращаете столько внимания на способности учениц. Если в течение года вам удастся добиться благоприятных результатов, никто не поскупится на похвалы на вам, ни вашей способной ученице».

Я уже смирился перед тем, что должно было последовать, но не ждал, что тотчас же произойдет и нечто еще худшее. Наша добрая начальница, которой, подобно доброму пастырю, не хочется потерять ни одной овечки или, как это было здесь, видеть ее ничем не украшенную, не могла утаить своей досады и, когда экзаменаторы удалились, обратилась к Оттилии, совершенно спокойно стоявшей у окна, в то время как остальные радовались по поводу своих наград: «Да скажите же, бога ради, можно ли производить такое глупое впечатление, вовсе не будучи глупой?» Оттилия отвечала совершенно спокойно: «Простите, милая матушка, как раз сегодня у меня опять головная боль, и довольно сильная!» — «Этого никто не обязан знать!» — заметила наша начальница, обычно столь участливая, и с недовольным видом отошла.

Правда, никто не обязан был это знать: выражение лица у Оттилии при этом не меняется, и я даже не заметил, чтобы она хоть раз поднесла руку к виску.

Но это было еще не все. Дочь Ваша, сударыня, всегда живая и непосредственная, на радостях после своего нынешнего торжества повела себя несдержанно и заносчиво. Она носилась по комнатам со своими наградами и похвальными листами и, подбежав к Оттилии, стала ими размахивать перед ее лицом. «Не повезло тебе сегодня!» — кричала она. Оттилия ответила совершенно спокойно: «Это еще не последнее испытание». — «А ты все-таки всегда будешь последней!» — крикнула Ваша дочь и побежала дальше.

Оттилия всякому другому показалась бы спокойной, но не мне. Неприятное душевное состояние, с которым ей приходится бороться, обычно проявляется у нее неровным цветом лица. Левая щека на миг покрывается румянцем, а правая бледнеет. Я заметил это и не мог не дать волю моему участию. Я отвел в сторону нашу начальницу и серьезно поговорил с ней обо всем. Эта достойная женщина признала свою ошибку. Мы долго совещались, обсуждали дело, и я, не собираясь еще дальше распространяться, сообщаю Вам то, на чем мы остановились и о чем просим Вашу милость: возьмите Оттилию на время к себе. Причины этой просьбы Вы лучше всего уясните себе сами. Если Вы согласны, я подробнее напишу о том, как нужно обходиться с этой милой девушкой. Когда же Ваша дочь, чего следует ожидать, покинет наш пансион, мы с радостью опять примем Оттилию.

Замечу еще одно, так как боюсь забыть об этом впоследствии: мне никогда не приходилось видеть, чтобы Оттилия чего-нибудь

требовала или хотя бы о чем-нибудь настоятельно просила. Бывает, однако, хотя и редко, что она старается отклонить какое-нибудь требование, обращенное к ней. При этом она делает жест, который на всякого, кто понимает его смысл, оказывает неотразимое действие. Она складывает ладони, поднимает руки вверх и прижимает их к груди, чуть наклоняясь вперед и глядя на своего настойчивого собеседника такими глазами, что он рад отказаться от любого требования или даже просьбы. Если Вы, милостивая государыня, когда-нибудь увидите этот жест, что маловероятно при Вашем отношении к Оттилии, то вспомните меня и будьте к ней снисходительны.

Эдуард прочитал эти письма вслух, не раз улыбаясь и покачивая головой. Не обошлось и без замечаний об отдельных лицах и обо всем положении дела.

— Довольно! — воскликнул наконец Эдуард, — решено, она приедет! У тебя, дорогая, будет помощница, а мы можем теперь рассказать и о своем плане. Мне необходимо переехать в правый флигель, к капитану. Работать нам лучше всего утром и вечером. Зато для тебя и Оттилии места будет вдоволь.

Шарлотта согласилась, и Эдуард обрисовал ей их будущий образ жизни. Между прочим, он сказал:

— Со стороны племянницы очень мило, что у нее иногда болит левый висок; у меня временами болит правый. Если это случится в одно и то же время и мы усядемся друг против друга, я — подпершись правой рукой, она — левой, и повернем головы в разные стороны, получится премилая симметричная пара.

Капитан готов был увидеть в этом нечто угрожающее, но Эдуард воскликнул:

— Дорогой друг, остерегайтесь некоего Г! А что делать нашему Б, если у него отнимут В?

— Казалось бы, — заметила Шарлотта, — что это разумеется само собой.

— Конечно, — воскликнул Эдуард, — оно возвратится к своему А, к своей альфе и омеге! — И, вскочив с места, он крепко прижал Шарлотту к своей груди.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Карета, доставившая Оттилию, подъехала к замку. Шарлотта вышла ей навстречу; милая девушка порывисто бросилась к ней, упала к ее ногам и обняла ее колени.

— Зачем же такое самоуничижение! — слегка смущенная, сказала Шарлотта, стараясь ее поднять.

— Самоуничижения тут нет, — ответила Оттилия, не поднимаясь с земли. — Мне приятно вспомнить время, когда я была так мала, что доходила вам только до колен, но уже так была уверена в вашей любви.

Она встала, и Шарлотта от всей души обняла ее. Ее представили мужчинам и окружили заботой и вниманием. Красота — всюду желанная гостья. Оттилия, казалось, следила за беседой, сама, однако, не принимая участия в ней.

На следующее утро Эдуард сказал Шарлотте:

— Она премилая девушка, приятная собеседница.

— Собеседница? — с улыбкой переспросила Шарлотта. — Да она ведь и рта не раскрывала.

— Разве, — ответил Эдуард, как бы стараясь вспомнить, — странно, однако!

Шарлотта лишь намекнула вновь прибывшей, что? делать по хозяйству. Оттилия быстро постигла и, что еще важнее, почувствовала весь уклад дома. Она сразу поняла, что? следует делать для всех и что? для каждого в отдельности. Все у нее шло по порядку. Она умела распорядиться, как будто и не отдавая приказаний, а ежели кто-нибудь мешкал, тотчас же сама бралась за дело.

Заметив, сколько у нее остается свободного времени, она попросила у Шарлотты позволения составить себе расписание, которого стала строго придерживаться. В том, как она исполняла порученное, Шарлотта узнавала черты, знакомые ей из писем помощника. Оттилию предоставили самой себе. Шарлотта лишь изредка пыталась расшевелить ее. Так, она несколько раз подкладывала ей притупившиеся перья, чтобы приучить ее писать почерком более свободным; но вскоре перья оказывались тонко очиненными.

Они условились говорить между собой по-французски; и Шарлотта еще более настойчиво следила за этим, потому что Оттилия, когда упражнение в чужом языке вменялось ей в обязанность, становилась разговорчивее. При этом ей даже случалось сказать больше, чем она, видимо, хотела. Особенно позабавил Шарлотту ее обстоятельный, однако беззлобный рассказ о жизни в пансионе. Оттилия стала для Шарлотты приятной собеседницей, и в ней со временем она надеялась найти и верного друга.

Шарлотта между тем пересмотрела старые письма, относившиеся к Оттилии, желая восстановить в памяти все суждения, высказанные об этой милой девушке начальницей пансиона и ее помощником, и сверить их с собственными впечатлениями. Она всегда считала, что нужно поскорее узнать характер человека, с которым живешь бок о бок, и составить себе суждение о том, чего от него можно ожидать, что в нем поддается воспитанию, с чем следует раз и навсегда примириться и что простить.

В письмах она, правда, не нашла ничего нового, но кое-что ей уже знакомое обратило на себя ее внимание, и теперь показалось существеннее. Так, умеренность Оттилии в еде и питье стала и в самом деле ее тревожить.

Обеих женщин занимали также и наряды. Шарлотта потребовала от Оттилии, чтобы она одевалась изысканнее и богаче. Послушная и трудолюбивая девушка тотчас же принялась кроить материи, еще раньше подаренные ей, и скоро сумела, почти не прибегая к

посторонней помощи, сшить себе очень изящные платья. От новых модных нарядов фигура ее стала казаться выше: когда обаяние личности распространяется и на внешнюю оболочку, все существо предстает нам обновленным и еще более привлекательным оттого, что свойства его сообщились внешности.

Вот почему Оттилия с первого же дня, в самом точном значении слова, радовала взгляды обоих мужчин. Если изумруд дивным своим цветом ласкает глаз и даже оказывает целительное действие на этот благородный орган чувства, то человеческая красота еще более властно влияет на все наши чувства физические и нравственные. Того, кто видит ее, не коснется дуновение зла; он чувствует себя в гармонии с самим собою и со всем миром.

Таким образом, все общество выиграло от приезда Оттилии. Эдуард и капитан стали точнее соблюдать часы, даже минуты, когда всем предстояло сойтись вместе. Ни к обеду, ни к чаю, ни к прогулке их уже не приходилось дожидаться, Они не спешили встать из-за стола, особенно после ужина. Шарлотта заметила это и стала за ними наблюдать. Ей хотелось выяснить, не подает ли к этому повода один больше, чем другой, но она не могла уловить никакой разницы в их поведении. Оба они заметно оживились. Темой для разговора они выбирали то, что больше всего могло возбудить участие Оттилии, что более соответствовало ее кругозору и знаниям. Чтение или рассказ они прерывали, пока она не возвратится. Они стали мягче и общительнее.

Зато и рвение Оттилии возрастало с каждым днем. Чем больше она свыкалась с домом, с людьми, с укладом, тем живее шло у нее дело, тем быстрее она понимала каждый взгляд, каждое движение, даже полуслово или звук. Ей никогда не изменяли ни спокойная внимательность, ни уравновешенная подвижность. Уходила ли она или возвращалась, садилась ли или вставала, уносила, или приносила что-нибудь, или снова садилась, — в этой вечной смене плавных движений не было и тени суетливости. К тому же она так легко ступала, что ее шаги оставались неслышными.

Благородная услужливость девушки очень радовала Шарлотту. Единственное же, что казалось ей не совсем уместным, она не скрыла от Оттилии.

— Весьма похвально и учтиво, — однажды сказала она ей, — быстро наклониться и поднять с пола вещь, которую кто-нибудь обронил. Мы как бы признаем себя тем самым обязанными услужить человеку; но в большом свете надо думать и о том, кому оказываешь подобную услугу. Что касается до женщин, то я не стану предписывать тебе в этом никаких правил. Ты молода. По отношению к старшим и вышестоящим — это обязанность, к равным — вежливость, а к младшим и низшим — свидетельство человечности и доброты; и только по отношению к мужчинам девушке не подобает проявлять такую почтительность и услужливость.

— Я постараюсь от этого отучиться, — ответила Оттилия. — Но вы, наверно, простите мне эту неловкость, если я вам расскажу, в чем тут причина. Нас учили истории; я из нее запомнила не так много, как следовало бы; я ведь не знала, на что она пригодится. Мне запомнились только отдельные события, и вот одно из них.

Когда английский король Карл Первый стоял перед своими судьями, с его трости свалился золотой набалдашник. Он привык к тому, что в подобных случаях все вокруг приходило в движение, и теперь оглянулся, словно ожидая, что кто-нибудь окажет ему эту маленькую услугу. Никто не шевельнулся, тогда он наклонился сам и поднял набалдашник. Мне, — быть может, и без достаточного основания, — было так больно слышать этот рассказ, что я с тех пор не могу видеть, когда при мне роняют что-нибудь, и сразу же наклоняюсь поднять. Но так как это, разумеется, не всегда прилично, да и не всякий же раз, — прибавила она с улыбкой, — я могу рассказать свою историю, то я постараюсь быть сдержаннее.

За это время полезные начинания, к которым так влекло обоих друзей, продолжали свое обычное течение. Каждый день им предоставлялся новый повод что-нибудь обдумать или предпринять.

Как-то раз, когда они вдвоем шли по деревне, их неприятно поразило, насколько она отстала от тех деревень, где недостаток места заставляет жителей соблюдать чистоту и порядок.

— Помнишь, — сказал капитан, — как во время путешествия по Швейцарии нам захотелось по-настоящему украсить какую-нибудь сельскую местность, построив в ней деревню в таком же роде, но с тем, чтобы воспроизвести не внешний вид швейцарских построек, а швейцарский порядок и чистоту, которые так необходимы в жизни.

— Здесь, например, — заметил Эдуард, — это было бы очень кстати. Замковая гора заканчивается угловатым выступом; деревня выстроена против него довольно правильным полукругом; между ними протекает ручей, и на случай подъема воды один накладывает камней, другой забивает сваи, а третий огораживается досками или бревнами, но сосед не только не помогает соседу, а скорее наносит ущерб и себе и другим. Дорога тоже проложена неудобно — идет то вверх, то вниз, то через воду, то по камням. Если бы жители деревни со своей стороны пожелали приложить немного труда, не потребовалось бы больших затрат, чтобы возвести полукругом защитную стену, за ней повысить уровень дороги до самых домов, украсить всю местность, навести чистоту и широким решением задачи раз навсегда покончить со всеми этими мелкими заботами.

— Давай попробуем, — сказал капитан, озираясь кругом и мысленно взвешивая все трудности.

— Не люблю я связываться с горожанами и крестьянами, если не могу просто приказывать им, — заметил Эдуард.

— Ты не так уж не прав, — ответил капитан. — Мне на моем веку подобные дела испортили немало крови. Человеку трудно правильно взвесить, чем он жертвует и что приобретает. Трудно добиваться определенной цели и не пренебрегать нужными средствами. Многие даже смешивают цель и средства, радуются последним и забывают о первой. Всякое зло хотят пресечь в том самом месте, где оно себя обнаружило, и не думают о том, откуда оно, собственно, взялось, откуда распространяется. Поэтому трудно давать советы, особенно же — толпе, которая прекрасно разбирается во всем обыденном, но дальше завтрашнего дня, за редким исключением, ничего не видит. А если к тому же случится, что в каком-нибудь общем деле один выиграет, а другой потеряет, то нечего и думать о примирении интересов. Все истинно общественное следует поддерживать неограниченной силой власти.

Пока они так стояли и беседовали, у них попросил милостыню человек, с виду скорее наглый, чем обездоленный. Эдуард, всегда сердившийся, если его прерывали, сперва несколько раз спокойно отказал ему, но так как нищий не отставал, он выбрал его; когда же этот человек медленно дошел прочь, ворча, чуть ли не ругаясь в ответ и ссылаясь на права нищего, которому можно отказать в подаении, но которого нельзя оскорблять, ибо он, как и всякий другой, находится под покровительством бога и властей предрержащих, Эдуард окончательно вышел из себя.

Чтобы успокоить его, капитан сказал:

— Пусть этот случай послужит для нас поводом распространить наши полицейские меры и на эту область. Милостыню надо давать, но лучше, когда даешь ее не сам и не у себя дома. В благотворительности также нужны мера и единообразие. Слишком щедрое подаение привлекает нищих, вместо того чтобы их отваживать; только в путешествии, когда проносишься мимо нищего, стоящего на дороге, приятно явиться ему в образе нечаянного счастья и одарить его. Деревня и закон расположены так, что дело очень облегчается для нас: я думал об этом уже и раньше. На одном конце деревни стоит гостиница, с другого края живут почтенные пожилые супруги; и в то и в другое место надо дать по небольшой сумме. Получать что-либо должен не входящий в деревню, а выходящий из нее; а так как оба дома стоят на дорогах, ведущих к замку, то всякий, кто захотел бы обратиться туда, может быть направлен в одно из этих мест.

— Пойдем, — сказал Эдуард, — мы сейчас же это устроим, а распорядиться подробнее успеем и потом.

Они зашли к хозяину гостиницы и к старикам-супругам, — и все было решено.

— Мне совершенно ясно, — сказал Эдуард капитану на обратном пути к замку, — что в мире все зависит от удачной мысли и твердости в решении. Так, например, ты сделал весьма верное замечание по поводу разбивки парка, предпринятой моей женой, и указал мне путь к новым улучшениям, и я, не скрою, тотчас же ей об этом сообщил.

— Я так и догадывался, — ответил капитан, — но не одобряю тебя. Ты только сбил ее с толку. Она бросила все начатое, а с нами все равно не согласится; ведь она избегает говорить об этом и больше не приглашает нас в свою хижину, а между тем сама не раз подымалась туда с Оттилией.

— Это, — возразил Эдуард, — не должно нас пугать. Если я убедился в том, что можно и необходимо сделать нечто хорошее, я не нахожу покоя, пока это не будет сделано. Ведь обычно нам хватает умения только на начало. Давай почитаем во время наших вечерних бесед описания английских парков, посмотрим гравюры к ним, потом займемся картой имения, которую ты составил, сперва надо коснуться этой темы в форме вопроса и как бы в шутку; затем вес само собой обретет серьезный характер.

Итак, были извлечены книги, сперва дающие план местности и вид ее в первоначальном, нетронutom природном состоянии, а на других листах произведенные изменения — плоды искусства пользоваться благами природы и приумножать их. Отсюда же легко было перейти и к собственным владениям, к их окрестностям и к тому, что здесь можно было бы предпринять.

Карта, составленная капитаном, давала теперь повод для приятных занятий; сначала только никак не удавалось отрешиться от того замысла, которым прежде руководствовалась Шарлотта. Потом они все же придумали, как облегчить подъем на вершину, а вверху, на склоне холма, перед живописной рощицей решили построить беседку, выбрав место так, чтобы она была видна из окон замка, а из нее — виднелись бы замок и сады.

Капитан все тщательно обдумал, измерил и скова речь о дороге, которую следовало бы проложить через деревню, о стеке и насыпи вдоль ручья.

— Проложив более удобную дорогу на гору, я добуду как раз столько камня, сколько мне потребуется для этой стены. Одно дело сплетается с другим, и от этого оба пойдут быстрее и обойдутся дешевле.

— Тут, — сказала Шарлотта, — пора уж побеспокоиться я мне. Надо точно подсчитать расходы: когда знаешь, сколько нужно денег для производства таких работ, то можно и вычислить, сколько потребуется на месяцы, даже на недели. Ключ от кассы у меня; я сама буду платить по распискам и вести счета.

— Ты нам как будто не слишком доверяешь, — сказал Эдуард.

— В деле, где есть место произволу, не слишком, — ответила Шарлотта. — Мы лучше вас умеем обуздывать произвол.

Распоряжения были сделаны, к работе приступили быстро, капитан сам все время за ней наблюдал, и Шарлотта почти каждый день была теперь свидетельницей того, как он во всем точен и основателен. Он тоже короче ее узнал, и обоим стало легко трудиться вместе и добиваться цели.

В делах — как и в танцах: те, кто движутся друг с другом в такт, делаются друг другу необходимы; между ними неизбежно возникает взаимная симпатия, и доказательством того, что Шарлотта, ближе узнав капитана, вправду благоволила к нему, служило ее спокойное согласие на разрушение одной из живописных площадок, которую она особенно облюбовала и постаралась украсить, когда начинались работы в парке, но которая не соответствовала замыслу капитана.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Общее занятие, которое нашли себе Шарлотта и капитан, имело следствием, что Эдуард все больше искал общества Оттилии. В сердце его и так с некоторого времени жило тихое дружеское чувство к ней. Она с каждым была услужлива и предупредительна, но с ним более, чем с другими, — так, по крайней мере, представлялось его самолюбию. Во всяком случае, она в точности заметила себе, какие блюда ему нравятся и в каком виде; от нее не ускользнуло, сколько сахару он кладет обычно в чай, и многое другое тому подобное. Особенно же она старалась, чтобы не было сквозняков; он бил к ним необыкновенно чувствителен, из-за чего порою у него возникали споры с

Шарлоттой, которой, напротив, всегда не хватало свежего воздуха. Также знала она, что надо делать в парке и в саду. То, чего ему хотелось, она стремилась исполнить, а то, что могло его раздражить, старалась устранить, так что вскоре она стала для него необходима, как добрый гений-хранитель, и он уже мучительно переживал ее отсутствие. К тому же она делалась разговорчивее и откровеннее, когда они случайно оставались вдвоем.

В Эдуарде, несмотря на его возраст, все еще оставалось что-то детское, и это было особенно привлекательно для юной Оттилии. Им: нравилось вспоминать, как они встречались в былые годы; воспоминания эти восходили к дням первой привязанности Эдуарда и Шарлотты. Оттилия утверждала, будто помнит их обоих еще во времена их жизни при дворе, где они составляли прелестнейшую пару, а когда Эдуард не допускал возможности воспоминаний из поры такого далекого детства, она все-таки настаивала, уверяя, что ей живо запечатлелся один случай: как однажды при его появлении она спряталась в платье Шарлотты — не от страха, а от неожиданности его прихода. И еще оттого, могла бы она прибавить, что он произвел на нее такое сильное впечатление, так понравился ей.

Теперь некоторые из дел, раньше совместно предпринятых обоими друзьями, приостановились, и им пришлось снова многое пересмотреть, набросать сметы, написать письма. Придя в канцелярию, они застали там старого писца, сидящего без дела. Они принялись за работу и скоро незаметно для себя поручили ему многое из того, что обычно делали сами. Первая же смета не далась капитану, первое же письмо — Эдуарду. Так они корпели некоторое время, набрасывали, переписывали, пока наконец Эдуард, у которого дело особенно не ладилось, не спросил, который час.

И тут оказалось, что капитан забыл завести свой хронометр — первый раз за многие годы, и они если не поняли, то смутно почувствовали, что время становится для них безразлично.

Между тем как мужчины несколько запустили свои дела, женщины становились все более деятельными. Вообще привычный образ жизни семейства, зависящий от определенных лип, и обстоятельств, принимает в себя, словно некий сосуд, даже и сильную новую привязанность, зарождающуюся страсть, и может пройти немало времени, прежде чем эта новая частица вызовет заметное брожение и пена перельется через край.

Для наших друзей возникавшие в них новые симпатии были источником самых радостных переживаний. Сердца их открывались навстречу друг другу, царило всеобщее благоволение. Каждый чувствовал себя счастливым и не оспаривал чужого счастья.

Такое состояние возвышает дух и расширяет сердце; все, что при этом делаешь и предпринимает, устремляется к беспредельности. Друзья теперь редко оставались в комнатах. Они совершали более далекие прогулки, и в то время как Эдуард и Оттилия уходили вперед выбрать тропинку, найти дорогу, капитан и Шарлотта, занятые серьезным разговором, спокойно шли по следам своих более быстрых спутников, восхищались живописными уголками, которые они видели впервые, и пейзажами, которые неожиданно открывались перед ними.

Однажды они вышли через ворота в правом крыле замка и спустились к гостинице; миновав мост, они направились вдоль прудов; пока можно было идти без препятствий; дальше берега становились непроходимыми, так как их замыкали поросший кустарником холм и нависающие скалы.

Но Эдуард, хорошо знавший местность, так как раньше бывал здесь на охоте, пробирался с Оттилией все вперед по заросшей тропинке, зная, что недалеко должна быть приютившаяся между скалами старая мельница. Нахоженная тропинка скоро потерялась, и они заблудились, правда, ненадолго, в густом кустарнике меж камней, поросших мхом; однако шум колес, сразу же донесшийся до их слуха, возвестил о близости цели их поисков.

Выйдя на край скалы, они увидели вдали перед собой причудливое, почерневшее от старости деревянное строение, округленное крутыми скалами и высокими тенистыми деревьями. Они решили тут же прямо спуститься вниз по мху и обломкам скал. Эдуард шел впереди; когда же, оглянувшись, он смотрел вверх, он видел Оттилию, которая без всякого страха спускалась с камня на камень вслед за ним, спокойно сохраняя равновесие, и ему казалось, что над ним парит небесное существо. А когда в трудных местах она порою хватала его протянутую руку или даже опиралась на его плечо, он не мог не сознаться себе, что никогда еще не касалось его создание более нежное. Ему почти хотелось, чтобы она споткнулась или поскользнулась — тогда он мог бы принять ее в свои объятия, прижать к сердцу. Но нет, на это он не решился бы ни при каких обстоятельствах, притом не по одной причине; он боялся оскорбить ее и боялся в то же время повредить ей нечаянным движением.

Что это значит, мы сейчас объясним. Спустившись вниз и сидя напротив нее за некрашеным столом в тени высоких деревьев, Эдуард послал приветливую мельничиху за молоком, а мельника — навстречу Шарлотте и капитану, и, немного смущаясь, заговорил:

— У меня к вам просьба, милая Оттилия; если вы даже и откажете в ней, то простите меня. Вы не скрываете, да и нет нужды скрывать, что на груди, под платьем, вы носите медальон с миниатюрой. Это портрет вашего отца, превосходнейшего человека, которого вы почти не знали и который, бесспорно, достоин занимать место у вашего сердца. Но извините меня — портрет слишком велик, и этот металл, это стекло внушают мне тысячу страхов, когда вы подымаете на руки ребенка или что-нибудь несете перед собой, когда качнется карета или когда приходится пробираться сквозь кусты, как вот сейчас при спуске с утеса. Меня пугает, что какой-нибудь неожиданный толчок, падение, даже прикосновение может быть опасно или гибельно для вас. Сделайте это ради меня, удалите портрет не из памяти вашей, не из комнаты, отведите ему в ваших покоях самое почетное, самое священное место, но только снимите с вашей груди эту вещь, которая мне, — пусть даже мой страх преувеличен, — кажется опасной.

Оттилия молчала и, пока он говорил, не подымала глаз; потом, глядя скорей на небо, чем на Эдуарда, она без торопливости, но и без колебания расстегнула цепочку, сняла портрет, прижала его ко лбу и подала другу со словами:

— Спрячьте его, пока мы не вернемся домой. Лучше я ничем не могу вам доказать, как я ценю вашу дружескую заботу.

Эдуард не посмел прижаться губами к портрету, но он взял ее руку и прижал к своим глазам. Никогда, быть может, не соединялись руки



столь прекрасные. У Эдуарда точно камень свалился с сердца, ему чудилось, будто рушится стена, отделявшая его от Оттилии.

Мельник привел Шарлотту и капитана по более удобной тропинке. Все радостно приветствовали друг друга. Отдохнув и подкрепившись, они решили вернуться домой другой дорогой; Эдуард предложил идти скалистым берегом ручья, но тропинке, с которой через некоторое время они снова увидели пруды. Потом они пошли, пробираясь через лесную чащу, а вдали виднелись деревни, села, мызы, утопавшие в зелени и фруктовых садах; поближе, на лесистом холме, приветливо раскинулся хутор. Но самый прекрасный вид на все великолепие этой местности открылся, когда они незаметно достигли вершины, откуда дорога через веселую рощицу выходила к скале, прямо против которой находился замок.

Как они обрадовались, когда, несколько неожиданно для себя, вышли к этому месту. Они обошли целый маленький мир, а теперь стояли там, где намечалась постройка нового здания, и глядели на окна своего дома.

Потом они спустились к дерновой хижине, которую впервые посетили вчетвером. Ничего не могло быть естественнее, чем единодушно выраженная мысль привести пройденную дорогу в такое состояние, чтобы по ней можно было гулять спокойно и приятно, не тратя столько времени и усилий. Каждый предлагал свой план, но все признавали, что если выровнять эту дорогу, на которую нынче потребовалось несколько часов, можно за какой-нибудь час прийти к замку. Пониже мельницы, там, где ручей впадает в пруд, они уже мысленно выстроили мостик, сокращающий путь и украшающий ландшафт, когда Шарлотта приостановила движение изобретательной фантазии, напомнив о расходах, необходимых для такой затеи.

— И этому можно помочь, — заметил Эдуард. — Стоит лишь продать тот хутор в лесу, который расположен так красиво, а дает так мало; деньги же, вырученные за него, пустить на все эти расходы; капитал таким образом будет употреблен с толком, а мы, наслаждаясь великолепной прогулкой, будем пользоваться процентами с него, меж тем как сейчас мы в конце года всякий раз только досадуем на жалкий доход, который он приносит.

Шарлотта, как хорошая хозяйка, ничего не могла на это возразить. Подобный замысел возникал уже и раньше. Капитан предложил составить план для размежевания участков между крестьянами, живущими в лесу; но Эдуард хотел устроить дело короче и проще. Хутор должен был достаться теперешнему арендатору, который очень хотел этого; сумма будет выплачиваться частями, в известные сроки, и в такие же сроки будут вестись работы по прокладке дороги, участок за участком.

Такое трезвое и благоразумное предложение встретило всеобщее сочувствие, и каждый уже воображал себе змеящиеся извивы дороги, вдоль которой они надеялись открыть еще новые живописные уголки и пейзажи.

Чтобы все это представить себе во всех подробностях, вечером, по возвращении домой, они тотчас же развернули карту имения. Проследили пройденный путь и возможность в отдельных местах придать ему еще более удачное направление. Опять обсудили все прежние предположения в свете новых намерений, вновь одобрили место напротив замка, выбранное для домика, и окончательно определили всю линию дорог.

Оттилия все это время молчала, пока наконец Эдуард не пододвинул к ней план, лежавший до тех пор перед Шарлоттой, и не попросил ее сказать свое мнение, а когда она не сразу нашлась, что ответить, он дружески ободрил ее, уговаривая не молчать, ведь пока ничего не решено и все только затевается.

— Я бы построила домик вот здесь, — сказала Оттилия, показывая пальцем на самую вершину холма. — Отсюда, правда, замок не виден, потому что его закрывает лесок; но здесь зато чувствуешь себя так, словно находишься в другом, совсем новом мире — когда и деревня, и остальные дома будут скрыты от глаз — вид же на пруды, на мельницу, на холмы, на горы, на лощину оттуда необыкновенно хорош; я это заметила, когда мы проходили мимо.

— Она совершенно права! — воскликнул Эдуард. — Как это нам не пришло в голову? Смотрите — вот так! Не правда ли, Оттилия?

Он взял карандаш и резко и твердо начертил на вершине продолговатый четырехугольник.

Капитан был задет за живое: ему неприятно было видеть запачканным тщательно и чисто вычерченный план; но он подавил свою досаду, сделав лишь какое-то замечание, и согласился с новой мыслью.

— Оттилия права, — сказал он, — разве мы не совершаем отдаленные прогулки только для того, чтобы выпить кофе или поесть рыбы, которая дома не показалась бы так вкусна? Кам хочется разнообразия и новых предметов. Предки умно поступили, выстроив замок именно здесь: он защищен от ветра, и все, в чем есть насущная нужда, находится поблизости, а здание, служащее не столько жилищем, сколько приютом для веселого времяпрепровождения, будет там на месте, и летом мы проведем в нем немало приятных часов.

Чем дольше обсуждали они план, тем удачнее он казался, и Эдуард не скрывал своего торжества по поводу того, что эта мысль принадлежала Оттилии. Он гордился этим так, словно она пришла в голову ему самому.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На следующее же утро капитан осмотрел место и сделал беглый набросок здания, а когда остальные, придя сюда, окончательно подтвердили свое вчерашнее решение, составил более точный проект, смету и предусмотрел все, что требуется. Начались необходимые приготовления. Сразу же пришлось вернуться к вопросу о продаже хутора. Мужчины нашли повод к новой деятельности.

Капитан указал Эдуарду, что не только простая внимательность, но даже и долг требует отметить день рождения Шарлотты закладкой нового здания. Победить старую нелюбовь Эдуарда к подобным празднествам удалось без особого труда: ему сразу же пришло на ум, что таким же образом можно будет торжественно отпраздновать и день рождения Оттилии, пришедшийся немного позднее.

Шарлотта, которой задуманные изменения и все с ними связанное представлялось делом весьма значительным, серьезным, чуть ли не

рискованным, занималась пересчетом смет, распределением денег и установлением сроков работ. Днем все четверо виделись реже, но с тем большим удовольствием сходились по вечерам.

Оттилия между тем вполне освоилась с домашним хозяйством, да и могло ли быть иначе при ее спокойном и уравновешенном характере? К тому же она по всему своему складу больше тяготела к домашней жизни, чем к жизни в свете или на природе. Эдуард вскоре заметил, что она, собственно, лишь из вежливости принимает участие в прогулках и только из приличия вместе с другими проводит вечера на воздухе, а порою даже находит в каких-нибудь хозяйственных хлопотах предлог вернуться домой. Тогда он стал заботиться о том, чтобы с этих общих прогулок возвращаться до захода солнца, и начал — чего давно уже не делал — читать вслух стихотворения, в особенности такие, которые требовали, чтобы исполнитель вкладывал в них выражение чистой, но страстной любви.

Обычно они сидели по вечерам вокруг столика, каждый на своем установленном месте: Шарлотта на диване, Оттилия против нее в кресле, а мужчины между ними, Оттилия сидела по правую руку Эдуарда, с той же стороны, с которой он ставил свечу, когда читал. При этом Оттилия придвигалась поближе, чтобы смотреть в книгу, ибо она также больше доверяла собственным глазам, чем чужому голосу, а Эдуард, в свою очередь, придвигался к ней, чтобы ей удобнее было следить; мало того, он нередко делал паузы более долгие, чем это нужно было, только затем, чтобы не перевернуть страницу, пока она не дочитает ее до конца.

Шарлотта и капитан заметили это и по временам переглядывались с улыбкой; но еще больше удивил их один случай, нечаянно обнаруживший затаенную привязанность Оттилии.

Однажды, после того как отбыл докучный гость, испортивший друзьям часть вечера, Эдуард предложил посидеть еще немного вместе. Ему хотелось поиграть на флейте, которую он давно уже не брал в руки. Шарлотта стала искать сонаты, которые они обыкновенно играли вдвоем, но они не находились, и тут Оттилия, после минутного колебания, призналась, что взяла их к себе в комнату.

— И вы можете, вы согласны аккомпанировать мне на рояле? — воскликнул Эдуард, у которого глаза заблестели от радости.

— Мне кажется, что я сумею, — ответила Оттилия.

Она принесла ноты и села за рояль. Слушатели внимательно следили за игрой и были удивлены, с каким совершенством Оттилия одна разучила пьесу, но еще более удивило их то, как она сумела приспособиться к манере Эдуарда. «Сумела приспособиться» — было бы даже неправильно сказать, ибо если от искусства и доброй воли Шарлотты зависело ускорить или замедлить темп в угоду ее супругу, когда он играл не в темпе, то Оттилия, несколько раз слышавшая сонату в их исполнении, заучила ее, казалось, только в расчете на его аккомпанемент. Она в такой степени переняла даже его недостатки, что в итоге возникло своеобразное, полное жизни целое, в своем течении, правда, нарушавшее темп, но ласкавшее и радовавшее слух. Самому композитору приятно было бы услышать свое произведение в таком милом искажении.

Перед лицом этой странной неожиданности Шарлотта и капитан тоже не нарушили молчания, испытывая такое чувство, с каким мы часто смотрим на детские шалости, которые не могут вызвать нашего одобрения, ибо они чреватые серьезными последствиями, но не заслуживают и порицания, скорее даже возбуждают зависть. Ведь, в сущности, и в них самих зарождалось такое же влечение друг к другу, пожалуй, только более опасное оттого, что оба они держались более рассудительно и лучше умели владеть собою.

Капитан начал уже чувствовать, что неодолимая власть привычки угрожает приковать его к Шарлотте. Борясь с самим собою, он уходил из парка в те часы, когда Шарлотта обычно приходила туда, а поэтому вставал как можно раньше, делал все распоряжения и затем удалялся для работы в свой флигель. Первые дни Шарлотте это казалось случайностью; но потом она, видимо, отгадала причину и почувствовала к нему еще большее уважение.

Избегая оставаться наедине с Шарлоттой, капитан тем ревностнее старался ускорить работы и завершить их к приближавшемуся блистательному празднику — дню ее рождения; прокладывая удобную дорогу снизу, за деревней, он, под предлогом необходимой ломки камня, велел вести ее еще и сверху вниз и так всем распорядился и все рассчитал, чтобы обе части ее соединились только в ночь накануне торжества. Подвал для нового здания был уже выкопан или, скорее, высечен в горе, и красивый камень, пока что забитый досками, приготовлен для закладки.

Внешняя деятельность, дружеская таинственность, окружавшая намерения каждого, и стремление так или иначе затаить чувства более глубокие, — все это делало разговоры уже не столь оживленными, когда общество сходилась вместе, и в один из вечеров Эдуард, сознавая, что чего-то недостает, попросил капитана достать скрипку и сыграть что-нибудь под аккомпанемент Шарлотты. Капитан не мог противиться общему желанию, и они с большим чувством, уверенно и легко исполнили вместе одну из труднейших музыкальных пьес, испытав сами и доставив двум слушателям величайшее удовольствие. Было решено и впредь играть и упражняться вместе.

— У них это идет лучше, чем у нас, Оттилия! — сказал Эдуард. — Будем же восхищаться ими, но будем радоваться и сами.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

День рождения наступил; все было готово — и стена со стороны реки, ограждавшая путь через деревню, и дорога, которая вела мимо церкви, где она сливалась с тропинкой, проложенной по желанию Шарлотты, и затем, извиваясь подымаясь на скалы и оставляя дерновую хижину сначала слева над собой, а после крутого поворота слева внизу, постепенно приводила на самую вершину.

На торжество съехалось много гостей. Все общество отправилось в церковь, уже полную празднично разодетых прихожан. Когда кончилось богослужение, мальчики, юноши и мужчины пошли, как им было указано, вперед; за ними — господа с гостями и свитой, а девочки, девушки и взрослые женщины замыкали шествие.

Там, где дорога поворачивала, чуть повыше, в скале была вырублена площадка, на которой капитан предложил Шарлотте и гостям отдохнуть. Отсюда им видны были вся дорога, ушедшая вперед толпа мужчин, женщины, двигавшиеся вслед за ними и теперь как раз проходившие мимо. Погода выдалась великолепная, и зрелище было необыкновенно красиво. Шарлотта, пораженная и тронутая, горячо

пожала руку капитану.

Отдохнув, они пошли дальше за медленно двигавшейся толпой, которая уже обступила место для будущего здания. Хозяев и почетнейших гостей пригласили спуститься в вырытое углубление, где, подпертый с одной стороны, уже был приготовлен камень для закладки. Принарядившийся каменщик, держа в одной руке лопату, в другой молоток, произнес в стихах очень милую речь, которую мы можем лишь несовершенно воспроизвести в прозе.

— Три правила, — начал он, — следует помнить при всякой постройке: здание должно стоять на подобающем месте, иметь прочное основание и быть полностью завершено. Первое, собственно, дело хозяина; ведь подобно тому как в городе только монарх и община решают, где должно строить, так в деревне владельцу имения принадлежит право сказать: здесь, а не где-либо в ином месте пусть стоит мое жилище.

При этих словах Эдуард и Оттилия не посмели друг на друга взглянуть, хотя и стояли один против другого.

— Третье, то есть завершение здания, — дело очень многих рук, и кто только в нем не участвует! Но второе, закладка, — дело каменщика и — не буду скромничать — главное во всем начинании. Это дело важное, и для него мы пригласили вас спуститься сюда, — такие торжества совершаются в глубине земли. Здесь, в этом узком пространстве, которое мы выкопали, вы оказываете нам честь быть свидетелями нашего таинственного труда. Сейчас мы зложим в основание дома этот гладко обтесанный камень, а земляные стены, вдоль которых расположились достойные и прекрасные особы, скоро исчезнут, так как все будет засыпано.

Этот краеугольный камень, правый угол которого обозначает правый угол здания, прямоугольность же знаменует его правильность, а горизонтальные и отвесные линии — прямизну стен, — этот камень мы могли бы просто положить на землю: ведь он держится и своей собственной тяжестью. Но и тут не должно быть недостатка в известии, в связующих средствах, ибо как люди, от природы чувствующие влечение друг к другу, сближаются еще теснее, соединенные цементом закона, так и камни, по форме своей подходящие один к другому, крепче соединяются благодаря этим связующим силам; а так как не подобает оставаться праздным среди тех, кто трудится, то и вы не погнушайтесь принять участие в нашем труде.

С этими словами он подал лопату Шарлотте, которая подбросила извести под камень. Другие тоже решили последовать ее примеру, и камень быстро был опущен; затем Шарлотте и ее спутникам подали молоток, чтобы, три раза ударив им по камню, благословить его союз с землей.

— Работа каменщика сейчас, — продолжал оратор, — хотя и совершается под открытым небом и не ведется втайне, все же покрыта тайной. Правильно поставленное основание засыпается землей, и даже стены, возведенные нами, вряд ли кому напомнят о нас. Труд каменотеса и ваятеля больше бросается в глаза, и нам еще приходится мириться с тем, что штукатурщик полностью стирает след нашей руки и присваивает себе сделанное нами, покрывая камень краской и сглаживая его поверхность.

Кому же, как не каменщику, всего важнее честно исполненный труд, труд чести ради? Кто, как не он, должен дорожить сознанием сделанного им дела? Когда дом построен, полы настланы и выровнены, наружные стены покрыты украшениями, он сквозь все оболочки смотрит внутрь и узнает правильные и тщательные пазы, которым целое обязано своим существованием и своей устойчивостью.

Но подобно тому, как всякий, совершивший злодеяние, должен опасаться, что, невзирая на все попытки скрыть его, оно все же обнаружится, так и человек, втайне содевший добро, должен ожидать, что и вопреки его воле оно станет известно. Вот почему мы хотим, чтобы этот краеугольный камень послужил и памятником для будущего. Сюда, в эти высеченные углубления, мы опустим разные предметы во свидетельство далекому потомству. Вот эти запаянные металлические сосуды хранят письменные акты; на этих металлических дощечках начертано много примечательного; в этих стеклянных бутылках — лучшее старое вино с указанием его года; много здесь и монет разного достоинства, отчеканенных в нынешнем году; все это мы получили от щедрот нашего хозяина. И если кому из гостей или зрителей угодно будет передать что-либо потомству, то место еще найдется.

Он замолчал и окинул взглядом окружающих; однако, как обычно бывает в подобных случаях, все пребывало в нерешительности, для всех это было неожиданностью, но в конце концов один веселый молодой офицер выступил со словами:

— Если и мне позволено добавить что-нибудь, чего еще не хватает в этой сокровищнице, то я отрежу две пуговицы от моего мундира, которые, пожалуй, заслуживают тоже стать достоянием потомства.

Сказано — сделано. И тут многие последовали его примеру.

Женщины клали свои гребенки, расставались с флакончиками и другими безделушками, и только Оттилия стояла в нерешительности, пока Эдуард приветливым словом не оторвал ее от созерцания всех этих принесенных в дар и сложенных вместе вещей. Тогда она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висел портрет ее отца, и легким движением положила поверх прочих драгоценностей, а Эдуард поспешно приказал, чтобы точно пригнанную крышку тотчас же опустили и зацементировали.

Молодой каменщик, который был при этом особенно деятельным, снова принял вид оратора и продолжал:

— Камень этот мы кладем на вечные времена, на долгую радость нынешним и будущим хозяевам дома. Но сейчас, когда мы как бы закапываем клад, занятые самым основательным из дел, мы в то же время не забываем, что все человеческое преходяще; мы думаем и о том, что когда-нибудь эта плотно заделанная крышка, быть может, приподнимется, а это может случиться не иначе, как если будет разрушено здание, которое мы еще и не воздвигали.

Но если мы хотим, чтобы оно было воздвигнуто, довольно думать о будущем, вернемся к настоящему! Давайте-ка, как только окончится нынешний праздник, приступим к работе, — так, чтобы никто из мастеровых, которые трудятся здесь, не оставался без дела, чтобы здание быстро поднялось ввысь и было завершено и чтобы из окон, еще не существующих сейчас, радостно озирали окрестность хозяин дома с домочадцами и гостями, за здоровье которых я пью, как и за всех присутствующих здесь!

И он единым духом осушил тонко граненный бокал и подбросил его вверх, ибо уничтожением сосуда, из которого мы выпили в минуту веселья, мы знаменуем избыток радости. Однако на этот раз случилось иное: бокал не упал на землю, хотя и без всякого чуда.

Дело в том, что, спеша приступить к постройке, в противоположном углу уже вывели фундамент и даже начали возводить стены, для чего сооружены были достаточно высокие леса.

Строители, соблюдая свою выгоду, выложили их ради праздника досками и пустили туда целую толпу зрителей. На эти-то леса и взлетел бокал, тотчас же подхваченный кем-то, кто увидел в этой случайности счастливое предзнаменование для себя. Не выпуская бокала из рук, он высоко поднял его и показал, так, что все увидели изящно сплетенные вензелем буквы Э и О; это был один из бокалов, заказанных для Эдуарда в дни его молодости.

Леса опустели, и тогда кое-кто из гостей, самые легкие на подъем, взобрались на них, чтобы осмотреть окрестности, и не могли нахвалиться красотой видов, открывавшихся во все стороны.

Чего только не различает взгляд, когда на возвышенном месте подымешься всего лишь на высоту одного этажа! В глубине равнины можно было заметить несколько новых деревень; ясно выступила серебряная полоса реки, а кто-то даже уверял, будто видит башни столицы. С противоположной стороны за лесистыми холмами синели далекие вершины горной цепи, а вся ближайшая местность представлялась взгляду как единое целое.

— Надо только, — воскликнул кто-то, — чтобы три пруда были соединены в одно большое озеро, и тогда великолепнее этой картины ничего нельзя будет себе представить.

— Это исполнимо, — сказал капитан, ведь когда-то они и составляли одно горное озеро.

— Прошу только, — сказал Эдуард, — пощадить мои тополи и платаны, которые так живописно стоят у среднего пруда. Посмотрите, — указывая на долину, обратился он к Оттилии и прошел с нею несколько шагов вперед, — эти деревья я сажал сам.

— Сколько же им лет? — спросила Оттилия.

— Примерно столько же, — ответил Эдуард, — сколько вы живете на свете. Да, милое дитя, когда вы лежали в колыбели, я уже сажал деревья.

Общество вернулось в замок. А после обеда все отправились на прогулку по деревне, чтобы и здесь взглянуть на то, что было сделано. Жители по просьбе капитана собрались перед своими домами; они не выстроились в ряд, но расположились естественными семейными группами, некоторые занимались своими обычными работами, другие отдыхали на новых скамьях. Отныне им было вменено в отрядную обязанность — каждое воскресенье и каждый праздник сызнова наводить чистоту и порядок.

Присутствие большого общества всегда неприятным образом нарушало те душевные отношения, которые установились в кругу наших друзей. Поэтому все четверо были довольны, когда оказались одни в большой зале; но и это чувство домашнего покоя оказалось непрочным; Эдуарду подали письмо, извещавшее о гостях, которые приедут завтра.

— Как мы и предполагали, — сказал Эдуард Шарлотте, — граф не заставит себя ждать, он приезжает завтра.

— Значит, и баронесса неподалеку, — зачтила Шарлотта.

— Конечно! — ответил Эдуард. — Она завтра тоже появится. Они просят разрешения переночевать и послезавтра собираются ехать дальше.

— В таком случае, Оттилия, нам надо все подготовить, — сказала Шарлотта.

— Как вы прикажете их разместить? — спросила Оттилия.

Шарлотта распорядилась насчет самого главного, и Оттилия вышла.

Капитан спросил об отношениях между этими двумя лицами, известных ему лишь в общих чертах. Они давно, уже не будучи свободными, страстно полюбили друг друга. Расстройство, внесенное в два брачных союза, вызвало некоторый шум; стали поговаривать о разводе. Баронессе удалось добиться его, графу же — нет. Для вида им пришлось расстаться, но связь их оставалась неизменной, и если зиму они не могли проводить вместе в княжеской резиденции, то летом вознаграждали себя совместными путешествиями и поездками на воды. Оба они были немного старше Эдуарда и Шарлотты, и всех четверых связывала тесная дружба еще со времен их жизни при дворе. Обе пары сохранили хорошие отношения, хотя и не во всем одобряя друг друга. На сей раз приезд их впервые оказался не совсем по сердцу Шарлотте, и если бы она стала доискиваться причины, то это было из-за Оттилии. Милой, чистой девушке рано еще было видеть подобный пример.

— Могли бы приехать хоть на два дня позже, — сказал Эдуард, когда Оттилия возвратилась в комнату. — Мы бы тем временем покончили с продажей мызы. Купчая готова; одна копия у меня есть и не хватает только другой, а наш старый писец очень болен.

Капитан предложил свою помощь, Шарлотта — также; но Эдуард не соглашался.

— Позвольте мне переписать бумагу, — поспешила отозваться Оттилия.

— Ты не справишься вовремя, — сказала Шарлотта.

— И правда, мне надо иметь ее уже послезавтра с утра, а возни с ней много, — сказал Эдуард.

— Все будет готово, — воскликнула Оттилия, уже держа в руках бумагу.

На следующее утро, когда они из верхнего этажа высматривали гостей, желая вовремя выйти им навстречу, Эдуард сказал:

— Кто это там так медленно едет верхом по дороге?

Капитан подробнее описал фигуру всадника.

— Так, значит, это он, — сказал Эдуард. — Детали, которые ты видишь лучше меня, вполне соответствуют общему облику, который различаю и я. Это — Митлер. Но почему он едет так медленно, так страшно медленно?

Всадник подъехал ближе, и в самом деле это оказался Митлер. На лестнице, по которой он медленно поднимался, его встретили дружескими приветствиями.

— Почему вы не приехали вчера? — спросил его Эдуард.

— Я не люблю шумных празднеств, — отвечал гость. — Сегодня же я приехал, чтобы с тиши отпраздновать вместе с вами день рождения моей приятельницы.

— Но откуда у вас столько свободного времени? — шутливо спросил Эдуард.

— Моим посещением, если оно имеет для вас хоть какую-нибудь цену, вы обязаны мысли, которая вчера пришла мне в голову. Половину дня я провел, радуясь сердечно, в одном доме, где мне удалось восстановить мир, и там-то я услышал, что у вас празднуется день рождения. Ведь это же в конце концов, подумал я, можно назвать эгоизмом: ты согласен радоваться только с теми, кого помирил. Почему бы тебе не порадоваться и с друзьями, которые хранят и соблюдают мир? Сказано — сделано! Вот я и приехал, как решил вчера.

— Вчера бы вы застали здесь большое общество, а сегодня встретите только маленькое, — сказала Шарлотта. — Вы увидите графа и баронессу, которые вам тоже причинили немало хлопот.

Странный гость тотчас же вырвался из тесного кружка обступивших его друзей и с досадой стал искать шляпу и хлыст.

— Злой рок преследует меня всякий раз, как только я соберусь отдохнуть и развлечься. Да и зачем я изменяю своим правилам? Не надо было мне приезжать, а то теперь приходится убираться восвояси. С этими двумя я не останусь под одной крышей. Да и вы остерегайтесь: от них только и жди беды. Они, как закваска, все заражают своим брожением.

Его пытались успокоить, но тщетно.

— Кто против брака, — воскликнул он, — кто словом, а то и, хуже того, делом расшатывает эту основу всякого нравственного общества, тот будет иметь дело со мною; если же я не в силах его обуздать, то и знать его не хочу! Брак — это начало и вершина человеческой просвещенности. Грубого он смягчает, а человеку образованному дает наилучший повод доказать мягкость своего нрава. Брак должен быть нерушим, ибо он приносит столько счастья, что какое-нибудь случайное горе даже и в счет не идет по сравнению с ним. Да о каком горе тут может быть речь? Просто человека время от времени одолевает нетерпение, и тогда ему угодно считать себя несчастным. Но пусть пройдет эта минута, и вы будете счастливы, что все осталось так, как было. Для развода не может быть вообще достаточного основания. Человек и в радостях и в горестях стоит так высоко, что совершенно невозможно исчислить, сколько муж и жена друг другу должны. Это — беспредельный долг, и отдать его можно только в вечности. Порой брак становится неудобен, не спорю, но так оно и должно быть. Разве не такими же узами мы соединены с нашей совестью, от которой мы часто рады бы избавиться, потому что она причиняет нам больше неудобства, чем муж и жена друг другу?

Так он говорил, горячась, и говорил бы, наверно, еще больше, если бы почтовые рожки не возвестили о прибытии гостей, которые, словно по уговору, в одно и то же время с разных сторон въехали в замковый двор. Когда хозяйева поспешили им навстречу, Митлер скрылся, велел подать лошадь к гостинице и, раздосадованный, ускакал.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Гостей приветствовали и повели в дом; они с радостью вступили в этот замок, в эти комнаты, где некогда провели немало веселых дней и где так долго не бывали. Встретиться с ними были рады и наши друзья. И графа и баронессу отличали та красота и та стройность фигур, которые в средней возрасте едва ли не привлекательнее, чем в молодости: пусть первый цвет уже успел поблекнуть, но тем решительнее они возбуждают симпатию и доверие. К тому же эта пара вполне умела сообразоваться с требованиями света. Свобода их взглядов на жизненные отношения и поступки, их веселость и кажущаяся простота обращения сразу же сообщались и другим, и в то же время все это умерялось подлинной воспитанностью, чуждой какого бы то ни было принуждения.

Это тотчас оказало свое влияние на кружок друзей. Гости, только что оставившие высший свет, как о том можно было судить по их платью, вещам и всему окружению, представляли полную противоположность нашим друзьям, с их сельской жизнью и затаенно страстным душевным миром; контраст этот, однако, сгладился, как только старые воспоминания смешались с интересами настоящего и быстрая, оживленная беседа связала всех воедино.

Впрочем, довольно скоро произошло и некоторое разделение. Дамы отправились в свой флигель и принялись поверять друг другу всевозможные новости, тут же разглядывая последние фасоны и покрои весенних платьев, шляпок и тому подобного, мужчины же занялись осмотром новых дорожных экипажей, лошадей, приведенных конюхами, договаривались об обмене и продаже.

Снова друзья сошлись только за обедом. К столу все переоделись, и гости при этом сумели показать себя в самом выигрышном свете. Все на них было новое, словно в первый раз надетое, и в то же время уже успевшее стать привычным и удобным.

Оживленный разговор быстро переходил с предмета на предмет: как и всегда в обществе подобных людей, интересуются всем и ничем. Говорили по-французски, чтобы прислуга не могла понять, и с игривой легкостью касались светских отношений высшего и среднего круга. Только раз разговор довольно долго вращался вокруг одной и той же темы: Шарлотта осведомилась об одной из подруг своей молодости и с удивлением услышала, что вскоре ей предстоит развод.

— Как это печально! — сказала Шарлотта. — Думаешь, что друзья, которых не видишь, живут в благополучии, что недруга, которую любишь, устроила свою судьбу, а не успеешь оглянуться, как приходится уже слышать, что в ее судьбе совершается перелом и что в жизни ей опять предстоит ступить на новые и, быть может, столь же ненадежные пути.

— В сущности, дорогая моя, — возразил ей граф, — мы сами виноваты, если такие происшествия являются для нас неожиданными. Все земное и, в частности, супружеские взаимоотношения, мы склонны воображать себе чем-то в высшей степени постоянным, а что касается брака, то к подобным представлениям, ничего не имеющим общего с действительной жизнью, нас приводят комедии, которые мы все время смотрим. В комедии брак предстает перед вами как конечная цель желания, встречающего препятствия на протяжении нескольких актов, причем занавес падает в тот миг, когда цель достигнута, и мы сохраняем чувство удовлетворения этой минутой. В жизни устроено иначе: игра тут продолжается и за сценой, и когда занавес подымается вновь, то уже ничего больше не хочется ни видеть, ни слышать.

— Все это, наверно, обстоит не так уж плохо, — сказала Шарлотта, — если мы видим, что даже лица, уже сошедшие с этой сцены, все-таки бывают не прочь сыграть на ней еще какую-нибудь роль.

— Против этого ничего не скажешь, — заметил граф. — За новую роль можно взяться с охотой, но если знаешь свет, то понимаешь, что в браке именно рта заранее предрешенная незыблемость среди всего изменчивого в мире и является чем-то несообразным. Один из моих друзей, который, когда бывал в духе, измышлял проекты новых законов, считал, что всякий брак следовало бы заключать только на пять лет. Это, говорил он, сакраментальное нечетное число и срок, как раз вполне достаточный для того, чтобы можно было друг друга узнать, произвести на свет нескольких детей, поссориться и, что всего лучше, помириться. Он обычно восклицал по этому поводу: «Как счастливо протекало бы первое время: года два-три, по крайней мере, можно было бы провести вполне приятно. Потом одному из супругов все-таки, наверно, захотелось бы продлить отношения, и предупредительность с его стороны возрастала бы по мере приближения положенного срока. А это могло бы умиротворить и подкупить равнодушного, даже недовольного. И как в обществе добрых друзей не помнишь о времени, так и супруги забыли бы о нем и были бы приятнейшим образом удивлены, спохватившись по истечении срока, что он с молчаливого согласия уже продлен».

Хоть все это звучало очень мило и весело и хотя Шарлотте было ясно, что в этой шутке можно усмотреть и глубокий нравственный смысл, все же подобные речи были ей неприятны, главным образом из-за Оттилии. Она прекрасно знала, что не может быть ничего опаснее слишком вольной беседы, в которой явление предосудительное или полупредосудительное рассматривается как нечто привычное, обыкновенное, даже похвальное, а к подобным явлениям принадлежит, конечно, все, что нарушает крепость брачных уз. Поэтому она со свойственным ей тактом пыталась изменить предмет разговора, а когда это не удалось, пожалела, что Оттилия так превосходно всем распорядилась и ее ни за чем нельзя послать. Заботливая девушка взглядами и знаками объяснялась с дворецким, и все шло как нельзя лучше, хотя среди прислуги были два новых неумелых лакея.

Между тем граф, не замечая усилий Шарлотты переменить разговор, продолжал на ту же тему. Хоть ему и никогда не приходилось быть докучным в беседе, все же его слишком тяготила забота, и трудности, мешавшие ему развестись с женой, озлобляли его против всего, что было связано с браком, которым он в то же время так ревностно желал соединиться с баронессой.

— Мой приятель, — продолжал он, — предлагал еще и другой законопроект. Брак должен был бы считаться нерасторжимым лишь в том случае, когда обе стороны или, по крайней мере, одна из них вступили в него уже третий раз. Ведь это могло сложить бесспорным доказательством, что одна из сторон считает брак необходимостью. К тому же должно было стать ясным, как они вели себя в прошлом и не отличаются ли они какими-нибудь странностями, которые часто дают больше оснований для развода, нежели дурные качества. Итак, необходимо наводить соответствующие справки, наблюдая при этом как за женатыми, так и за неженатыми, ибо неизвестно, как еще могут сложиться обстоятельства.

— Все это, — сказал Эдуард, — будет, во всяком случае, сильно занимать общество, а то, в самом деле, сейчас, когда мы женаты, никто и не спрашивает ни о наших добродетелях, ни о наших недостатках.

— При таком законе, — с улыбкой сказала баронесса, — наши милые хозяева уже успели бы благополучно подняться на две ступени и готовились бы вступить на третью.

— Им повезло, — сказал граф, — для них смерть добровольно сделала то, что консистории обычно делают лишь с неохотой.

— Оставим умерших в покое, — сказала Шарлотта, и глаза ее приняли серьезное выражение.

— Почему? — спросил граф. — Ведь мы можем почтить их память. Они были настолько скромны, что удовлетволялись несколькими годами и оставили по себе много хорошего.

— Если бы только, — с подавленным вздохом сказала баронесса, — не приходилось в подобных случаях жертвовать лучшими годами жизни.

— Да, — ответил граф, — от этого можно было бы впасть в отчаяние, если бы в жизни вообще надежды не сбывались так редко. Дети не исполняют того, что обещали; молодые люди — лишь в весьма редких случаях, а если они и сдерживают обещание, то свет не исполняет

того, что обещал им.

Шарлотта, довольная, что разговор принимает другое направление, весело заметила:

— Ну, что же! Нам и без того приходится быстро привыкать к тому, что благополучием пользуешься в жизни лишь время от времени и не в полной мере.

— Как бы то ни было, — сказал граф, — вам на долю и в прошлом выпало много хорошего. Я вспоминаю годы, когда вы с Эдуардом составляли самую красивую пару при дворе; теперь уже нет и в помине ни таких блистательных дней, ни таких запоминающихся образов. Когда вы танцевали, все глаза бывали обращены на вас, прикованы к вам, а вы только смотрели друг на друга, как в зеркало.

— С тех пор так много изменилось, — сказала Шарлотта, — что скромность уже не возбраняет нам слушать эти похвалы.

— И все-таки, — продолжал граф, — я нередко порицал Эдуарда в душе за то, что он не был настойчивее, — ведь при всех своих странностях его родители уступили бы в конце концов, а выиграть десять лет — это не шуточное дело.

— Я должна заступиться за него, — перебила баронесса. — Шарлотта тоже не без вины, она тоже поглядывала по сторонам, и хотя всем сердцем любила Эдуарда и втайне прочила его себе в супруги, все же — и я была тому свидетельницей — она порою страшно мучила его, так что его легко удалось склонить к злополучному решению — отправиться в путешествие, удалиться, отвыкнуть от нее.

Эдуард кивнул головой, словно благодаря ее за заступничество.

— Но вот что я должна прибавить в извинение Шарлотте, — продолжала баронесса. — Человек, в ту пору добивавшийся ее руки, давно уже был всем известен как ее искренний поклонник, и все, кто знал его поближе, находили его гораздо более приятным, чем вы полагаете.

— Дорогая моя, — довольно живо заметил граф, — признайтесь, что он был вам не совсем безразличен и что Шарлотте следовало опасаться вас больше, чем всякой другой. По-моему, это в женщинах премилая черта: так долго сохранять привязанность к мужчине, что никакая разлука не может ни нарушить, ни истребить ее.

— Этим прекрасным свойством, — возразила баронесса, — мужчины обладают, пожалуй, в еще большей степени. И о крайней мере, как я наблюдала, дорогой граф, над вами никто не имеет большей власти, чем женщина, к которой вы некогда были привязаны. Я сама видела, что просьбу одной такой дамы вы старались исполнить с гораздо большим рвением, чем если бы к вам обратилась за тем же подруга нынешней минуты.

— С таким упреком можно примириться, — ответил граф, — но первого мужа Шарлотты я не выносил из-за того, что он разъединил прекрасную пару, воистину предназначенную друг для друга самой судьбой, которой нечего было бы опасаться пятилетнего срока или помышлять о втором, а то еще и третьем союзе.

— Мы постараемся, — сказала Шарлотта, — наверстать упущенное.

— Так и надо, — сказал граф и продолжал с некоторой запальчивостью в тоне: — Ведь первый брак каждого из вас принадлежал к числу действительно неудачных браков, да, к сожалению, и вообще-то в браках — простите мне резкое слово — есть всегда что-то грубоватое: они портят отношения самые нежные, и все дело, собственно, лишь в неуклюжей самоуверенности, которой тешит себя, по крайней мере, одна из сторон. Остальное уж ясно само по себе, и, кажется, люди соединились только затем, чтобы каждый мог идти своей дорогой.

Тут Шарлотта, желавшая раз навсегда оборвать этот разговор, неожиданным замечанием переменяла его направление. Цель ее была достигнута. Беседа приняла более общий характер, — в ней смогли участвовать оба супруга и капитан; даже для Оттилии нашелся повод высказать свое мнение, и за десертом все находились в самом лучшем расположении духа, с которым гармонировало и обилие плодов, поданных в изящных корзинках, и множество цветов, в пестром разнообразии красовавшихся в великолепных вазах.

Зашла речь и о новых участках парка, куда решено было отправиться тотчас же после обеда. Оттилия не принимала участия в прогулке под предлогом каких-то хозяйственных хлопот; на деле же она торопилась снова приняться за переписку купчей. Капитан занимал графа разговором; потом к ним примкнула и Шарлотта. Когда они уже поднялись на самую вершину и капитан любезно поспешил вернуться, чтобы принести план имения, граф сказал Шарлотте:

— Этот человек мне очень нравится. Он прекрасно и разносторонне образован. Во всем, что он делает, видна основательность и обдуманность. Деятельность, которой он занимается здесь, была бы и в высших сферах признана весьма полезной.

Шарлотта с большим удовольствием слушала похвалы капитану, однако не показала вида и сдержанно и спокойно подтвердила слова графа. Но как она была поражена, когда он прибавил:

— Это знакомство для меня сейчас чрезвычайно кстати. Я знаю место, для которого он, несомненно, подходит, и если я его рекомендую, то, сделав ему добро, я также окажу большую услугу одному высокопоставленному лицу из числа моих друзей.

Для Шарлотты это было как удар грома. Граф не заметил ничего, — ведь женщины, привыкшие к сдержанности, даже в самых необычных случаях продолжают сохранять видимость самообладания. Но больше она уже не слышала слов графа, который меж тем продолжал:

— Когда я что-нибудь решил, дело у меня идет быстро. Мысленно я уже набросал письмо, и мне теперь не терпится его написать. Вы ведь предоставите мне верхового, с которым я мог бы отослать его еще нынче вечером?

Шарлотта испытывала душевные муки. Застигнутая врасплох этим предложением да и собственным своим душевным состоянием, она не могла вымолвить ни слова. К счастью, граф продолжал развивать свои проекты, выгода которых для капитана не могла не броситься

Шарлотте в глаза. Тут как раз подошел он сам и развернул перед графом свой чертеж. Но насколько по-другому смотрела она сейчас на своего друга, которого ей предстояло потерять. Принужденно поклонившись, она отошла от них и поспешила в дерновую хижину. Еще на полпути слезы брызнули у нее из глаз, и она устремилась в эту темную маленькую келью, чтобы всецело предаться своей скорби, своей страсти, своему отчаянию, самую возможность которого она еще за несколько мгновений до того даже и не предчувствовала.

Тем временем Эдуард с баронессой прогуливались вдоль прудов. Эта умная женщина, любившая знать все обо всех, осторожно повела разговор и скоро заметила, что Эдуард рассыпается в похвалах Оттилии; ей удалось так незаметно вызвать его на откровенность, что под конец у нее не осталось и сомнения в том, что перед нею не зарождающаяся, а уже подлинно созревшая страсть.

Женщины замужние, даже если они друг друга не любят, все же состоят между собой в молчаливом союзе, особенно против молодых девушек. Следствия подобной привязанности не замедлили представиться ее уму, достаточно опытному в делах света. К тому же она еще утром, разговаривая с Шарлоттой об Оттилии, не одобрила пребывания здесь этой девушки, такой тихой и скромной, и предложила отправить Оттилию в город к одной своей приятельнице, чрезвычайно озабоченной воспитанием единственной дочери и ищущей для нее благонравную подругу, которую она соглашалась принять как вторую дочь и дать ей все преимущества такого положения. Шарлотта обещала подумать об этом.

Теперь, когда баронесса заглянула в душу Эдуарда, она твердо решила осуществить свой план, и чем быстрее она укреплялась в своем намерении, тем более она льстила на словах желаниям Эдуарда. Ибо никто лучше этой женщины не владел собою, а это самообладание, проявляемое в случаях исключительных, причает к притворству даже и в простых случаях и побуждает людей, имеющих такую власть над собою, распространять это владычество и на других, с тем чтобы внешним успехом как бы вознаградить себя за испытанные внутренние лишения.

С такими наклонностями обычно сочетается своего рода злорадство по поводу чужой слепоты, бессознательно попадающей в расставленные сети. Мы радуемся не только удаче в настоящем, но и чьему-то неожиданному посрамлению в будущем. И баронесса была настолько коварна, что пригласила Эдуарда с Шарлоттой к себе в имение на сбор винограда, а на вопрос Эдуарда, мощно ли им будет взять с собой и Оттилию, ответила так, что он мог истолковать ее слова и в желательном для себя смысле.

Эдуард тотчас же с восторгом заговорил об этой прекрасной местности, о широкой реке, о холмах, скалах и виноградниках, о старых замках, о катанье на лодке, о веселии, сопровождающем сбор винограда, работу в давяльне и т. д., причем в простоте своего сердца заранее громко радовался тому впечатлению, которое подобные сцены должны будут произвести на восприимчивую душу Оттилии. В эту минуту показалась Оттилия, направлявшаяся к ним, и баронесса поспешила сказать Эдуарду, чтобы он ничего не говорил ей об этой осенней поездке, ибо то, чему мы радуемся заранее, обычно осуждено на неудачу. Эдуард обещал, но заставил ее идти быстрее и даже опередил баронессу на несколько шагов, — так он торопился навстречу милой девушке. Сердечная радость выражалась во всем его облике. Он поцеловал ей руку, в которую вложил букет полевых цветов, собранных дорогой. Видя все это, баронесса почувствовала в душе чуть ли не озлобление. Она не только не могла одобрить то, что было предосудительного в этом увлечении, но и то, что было в нем привлекательного и прекрасного, она не могла простить этого ничем не примечательной, неопытной девушке.

Ужинать все сели уже в совершенно ином расположении духа. Граф, успевший написать письмо и отправить его с верховым, разговаривал с капитаном, которого он теперь усадил рядом с собой и расспрашивал обстоятельно, но не назойливо. Поэтому он и не старался занимать баронессу, сидевшую справа от него, равно как и Эдуард, который сперва от жажды, потом от возбуждения то и дело подливал себе вина и весьма оживленно беседовал с Оттилией, которую он посадил подле себя, тогда как Шарлотта, сидевшая по другую сторону рядом с капитаном, с трудом и почти безуспешно старалась скрыть свое внутреннее волнение.

У баронессы было достаточно времени для наблюдений. Она заметила тревогу Шарлотты, а так как думала при этом лишь об отношениях Эдуарда и Оттилии, то ей легко было убедить себя, что и Шарлотта расстроена и рассержена именно поведением своего мужа, и она стала размышлять, как бы ей поскорее добиться своей цели.

Отчужденность продолжала чувствоваться и после ужина. Граф, желавший лучше узнать капитана, должен был, имея дело с человеком столь уравновешенным, нисколько не тщеславным и вообще немногословным, пускаться в ход различные уловки, чтобы выяснить то, что ему хотелось. Они ходили взад и вперед по одной стороне залы, между тем как Эдуард, возбужденный вином и надеждами, шутил у окна с Оттилией, а Шарлотта с баронессой молча расхаживали по другой стороне. Их молчание и бесцельное хождение по зале в конца концов внесли расстройство и в беседу остальных. Дамы удалились на свою половину, мужчины — на свою, и день, казалось, был закончен.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Эдуард проводил графа в его комнату и, увлеченный разговором, решил еще немного побыть с ним вместе. Граф погрузился в воспоминания о прошлом и с живостью заговорил о красоте Шарлотты, превознося ее, как знаток, с великим жаром.

— Красивая ножка — великий дар природы. Это — неувядающее очарование. Я смотрел сегодня, как она шла, и мне все хочется поцеловать ее башмачок и повторить несколько варварский, но исполненный глубокого чувства обряд поклонения, принятый у сарматов, для которых нет ничего лучше, как выпить за здоровье любимой и почитаемой женщины из ее башмачка.

Но не только ножка удостоилась похвал в беседе двух столь близких друзей. От Шарлотты они перешли к старым историям и приключениям и вспомнили о том, какие препятствия ставились тогда этим двум влюбленным, как другие старались помешать их свиданиям и сколько требовалось усилий, какие уловки им приходилось изобретать, чтобы иметь возможность сказать друг другу о своей любви.

— Помнишь, — продолжал граф, — в каком приключении я дружески бескорыстно принимал участие вместе с тобой, когда наши августейшие господа задумали посетить своего дядю и съехались в его огромном замке? Весь день мы только и делали, что праздновали и разгуливали в парадных костюмах; после этого надо было хоть часть ночи провести в свободной любовной беседе.



— Дорогу к апартаментам придворных дам вы прекрасно запомнили, — сказал Эдуард. — Мы благополучно пробрались к моей возлюбленной.

— А она, — подхватил граф, — больше заботилась о приличиях, чем о моем удовольствии, и оставила при себе весьма безобразную компаньонку; и вот, в то время как вы обменивались нежными взглядами и словами, мне выпала отнюдь не веселая участь.

— Еще вчера, — ответил Эдуард, — когда мы получили от вас письмо, мы вспоминали с женой об этой истории, особенно же о нашем возвращении. Мы сбились с пути и оказались у гвардейской караульни. Так как оттуда нам нетрудно было найти дорогу, то мы и решили, что и здесь нам удастся так же пройти мимо часовых. Но каково было наше изумление, когда мы открыли дверь! Весь путь перед нами был выложен тюфяками, на которых в несколько рядов растянулись спящие великаны. Единственный, кто бодрствовал из всего караула, с удивлением посмотрел на нас; мы же с юношеской отвагой и дерзостью шагали через вытянутые ноги в ботфортах, причем ни один из этих храпящих сынов Энака не проснулся.

— Мне, — сказал граф, — очень хотелось споткнуться, чтобы наделать шума: какое необыкновенное восстание из мертвых мы бы увидели тогда!

В эту минуту часы в замке пробили двенадцать.

— Уже полночь, — сказал, улыбаясь, граф, — самая пора. Я должен вас просить о дружеской услуге, дорогой барон; проводите меня сегодня так, как я провожал вас тогда, — я обещал баронессе еще навестить ее. Целый день нам не довелось поговорить с глазу на глаз, мы очень давно не виделись, и, конечно, хотелось бы провести часок в задушевной беседе. Покажите мне дорогу к ней, а дорогу назад я уж найду сам, и, во всяком случае, мне не придется здесь споткаться о ботфорты.

— Я рад как хозяин дома оказать вам эту услугу, — ответил Эдуард, — но только все наши дамы сейчас на своей половине. Бог весть, не застанем ли мы их еще вместе и не наделаем ли переполоха; это может произвести самое странное впечатление.

— Не беспокойтесь! — сказал граф. — Баронесса ждет меня. Она сейчас, наверно, у себя в комнате, и притом одна.

— Ну что ж, это дело не трудное, — отвечал Эдуард и, взяв свечу, повел графа за собой вниз по потайной лестнице, которая выходила в длинный коридор. В конце его Эдуард отворил маленькую дверь. Они поднялись по винтовой лестнице; наверху, на узкой площадке, Эдуард, передав графу свечу, указал ему на дверь направо, которая тотчас же подалась, как только до нее дотронулись, и пропустила графа, а Эдуард остался в темноте.

Другая дверь, налево, вела в спальню Шарлотты. Он услышал голоса и прислушался. Шарлотта спрашивала камеристку:

— Легла ли уже Оттилия?

— Нет, — отвечала камеристка, — она сидит внизу и пишет.

— Так зажги ночник, — сказала Шарлотта, — и ступай; уже поздно. Я сама разденусь и потушу свечу.

Эдуард был в восторге, услышав, что Оттилия еще пишет. «Она трудится для меня!» — подумал он, торжествуя. Окруженный мраком и весь уйдя в себя, он представил себе, как она сидит, пишет; ему почудилось, будто он входит к ней, видит ее, она оборачивается к нему; он почувствовал непреодолимое желание еще раз побыть рядом с ней. Но отсюда не было выхода на антресоли, где она жила. Он же стоял у самой двери в комнату своей жены, и вот в душе его вдруг все как-то странно смешалось; он попробовал отворить дверь — она оказалась запертой; он тихо постучал, Шарлотта не услышала.

Она в волнении ходила взад и вперед по соседней большой комнате, вновь и вновь повторяя все, что успела передумать после неожиданного предложения, сделанного графом. Капитан, казалось, стоял перед нею. Им еще был полон этот дом, он оживлял еще места прогулок, и вот ему предстоит ехать, все должно опустеть. Она твердила все, что можно было себе сказать, в том числе и жалкое утешение, состоящее в том, что время смягчает даже и такую боль. Она проклинала время, которое будет нужно для того, чтобы боль смягчилась; она проклинала то смертоносное время, когда боль смягчится.

Прибежище, которое она наконец нашла в слезах, было для нее тем более желанно, что она редко искала его. Она бросилась на диван и всецело отдалась своему горю. Эдуард все это время не мог отойти от двери; он постучал во второй раз и в третий, чуть посильнее, так что Шарлотта в ночной тишине явственно услышала этот стук и в испуге вскочила. Первой мелькнула мысль, что это может, что это должен быть капитан, но тотчас же она поняла: это невозможно! Она решила, что ей померещилось, но она слышала стук, она хотела, она боялась поверить своему слуху. Шарлотта прошла в спальню, тихонько приблизилась к запертой двери. Она бранила себя за свой страх. «Ведь вполне возможно, что баронессе понадобилось что-нибудь!» — сказала она себе самой и громким голосом — спокойно и уверенно — спросила:

— Кто там?

Тихий голос отвечал:

— Это я.

— Кто? — переспросила Шарлотта, не узнавая голоса. За дверью, казалось ей, должен был стоять капитан.

Голос ответил несколько громче:

— Эдуард!

Она отворила — перед нею стоял ее муж. Он приветствовал ее шуткой. Ей удалось продолжить в том же тоне. Свой загадочный визит он окружил загадочными же объяснениями. Наконец он сказал:

— Должен тебе признаться, зачем я, собственно, пришел. Я дал обет еще нынче вечером поцеловать твой башмачок.

— Это давно тебе не приходило в голову! — сказала Шарлотта.

— Тем хуже, — ответил Эдуард, — и тем лучше!

Она опустила в кресло, чтобы скрыть от его взгляда легкость своих ночных одежд. Он упал перед ней на колени, и она не могла не позволить ему поцеловать ее башмачок, так и оставшийся у него в руке, и нежно прижать ее ножку к своей груди.

Шарлотта принадлежала к числу тех женщин, которые, будучи умеренными от природы, продолжают и в брачной жизни, естественно и без всякого усилия, вести себя как возлюбленные. Она никогда не старалась разжечь страсть в своем муже, едва шла навстречу его желаниям, но, не зная ни холодности, ни отталкивающей суровости, всегда походила на любящую невесту, в душе которой далее дозволенное вызывает робость. Такою вдвойне предстала она в этот вечер перед Эдуардом. Как страстно ей хотелось, чтобы он ушел, ибо призрак друга, казалось, упрекал ее. Но то, что должно было бы отдалить Эдуарда от нее, притягивало его к ней. В ней заметно было какое-то волнение. Она перед тем плакала, и если натуры слабые большей частью становятся от слез менее привлекательными, то женщины, которых мы привыкли видеть сильными и твердыми, бесконечно выигрывают от них. Эдуард был так внимателен, так ласков, так настойчив; он попросил разрешения остаться у нее, он ничего не требовал, но старался полусерьезно, полушутливо уговорить ее; он и не думал о своих правах и наконец, словно с шаловливым умыслом, погасил свечу.

Теперь, когда мерцал лишь свет ночника, внутреннее влечение, сила фантазии одержали верх над действительностью. Эдуард держал в своих объятиях Оттилию; перед душой Шарлотты, то приближаясь, то удаляясь, носился образ капитана, и отсутствующее причудливо и очаровательно переплеталось с настоящим.

И все-таки настоящей нельзя лишить его неотъемлемых прав. Часть ночи они провели в разговорах и шутках, и речи их были тем вольнее, что сердце — увы! — не участвовало в них. Но когда утром Эдуард проснулся подле жены, ему почудилось, что день как-то зловеще заглядывает в окно, а солнце освещает преступление; он бесшумно встал и удалился, и когда Шарлотта проснулась, то, к своему удивлению, она оказалась одна.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда на следующий день хозяева и гости снова сошлись за завтраком, внимательный наблюдатель мог бы определить разницу в умонастроении и чувствах каждого из них по тому, как они друг с другом держались. Граф и баронесса встретились с той радостной легкостью, какую ощущают двое влюбленных, когда после перенесенной разлуки они остаются уверены в силе привязанности, соединяющей их, меж тем как Шарлотта и Эдуард словно испытывали стыд я раскаяние по отношению к капитану и Оттилии. Ибо любовь признает только свои права, все прочие перед нею исчезают. Оттилия была по-детски весела и по-своему простодушна. Капитан казался серьезным; разговор с графом, всколыхнувший все, что в нем успокоилось и уснуло, заставил его почувствовать, что он здесь не следует своему предназначению и, собственно, лишь убивает время в полудеятельной праздности.

Как только граф и баронесса уехали, пришлось встречать новых гостей, к удовольствию Шарлотты, которой хотелось забыться, рассеяться, но к досаде Эдуарда, вдвойне стремившегося побеседовать с Оттилией, да некстати: и для Оттилии, еще не справившейся с изготовлением копии, которая так нужна была к завтрашнему утру. Поэтому, едва только приезжие удалились, она поспешила к себе в комнату.

Наступил вечер. Эдуард, Шарлотта и капитан, провожая гостей, прошли немного пешком, пока те не сели в карету, и затем решили пойти к прудам. Как раз в этот день привезли лодку, которую Эдуард за немалую цену выписал откуда-то издалека. Всем хотелось посмотреть, хороша ли она, легко ли ею управлять.

Она была привязана к берегу среднего пруда недалеко от группы старых дубов, которые тоже были приняты в расчет, когда составлялись планы предстоящих в парке изменений. Здесь предполагалось устроить пристань, а под деревьями — павильон для отдыха, к которому гребцам и следовало держать путь.

— Где же на той стороне лучше всего выбрать место для пристани? — спросил Эдуард. — Вероятно, у моих платанов.

— Это слишком далеко вправо, — возразил капитан. — Когда причаливаешь ниже, то это ближе к замку; впрочем, надо обдумать.

Капитан уже стоял на корме и взялся за весло. Взошла и Шарлотта, за нею Эдуард; он взялся за другое весло, но, собираясь оттолкнуться, подумал об Оттилии, о том, как он задержится из-за этой прогулки по воде, бог весть когда вернется. И, внезапно приняв решение, он выскочил из лодки, подал капитану второе весло, и, наскоро извинившись, поспешил к дому.

Там он узнал, что Оттилия заперлась у себя и пишет.

Обрадовавшись, что она трудится для него, он все же испытал мучительную досаду, что не видит ее рядом с собою. Нетерпение его росло с каждой минутой. Он ходил по большой зале взад и вперед, пробовал заняться то тем, то другим, но ни на чем не мог сосредоточиться. Он стремился видеть ее, видеть наедине — пока не вернулись Шарлотта с капитаном. Стемнело, зажгли свечи.

Наконец она вошла, сияющая и очаровательная. Сознание, что она что-то сделала для друга, как бы возвысило все ее существо. Она положила подлинник и копию на стол перед Эдуардом.

— Хотите сверить? — спросила она, улыбаясь.

Эдуард не нашелся, что отвечать. Он смотрел на нее, смотрел на копию. Первые страницы были написаны с величайшей старательностью нежным женским почерком; потом рука словно менялась, становилась легче и свободнее. Но как же он был изумлен, когда пробежал глазами последние страницы.

— Боже мой! — воскликнул он, — что же это? Ведь это мой почерк!

Он смотрел то на Оттилию, то на листки; в особенности конец производил такое впечатление, как будто он сам его писал. Оттилия молчала, но смотрела ему в глаза с чувством величайшего удовлетворения. Эдуард протянул руки.

— Ты любишь меня! — воскликнул он. — Оттилия, ты любишь меня! — И они обнялись. Кто кого обнял первый, трудно было бы решить.

С этого мгновения мир переменялся для Эдуарда, сам он стал не тем, кем был, мир стал не таким, как прежде. Они стояли друг перед другом, он держал ее руки в своих руках, они глядели друг другу в глаза, готовые снова обняться.

Вошли Шарлотта и капитан. В ответ на их извинения по поводу столь долгого отсутствия он только усмехнулся и подумал про себя: «О, как рано вы вернулись!»

За ужином стали критиковать сегодняшних гостей. Эдуард, взволнованный и влюбленный, отзывался обо всех хорошо, неизменно снисходительно, а часто и с одобрением. Шарлотта, не вполне разделявшая его взгляды, заметила в нем это расположение духа и пошутила по поводу того, что он, обычно предающий уехавших гостей строжайшему суду, нынче столь милостив и мягок.

Эдуард убежденно и горячо воскликнул:

— Стоит только от всей души полюбить одно существо, тогда и все другие покажутся достойными любви!

Оттилия потупила глаза, а Шарлотта смотрела невидящим взглядом.

Высказался также и капитан:

— Нечто подобное есть и в чувстве уважения, преклонения перед другим. То, что ценно в этом мире, начинаешь узнавать лишь тогда, когда научаешься ценить кого-нибудь одного.

Шарлотта постаралась скорее уйти к себе в спальню, где она могла отдаться воспоминанию о том, что нынче вечером произошло между нею и капитаном.

Когда Эдуард прыгнув на берег, отдал жену и друга во власть зыбкой стихии, Шарлотта в надвигающихся сумерках очутилась наедине с человеком, из-за которого она уже так много выстрадала; он сидел против нее, на веслах, направляя лодку то туда, то сюда. Она погрузилась в глубокую печаль, какую ей редко случалось испытывать. Движение лодки, плеск весел, дуновение ветерка, порой проносившегося над гладью воды, шелест тростника, полет запоздалых птиц, мерцание первых звезд и их отражение в волне — все казалось призрачным в этом беспредельном безмолвии. Шарлотте представлялось, будто друг везет ее куда-то вдаль, чтобы высадить на берег, оставить одну. Необычайное волнение владело ее душой, а плакать она не могла.

Капитан тем временем принялся описывать ей, какой вид, по его мнению, должен принять парк. Он превозносил достоинства лодки, которой при помощи двух весел легко может управлять и один человек. Она и сама этому научится, а плыть в одиночестве по воде и быть в одно и то же время и кормчим и гребцом — приятное чувство.

Слова эти омрачили сердце Шарлотты, напомнив о предстоящей разлуке. «Нарочно он это говорит? — думала она. — Знает ли уже об этом? Догадывается? Или говорит случайно, сам того не ведая, предсказывает мне мою судьбу?» Ее охватила глубокая тоска, нетерпение; она попросила его как можно скорее причалить к берегу и вернуться с нею в замок.

Капитан в первый раз объезжал пруды, и хотя он как-то исследовал их глубину, все же отдельные места были ему незнакомы. Темнота сгустилась, он направил лодку к такому месту, где, как он полагал, удобно будет сойти на берег и откуда недалеко до тропинки, ведущей к замку. Но и от этого направления ему пришлось отклониться, когда Шарлотта чуть ли не с испугом повторила свое желание скорее выйти на сушу. Он сделал новое усилие, чтобы приблизиться к берегу, но на некотором расстоянии от него что-то остановило лодку, она наскочила на мель, и все его старания оттолкнулись были напрасны. Что было делать? Ему не оставалось ничего другого, как сойти в воду, неглубокую у берега, и перенести свою спутницу на руках. Он благополучно донес драгоценную ношу, он был достаточно силен, чтобы не потерять равновесия и не причинить ей ни малейшего беспокойства, но все-таки она боязливо обвила руками его шею. Он крепко держал ее, прижимая к себе. Не без волнения и замешательства опустил он ее наконец на траву. Она все еще обнимала его за шею; тогда он снова заключил ее в свои объятия и горячо поцеловал в губы; но в тот же миг упал к ее ногам, прижался устами к ее руке и воскликнул:

— Шарлотта, простите ли вы меня?

Поцелуй, на который осмелился ее друг и на который она уже готова была ответить, заставил Шарлотту прийти в себя. Она сжала его руку, но не подняла его. Склонившись к нему и положив руку ему на плечо, она воскликнула:

— Этот миг составит эпоху в нашей жизни, и мы не в силах этому помешать; но в нашей власти сделать жизнь достойной нас. Вам придется уехать, дорогой друг, и вы уедете. Граф намеревается улучшить вашу участь; это и радует меня и огорчает. Я хотела хранить молчание, пока все не будет решено, но эта минута заставила меня открыть тайну. Простить вам, простить себе я смогу, если только в нас хватит силы изменить наше положение, ибо изменить наши чувства мы не властны.

Подняв его и опираясь на его руку, она молча пошла с ним к замку.

Теперь она стояла у себя в спальне, где ей нельзя было не чувствовать, не сознавать себя женой Эдуарда. Среди этих противоречий ей на помощь пришел ее твердый характер, прошедший столько жизненных испытаний. Ей, привыкшей во всем отдавать себе отчет, всегда держать себя в руках, и на этот раз без труда удалось, обдумав все, достичь желанного равновесия; она не могла удержаться от улыбки, вспомнив об удивительном ночном посещении. Но скоро ею овладело какое-то странное предчувствие, радостно-тревожный трепет, растворившийся в благочестивых желаниях и надеждах. Растроганная, она стала на колени, повторяя клятву, которую дала Эдуарду перед алтарем. Дружба, привязанность, самоотречение светлыми образами пронеслись перед нею. Она почувствовала себя внутренне исцеленной. Сладостная усталость охватила ее, и она спокойно уснула.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В это время Эдуард находится совсем в ином расположении духа. Он так мало помышляет о сне, что ему даже не приходит в голову раздеться. Тысячи раз целует он копию документа, его начало, тесанное детским, робким почерком Оттилии; конец он едва решается поцеловать, ибо ему кажется, что он написан его собственной рукой. «О, если бы это был иной документ», — говорит он про себя, и все же он для него уже и так служит лучшим доказательством, что исполнилось его пламенное желание. Разве этот листок не останется в его руках, разве он не сможет прижимать его к сердцу, хотя бы обезображенным подписью третьего!

Ущербный месяц встает над лесом. Теплая ночь манит Эдуарда на воздух; он бродит вокруг замка, он самый беспокойный и самый счастливый из смертных. Он идет садами — они слишком тесны для него; он спешит в поле — оно кажется ему слишком широким. Его тянет обратно в замок, и он оказывается под окнами Оттилии. Он садится на одну из ступеней террасы. «Стены и запоры, — мысленно говорит он себе, — разлучают нас теперь, по сердца наши не знают разлуки. Если бы она стояла здесь передо мной, она упала бы в мои, я — в ее объятия, а что мне нужно еще, кроме этой уверенности?». Все вокруг было так тихо, ни один листок не шелухнулся; так тихо, что он слышал, как под землей копошатся трудолюбивые зверьки, для которых нет разницы между днем и ночью. Он весь отдался своим счастливым грезам. Наконец он уснул и пробудился, лишь когда солнце, все озаряя своим блистающим взором, уже разогнало утренние туманы.

В своих владениях он проснулся первым. Ему казалось, что рабочие слишком долго не приходят. Они пришли; ему показалось, что их слишком мало; мало в его глазах было и работы, намеченной на этот день. Он потребовал больше рабочих; ему обещали, и в течение дня они были присланы. Но и этих ему уже недостаточно, чтобы скорее увидеть осуществление своих планов. Созидание более не доставляет ему радости: он хочет, чтобы все уже было готово, — а для кого? Дороги должны быть проложены, чтобы Оттилии удобно было ходить по ним, скамейки должны стоять на своих местах, чтобы Оттилия могла там отдыхать. Работы по сооружению нового дома он тоже торопит что есть сил: дом должен быть закончен ко дню рождения Оттилии. Ни в мыслях, ни в поступках он уже не знает удержу. Сознание, что он любит и любим, разрушает все границы. Как изменился для него вид комнат, окрестностей! Он уже не узнает и собственного дома. Присутствие Оттилии поглощает для него все; он весь растворился в ней; он ни о чем ином не думает, совесть ни о чем не напоминает ему; все, что прежде было сковано в его природе, прорвалось наружу, все его существо устремляется к Оттилии.

Капитан видит это лихорадочное возбуждение и хочет предупредить печальные последствия. Все эти работы, которые теперь ведутся с такой односторонней и чрезмерной поспешностью, были задуманы им для спокойной совместной жизни в дружеском кругу. Продажа мызы была осуществлена его стараниями, первая часть суммы подучена, и Шарлотта, как они условились, приняла ее в свою кассу. Но с первой же недели она более чем когда бы то ни было вынуждена действовать обдуманно, терпеливо и заботиться о порядке; ведь при такой торопливости этих денег достанет ненадолго.

Многое было начато, но и многое оставалось еще сделать. Как же он оставит Шарлотту в таких хлопотах? Они советуются друг с другом и решают, что лучше ускорить работы, занять денег, а для возврата их назначить сроки, в которые должны поступать платежи за проданную мызу. Это можно было бы сделать почти без ущерба путем переуступки права на эти суммы; тогда руки у них были бы развязаны; а раз все уже налажено и рабочих достаточно, то можно было бы быстро и верно достичь цели. Эдуард охотно согласился с ними, ибо это вполне отвечало его собственным намерениям.

Шарлотта между тем в глубине души остается при своем заранее обдуманном и принятом решении, и друг мужественно поддерживает ее в этом намерении. Но именно это и увеличивает их близость. Они обмениваются мнениями по поводу страсти Эдуарда, они совещаются, как им быть. Шарлотта ближе привлекает к себе Оттилию, строже наблюдает за нею, и чем больше она узнает собственное сердце, тем глубже проникает ее взгляд в сердце девушки. Спасение она видит только в том, чтобы удалить ее.

Похвальные отзывы из пансиона об успехах ее дочери Люцианы кажутся ей счастливым предначертанием небесного промысла; двоюродная бабушка, узнав о ее успехах, хочет взять ее к себе на постоянное житье, чтобы всегда иметь ее при себе и вывозить в свет. Оттилия могла вернуться в пансион; капитан, уехав, стал бы обеспеченным человеком, и все обстояло бы так же, как несколько месяцев тому назад, даже немного лучше. Свои отношения с Эдуардом Шарлотта надеялась вскоре поправить, и в уме своем она все так хорошо рассчитала, что это лишь укрепляло ее все более в заблуждении, будто можно возвратиться в прежнее ограниченное состояние, скова ввести в тесные рамки то, что насильственно вырвалось на свободу.

Эдуард между тем очень остро чувствовал преграды, которые ставились на его пути. Он скоро заметил, что его и Оттилию стараются отдалить друг от друга, что ему мешают беседовать с нею наедине, даже встречаться с ней иначе, как в обществе других, и, раздосадованный этим, стал досадовать и на многое другое. Если ему удавалось мимоходом поговорить с Оттилией, он не только уверял ее в своей любви, но жаловался ей на свою жену, на капитана. Он не чувствовал, что сам истощает кассу своей необузданной деятельностью, он резко порицал Шарлотту и капитана за то, что в ходе дел они поступают против первоначального уговора, хотя сам же в свое время согласился на отступление от него, даже сделал это отступление необходимым.

Ненависть пристрастна, но еще пристрастнее любовь. Оттилия тоже почувствовала некоторое отчуждение от Шарлотты и капитана. Однажды, когда Эдуард жаловался Оттилии, что капитан как друг при создавшемся положении действует не, вполне чистосердечно, Оттилия необдуманно ответила:

— Мне уже и раньше была не по сердцу его неискренность с вами. Я слышала раз, как он говорил Шарлотте: «Если б только Эдуард пощадил нас и не дудел на флейте. Толку из этого не будет, а слушать тягостно». Можете себе представить, как мне это было больно, — ведь я так люблю сопровождать вас.

Не успела она это сказать, как внутренний голос ей шепнул, что было бы лучше промолчать, но было уже поздно. Эдуард изменился в лице. Ничто никогда не причиняло ему большей досады; он был задет в своих лучших порывах, в своем ребяческом увлечении, чуждом всяких претензий. То, что его занимало, радовало, заслуживало бы более бережного отношения со стороны друзей. Он не думал о том, как ужасна для постороннего игра незадачливого музыканта, терзающего слух. Он был оскорблен, взбешен, не способен простить. Он почувствовал себя свободным от всяких обязательств.

Потребность быть вместе с Оттилией, видеть ее, нашептывать и поверять ей что-нибудь росла в нем с каждым днем. Он решился написать ей, прося вступить с ним в тайную переписку. Ключок бумаги, на котором он достаточно лаконично изложил это желание, лежал у него на письменном столе и упал на пол от сквозняка, когда вошел камердинер, чтобы завить ему волосы. Для того чтобы испробовать накаленные щипцы, камердинер обычно брал с пола какой-нибудь бумажный обрывок; на этот раз он поднял записку, тотчас же сжал ее щипцами и спалил. Эдуард, заметивший промах слуги, вырвал ее у него из рук. Вскоре после того он сел писать другую, но во второй раз перо уже не повиновалось ему. Он почувствовал сомнение, тревогу, однако преодолел их. Записку он вложил в руку Оттилии, как только ему удалось встретиться с ней.

Оттилия не замедлила ответить. Он, не читая, сунул бумажку в карман короткого, по моде, жилета. Она выскользнула и упала на пол незаметно для него. Шарлотта увидела ее, подняла и, бросив на нее беглый взгляд, передала ему.

— Тут что-то, написанное твоей рукой, — сказала она, — и тебе, вероятно, не хотелось бы это потерять.

Он был озадачен. «Не притворяется ли она? — подумал он. — Узнала ли она содержание записки, или ее ввело в заблуждение сходство почерков?» Он надеялся, он рассчитывал на последнее. Он получил предостережение, предостережение двойное, но эти странные случайные знаки, с помощью которых к нам словно обращается некое высшее существо, для его страсти были непонятны, и в то время, как страсть заводила его все дальше, он все болезненнее ощущал ограничения, которым его, казалось, подвергали. Приветливость и общительность Эдуарда исчезли. Сердце его замкнулось, и когда ему приходилось проводить время с женой и другом, ему уже не удавалось оживить былую привязанность к ним. Упреки, которые он вынужден был делать сам себе по этому поводу, были ему неприятны, и он старался поддерживать шуточный тон, который, однако, был чужд любви, а потому чужд и обычного своего очарования.

Перенести все эти испытания Шарлотте помогала ее душевная сила. Она сознавала всю серьезность принятого решения отказаться от столь прекрасной и благородной привязанности.

Как хотелось ей прийти на помощь и тем двум! Одной разлуки, так она предчувствовала, будет недостаточно, чтобы исцелить такой недуг. Она утке собирается поговорить обо всем этом с молодой девушкой, но у нее недостает сил: ей мешает воспоминание о собственной слабости. Она пытается высказаться об этом в общих выражениях; эти общие выражения вполне подходят к ее собственному состоянию, о котором она не решается упоминать. Каждый намек, который она готова подать Оттилии, указывает ей на ее собственное сердце. Она хочет предостеречь ее и чувствует, что сама нуждается в предостережении. Поэтому, храня молчание, она старается держать любящих врозь, но положение не улучшается. Легкие намеки, которые порой вырываются у нее, на Оттилию не действуют: Эдуард убедил ее в привязанности Шарлотты к капитану, в том, что Шарлотта сама желает развода, которого он и предполагает добиться наиболее пристойным образом.

Оттилия, которую на путях к желанному блаженству поддерживает сознание ее невинности, живет только для Эдуарда, укрепляемая в своих добрых делах любовью к нему, выполняя ради него более радостно всякую работу, более общительная с другими, она чувствует себя в земном раю.

Так продолжают они жить вместе день за днем, каждый по-своему, и вдумываясь и не вдумываясь в свою судьбу; все как будто идет обычным порядком, — подобно тому, как и в самых необычных обстоятельствах, когда все поставлено на карту, жизнь по-прежнему течет так, словно ничего не случилось.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тем временем капитан получил от графа письмо, собственно, даже два письма: одно — для оглашения всем окружающим, обещавшее прекрасные виды на будущее; другое же, — с вполне определенным предложением немедленно занять важную придворную должность с производством в чин майора, с крупным жалованьем и другими преимуществами, — по ряду особых причин требовалось еще держать в секрете. Поэтому капитан сообщил своим друзьям лишь о далеких надеждах и скрыл то, что предстояло ему в ближайшее время.

Между тем он деятельно продолжал заниматься начатыми работами, исподволь принимая меры к тому, чтобы в его отсутствие все продолжалось без помехи. Теперь и ему представлялось желательным окончить все дела к определенному сроку, хотя бы ко дню рождения Оттилии. И вот оба друга невольно начинают действовать сообща. Эдуард очень доволен, что благодаря займу касса пополнилась; все дело быстро движется вперед.

Теперь капитан всего охотнее посоветовал бы вовсе отказаться от мысли превратить три пруда в одно озеро. Нижнюю плотину необходимо было укрепить, средние — снести, вся затея казалась во многих отношениях сложной и рискованной. Однако работы, связанные одна с другой, уже были начаты, и тут весьма кстати появился молодой архитектор, в прошлом воспитанник капитана; сильно продвинув дело, отчасти с помощью хороших мастеров, отчасти же благодаря сдаче некоторых работ с подряда там, где это было возможно, он ручался за надежность и долговечность сооружений. Капитан втайне радовался, что его отсутствие не будет чувствоваться, ибо он держался правила никогда не оставлять незавершенного дела, пока не найдется достойный преемник. Он презирал тех, кто, желая сделать ощутимым свой уход, нарочно вносят путаницу в порученную им работу и, как невежественные эгоисты, стараются разрушить то, в чем они больше не могут принимать участия.

Итак, все продолжали трудиться, не жалея сил, чтобы торжественно отпраздновать день рождения Оттилии, хотя никто не говорил об этом вслух и открыто не ставил себе подобной цели. По мнению Шарлотты, хотя и чуждой всякой зависти, этот день не должен был считаться настоящим праздником. Молодость Оттилии, ее положение в доме, отношение к семье Шарлотты не позволяли ей стать царицей праздника. Эдуард же не хотел об этом говорить заранее, считая, что все должно получиться как бы само собой, неожиданно, радостно и просто.

Таким образом, все пришли к молчаливому соглашению, что поводом созвать народ и пригласить друзей на праздник явится только окончание постройки летнего домика.

Но любовь Эдуарда была безгранична. Стремясь назвать Оттилию своею, он не знал меры в жертвах, дарах, обещаниях. Подарки, которые Шарлотта советовала ему преподнести Оттилии, он счел слишком бедными. Он посоветовался со своим камердинером, который ведал его гардеробом и находился в постоянных сношениях с разными модными торговцами; камердинер, кое-что смысливший в том, какие подарки всего приятнее и как их лучше всего дарить, тотчас же заказал в городе изящный сундучок, обтянутый красным сафьяном и обитый стальными гвоздиками, который наполнился подарками, достойными этого местоположения.

Он подал Эдуарду и другую мысль. Имелся в запасе маленький фейерверк, который всё как-то не удосуживались пустить. Его нетрудно было пополнить и расширить. Эдуард ухватился за это предложение, а камердинер обещал обо всем позаботиться. Вся затея должна была оставаться в тайне.

Между тем капитан, по мере того как приближался праздник, принимал и всякие меры к поддержанию порядка, по его мнению необходимые, когда в одном месте скопляется большое количество гостей или любопытных. Он даже предусмотрительно распорядился не допускать нищих, да и всего, что ещё могло бы нарушить прелесть праздника.

Эдуард же и его поверенный больше всего были заняты подготовкой к фейерверку. Его предполагалось пустить у среднего пруда перед группой высоких дубов; хозяевам и гостям надлежало расположиться напротив, под платанами, чтобы на должном расстоянии, с удобствами и в безопасности, любоваться его эффектом, отражением в воде и игрой огней, плавающих на ее поверхности.

Под каким-то вымышленным предлогом Эдуард велел освободить все пространство возле платанов от кустарников, травы и мха, и тогда только предстали во всей своей красоте, поднимаясь над расчищенной поляной, эти ввысь и вширь разросшиеся деревья. Эдуард почувствовал величайшую радость. «Сажал я их примерно в это же время года. Сколько лет тому назад это было?» — подумал он. Вернувшись в дом, он тотчас стал справляться в старых дневниках, которые его отец вел весьма тщательно, когда жил в деревне. Правда, эта посадка не могла быть упомянута в них, но в дневнике непременно должно было быть отмечено одно важное семейное событие, приходившееся на тот же самый день и хорошо памятное Эдуарду. Он перелистывает несколько тетрадей; упоминание найдено; и каково же изумление и радость Эдуарда, когда обнаруживается необыкновенное совпадение — день и год, в который посажены были деревья, это день и год рождения Оттилии.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Наконец-то Эдуарду воссияло утро долгожданного дня; мало-помалу собралось много гостей, ибо приглашения посылались далеко окрест, и многие, пропустившие торжество закладки, о котором рассказывали столько хорошего, не хотели пропустить этот второй праздник.

Перед обедом во двор замка с музыкой явились плотники, неся пышный венок, кольца которого, свитые из зелени и цветов, тихонько колыхались одно над другим. Они произнесли поздравления и, по обычаю, выпросили у дам немало шелковых платков и лент на украшение венка. Покуда господа обедали, они двинулись дальше веселым шествием и, задержавшись ненадолго в деревне, также собрали много лент у женщин и девушек, а потом, в сопровождении большой толпы, поднялись на вершину холма, где стоял дом и где уже собралось множество народа.

Шарлотта после обеда немного задержала все общество. Она не хотела торжественной процессии, и поэтому гости спокойно отправились на вершину отдельными группами, не соблюдая ни чинов, ни регламента. Шарлотта медлила, задержав и Оттилию, но не улучшила этим положения: Оттилия наполнилась последней, и вышло так, словно трубы и литавры только ждали ее, чтобы открыть празднество.

Не отделанный еще дом вместо архитектурного орнамента украсили, по указанию капитана, зелеными ветвями и цветами, но уже без его ведома Эдуард поручил архитектору вязью из цветов обозначить на карнизе год и день торжества. Это бы еще куда ни шло; но, кроме того, предполагалось начертать на фронте имя Оттилии, что, однако, предотвратил капитан, вовремя подоспевший. Ему удалось ловко отклонить эту затею, так что готовые уже буквы, сплетенные из цветов, были отложены в сторону.

Венок водрузили на шест, и он был виден отовсюду. Пестро развевались в воздухе ленты и платки, а краткая приветственная речь почти не была слышна из-за ветра. Церемония кончилась, и на площадке перед домом, выровненной и окруженной по сторонам беседками, должны были начаться танцы. Пригожий парень-плотник подвел к Эдуарду бойкую крестьянскую девушку, а сам пригласил Оттилию, стоявшую рядом. У этих двух пар нашлись подражатели, и вскоре Эдуард уступил свою даму и, подхватив Оттилию, продолжал танец с нею. Молодежь весело приняла участие в народных танцах, а те, что постарше, смотрели на них.

Затем, прежде чем гости разошлись, чтоб погулять, было решено с заходом солнца вновь собраться под платанами. Эдуард пришел туда первым, всем распорядился и договорился со своим камердинером, которому вместе с фейерверкером предстояло зажечь по ту сторону пруда потешные огни.

Капитан с неудовольствием заметил приготовления, сделанные по этому случаю; он как раз хотел поговорить с Эдуардом насчет скопления зрителей, которого следовало ожидать, но тот поспешно попросил предоставить ему одному эту часть празднества.

Народ толпился на откосе плотины, уже скрытой в верхней своей части, обнаженной от дерна и представлявшей неровную и ненадежную поверхность. Солнце зашло, настали сумерки, и в ожидании более полной темноты общество, собравшееся под платанами, стали обносить десертом и прохладительными напитками. Все находили это место несравненным и мысленно радовались, что в дальнейшем отсюда можно будет наслаждаться видом на широкое озеро со столь живописными берегами.

Тихий вечер, полное безветрие обещали благоприятствовать ночному празднику, как вдруг раздался ужасный крик. От плотины оторвались глыбы земли, и видно было, как несколько человек рухнуло в воду. Насыпь не выдержала напора теснившейся и все возрастающей толпы. Каждому хотелось занять место получше, и теперь нельзя было двинуться ни назад, ни вперед.

Гости повскакали с мест, — скорее, чтобы поглядеть, чем помочь; да и как тут было помочь, когда невозможно было добраться до пострадавших? Капитан с несколькими смельчаками поспешил к плотине, тотчас согнал толпу вниз, на берег, чтобы предоставить свободу действий тем, кто самоотверженно пытался спасти утопающих. Вот уже все, — кто своими силами, кто при помощи других, — выбрались на сушу, кроме одного мальчика, который со страха все больше удалялся от плотины, вместо того чтобы приблизиться к ней. Силы, казалось, оставляли его, только иногда над водой еще появлялись то рука, то нога. К несчастью, лодка находилась у противоположного берега и была нагружена фейерверком; требовалось время, чтобы ее освободить, и помощь запаздывала. Капитан, не долго думая, скинул верхнее платье. Все глаза устремились на него, — его статная, могучая фигура невольно внушала доверие, по все же, когда он прыгнул в воду, в толпе раздался крик изумления. Все следили за ним, а он, искусный пловец, быстро настиг мальчика и вынес его к плотине, — казалось, уже бездыханного.

Тем временем подошла лодка, капитан сел в нее, подробно расспросил присутствующих, действительно ли все спасены. Появляется лекарь и берет на свое попечение мальчика, которого уже считали мертвым; подходит Шарлотта, она просит капитана, чтобы теперь он думал только о себе, вернулся бы в замок и переоделся. Он колеблется, пока несколько степенных и рассудительных людей, которые сами помогали спасать утопающих, клятвенно не заверили его, что все спасены.

Шарлотта смотрит, как он идет к замку, думает о том, что вино, чай и все необходимое для такого случая, наверно, заперто, что при подобных обстоятельствах люди обычно теряются; она торопливо проходит мимо гостей, еще остающихся под платанами; Эдуард занят тем, что всех уговаривает не расходиться, побыть здесь; в скором времени он собирается подать сигнал, и тогда начнется фейерверк; Шарлотта подходит к нему и просит отложить забаву, которая неуместна и в настоящую минуту не может принести удовольствия; она напоминает ему, что надо подумать и о спасенном и о спасителе.

— Лекарь уж сделает свое дело, — возразил Эдуард. — У него есть все, что нужно, а навязываясь со своим участием, мы только будем ему мешать.

Шарлотта настаивала на своем и сделала знак Оттилии, которая тотчас же собралась уходить. Эдуард схватил ее за руку и воскликнул:

— Нельзя, чтобы этот день кончился в лазарете! Для сестры милосердия она слишком хороша. Мнимые мертвецы проснутся и без нее, а живые обсушатся.

Шарлотта смолчала и удалилась. Некоторые последовали за ней, другие примкнули к ним, но так как никто не хотел быть последним, то в конце концов все разошлись. Эдуард и Оттилия оказались под платанами одни. Он не согласился уйти, сколь настойчиво и взволнованно она ни просила его вернуться в замок.

— Нет, Оттилия! — воскликнул он. — Необыкновенное совершается не гладкими и не обычными путями. Этот неожиданный случай лишь теснее сближает нас. Ты — моя! Я тебе уже так часто говорил это; довольно же говорить и клясться, теперь это должно быть на самом деле.

С того берега подплыла лодка. То был камердинер, смущенно спросивший, как теперь быть с фейерверком.

— Зажигайте его! — крикнул ему Эдуард. — Он был заказан для тебя одной, Оттилия, и ты теперь одна будешь на него смотреть. Позволь мне любоваться им рядом с тобой. — Он с нежной скромностью сел подле нее, не прикасаясь к ней.

Шурша, взвивались ракеты, гремели выстрелы, взлетали римские свечи, змеились и хлопали бураки; шипя, вертелись колеса, сперва поодиночке, потом попарно, потом все вместе, и все ослепительнее, беспрерывно нагоняя друг друга. Эдуард, у которого грудь пылала, оживленным и радостным взглядом следил за этим огненным зрелищем. Но нежную, взволнованную душу Оттилии этот свист и блеск, то возникавший, то исчезающий, скорее пугал, чем радовал. Она робко прижалась к Эдуарду, и это прикосновение, эта доверчивость позволили ему почувствовать, что она всецело принадлежит ему.

Ночь едва успела вступить в свои права, как вззошел месяц, освещая обоим обратный путь. Вдруг какой-то человек, держа шляпу в руке, заступил им дорогу и попросил милостыню, которой-де в этот торжественный день ему не привелось получить. Месяц осветил его лицо, и Эдуард узнал черты назойливого нищего, уже однажды встретившегося ему. Но он был так счастлив, что не мог сердиться, не мог даже вспомнить о том, что именно в нынешний день строжайше запрещено просить милостыню. Пошарив в кармане, он подал нищему золотую монету. Он рад был бы осчастливить каждого, ибо собственное счастье казалось ему безграничным.

Дома тем временем все шло должным образом. Усилия лекаря, наличие необходимых средств, заботливое участие Шарлотты — все это принесло свои плоды, и мальчик был наконец возвращен к жизни. Гости разошлись — иные хотели еще хоть издали посмотреть на фейерверк, иные собрались уже вернуться под свой мирный кров, чтобы отдохнуть от волнующих сцен этого дня.

Капитан, быстро переодевшись, тоже принимал живейшее участие в оказании помощи мальчику; но вот все успокоилось, и он остался наедине с Шарлоттой. Он с дружеской доверчивостью сообщил ей о скором своем отъезде. В нынешний вечер Шарлотта столько пережила, что эта новость не произвела на нее особенного впечатления; она видела, как ее друг жертвовал собой, как он спасал людей и спасен был сам. Эти необычайные события предвещали, казалось ей, многозначительное, но отнюдь не горестное будущее.

О предстоящем отъезде капитана было сообщено и Эдуарду, вошедшему вместе с Оттилией. Он заподозрил, что Шарлотта знала об этом подробнее уже и раньше, но слишком был поглощен собой и своими замыслами, чтобы ощутить какую-либо обиду.

Известие о том, какое прекрасное и почетное положение должен занять капитан, он выслушал внимательно и был ему рад. Его тайные желания бурно стремились опередить события. Он уже видел Шарлотту женой капитана, себя — мужем Оттилии. Лучшего подарка нельзя было ему сделать к этому празднику.

Но каково было изумление Оттилии, когда она вошла к себе в комнату и увидела на своем столе чудесный маленький сундучок. Она поспешила открыть его. Тут все оказалось сложенным так искусно, в таком порядке, что она ничего не решилась вынуть, едва осмеливаясь дотронуться до вещей. Муслин, батист, шелк, шали и кружева соперничали друг с другом в тонкости, изяществе и ценности. Не были забыты и украшения. Она прекрасно поняла, в чем состоял умысел: ее хотели одеть заново с ног до головы, и не на один только раз; но все было такое драгоценное и чужое, что она и в мыслях не решалась считать это своим.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На следующее утро капитан исчез, оставив друзьям письмо, проникнутое благодарностью. Он и Шарлотта простились еще накануне вечером быстро и немногословно. Чувство говорило ей о вечной разлуке, и она смирилась; во втором письме графа, которое капитан показал ей под самый конец, речь шла и о видах на выгодный брак; и хотя он не придавал значения этому упоминанию, все же Шарлотта сочла дело решенным и бесповоротно отказалась от мысли о нем.

Но зато она считала себя теперь вправе и от других требовать тех же усилий, какие она сделала над собою. Для нее это не оказалось невозможным, пусть же это будет по силам и другим. Разговор с мужем она и начала в таком духе и с тем большей прямоотой и доверчивостью, что ощущала необходимость раз навсегда покончить с этим.

— Наш друг покинул нас, — сказала она. — Мы теперь, как прежде, снова вдвоем, и от нас зависит, вернемся ли мы к прежнему состоянию.

Эдуард, который был глух ко всему, что не шло на пользу его страсти, решил, будто Шарлотта намекает на то время, когда она была вдовой, и подает ему, хотя и неопределенную, надежду на развод. И он с улыбкой ответил:

— Почему бы нет? Надо лишь со всем прийти к согласию.

Но как же он был разочарован, когда в ответ Шарлотта сказала:

— Изменение в судьбе Оттилии тоже зависит сейчас только от нас, ибо нам представляются две возможности благоприятным образом устроить ее жизнь. Она может возвратиться в пансион, так как моя дочь уехала к бабушке, и, кроме того, ей открыты двери одного уважаемого дома, где она вместе с единственной дочерью семьи будет воспитываться так, как это ей подобает.

— Однако, — возразил Эдуард довольно твердо, — Оттилия в нашем дружеском кругу так избаловалась, что всякий иной ей вряд ли будет по душе.

— Мы все избаловались, — сказала Шарлотта, — и ты не меньше других. Но теперь пора образумиться, пора всерьез подумать о благе всех членов нашего маленького кружка и даже пойти на некоторую жертву.

— Только я, — ответил Эдуард, — нахожу несправедливым, чтобы в жертву была принесена Оттилия, а это как раз и случится, если мы вытолкнем ее сейчас в среду чужих людей. Капитан нашел здесь свое счастье, и его мы можем отпустить спокойно, даже с чувством удовлетворения. Но как знать, что ждет Оттилию? К чему спешить?

— Что ждет нас, это довольно ясно, — не без волнения ответила Шарлотта, а так как она решилась высказать вез разом, то и продолжала: — Ты любишь Оттилию, ты привыкаешь к ней. В ней тоже зарождается и растет привязанность к тебе и страсть. Почему не высказать словами то, что открывает и подтверждает нам каждый час? Ужели у нас не хватит предусмотрительности спросить себя: что же из этого выйдет?

— Если на это сразу и нельзя ответить, — заметил, взял себя в руки, Эдуард, — то, во всяком случае, именно тогда не следует торопиться, когда не знаешь, что принесет будущее.

— Здесь, — возразила Шарлотта, — не требуется особой мудрости, чтобы предусмотреть будущее, и как бы то ни было, уже и сейчас можно сказать, что мы оба не так молоды, чтобы слепо идти туда, куда не хочется и не следует идти. Никто уже не станет заботиться о нас; мы сами для себя должны быть друзьями и наставниками. Никто не ожидает от нас, чтобы мы ударились в крайности, и никто не ожидает, чтобы мы могли вызвать порицание, а то и насмешки.

— Можешь ли ты осудить меня, — возразил Эдуард, будучи не в силах с той же прямоотой и ясностью отвечать на слова жены, — можешь ли ты пенять мне за то, что мне дорого счастье Оттилии? И не будущее счастье, которого нельзя предвидеть, а настоящее? Вообрази себе, — чистосердечно и без самообмана, — вообрази себе Оттилию вырванной из нашего общества, отданной во власть чужим людям, — у меня, по крайней мере, не достало бы жестокости уготовить ей такую перемену.

Шарлотта сквозь притворство мужа увидела всю его решимость. Только сейчас она почувствовала, насколько он отдалился от нее. В волнении она воскликнула:

— Неужели Оттилия может быть счастлива, если она разлучит нас! Если она отнимет у меня мужа, у его детей — отца!

— О наших детях, мне кажется, беспокоиться нечего, — с холодной улыбкой сказал Эдуард. И уже более ласково добавил: — Да и к чему



сразу думать о крайностях?

— Крайности ближе всего к страсти, — заметила Шарлотта. — Пока еще не поздно, не отвергай доброго совета, не отвергай помощи, которую я предлагаю тебе, нам обоим. В смутных обстоятельствах действовать и помогать должен тот, кто яснее видит. На сей раз — это я. Милый, дорогой Эдуард, положишься на меня! Неужели ты думаешь, что я так просто откажусь от счастья, которого добилась, от своих самых драгоценных прав, от тебя?

— Кто же это говорит! — с некоторым смущением возразил Эдуард.

— Да ты сам, — ответила Шарлотта. — Разве, желая удержать Оттилию здесь, ты тем самым не даешь согласия на все, что из этого произойдет? Я не хочу неволивать тебя, но если ты не можешь побороть себя, то, во всяком случае, долго ты себя обманывать тоже не сумеешь.

Эдуард почувствовал всю ее правоту. Сказанное слово страшно, когда оно вдруг сразу выразит все, что уже давно говорило тебе сердце, и Эдуард, лишь бы только уклониться в эту минуту от ответа, проговорил:

— Мне ведь еще не вполне ясно, что ты хочешь делать.

— Я намеревалась, — сказала Шарлотта, — обсудить с тобой оба предложения. И в том и в другом много хорошего. Пансион — самое подходящее место для Оттилии, такой, какой мы ее видим сейчас. Но другая возможность шире, богаче и больше обещает в будущем, — затем она подробно изложила мужу оба плана и закончила словами: — Что же касается моего мнения, я бы дом этой дамы по многим причинам предпочла пансиону, в особенности же потому, что мне не хочется усиливать привязанность, может быть, страсть молодого человека, сердце которого там покорила Оттилия.

Эдуард как будто согласился с нею, но только для того, чтобы дать себе отсрочку. Шарлотта, считавшая необходимым действовать решительно, тотчас воспользовалась тем, что Эдуард не стал ей прямо перечить, и на ближайшие же дни назначила отъезд Оттилии, к которому она уже все потихоньку приготовила.

Эдуард ужаснулся; он почел себя обманутым, а в ласковых словах жены увидел притворство и искусный расчет, направленный на то, чтобы навеки отнять у него его счастье. Внешне он предоставил ей всем распоряжаться, но в душе уже принял решение. Только чтобы перевести дух, чтобы предотвратить надвигавшуюся безмерную беду — удаление Оттилии, он решился покинуть свой дом, и притом с ведома Шарлотты, которую ему удалось обмануть заверением, что он не желает присутствовать при отъезде Оттилии и вообще с этой минуты не хочет больше видеть ее. Шарлотта, думая, что добилась своего, во всем соглашалась с ним. Он заказал лошадей, дал камердинеру необходимые распоряжения насчет того, что тот должен уложить и куда следовать за ним, и, словно бы уже пустившись в путь, сел и написал письмо.

## ЭДУАРД — ШАРЛОТТЕ

Не знаю, поддается или не поддается исцелению недуг, постигший нас, но, моя дорогая, я чувствую, что могу спастись от отчаяния, только дав передышку и себе, и всем нам. Принося себя в жертву, я приобретаю право требовать. Я покидаю мой дом и вернусь лишь при более спокойных и благоприятных обстоятельствах. Ты же должна оставаться в нем, но вместе с Оттилией. Я хочу, чтобы она была с тобой, не с чужими людьми. Заботься о ней, будь с ней такой, как всегда, и даже еще ласковей, дружелюбней, нежней. Я обещаю не искать с ней никаких тайных сношений. Лучше мне некоторое время ничего не знать о том, как вы живете; я буду надеяться на самое лучшее. Так же и вы думайте обо мне. Единственное, о чем я тебя прошу, прошу от всего сердца, со всей настойчивостью: не пытайся устроить Оттилию в другом месте, изменить ее положение. За пределами твоего замка, твоего парка, порученная чужим людям, она будет принадлежать мне, я завладею ею. Если же ты с уважением отнесешься к моей привязанности, моим желаниям, моей скорби, если ты польстишь моей безумной мечте, моим надеждам, то и я не стану противиться исцелению, когда оно представится мне возможным.

Последняя фраза хоть и вышла из-под его пера, но шла она не от сердца. Увидев ее на бумаге, он горько заплакал. Так или иначе, он должен отказаться от счастья, пусть даже от несчастья, — любить Оттилию! Теперь только он почувствовал, что? он делает. Он уезжает, сам не зная, что из этого еще может выйти. Сейчас, во всяком случае, он больше не увидит ее — и увидит ли когда-нибудь — кто знает? Но письмо было написано, лошади ждали: он каждое мгновение должен был опасаться, что где-нибудь ему встретится Оттилия и его решимость пропадет. Он взял себя в руки; он подумал, что ведь от него зависит вернуться в любую минуту и что, удаляясь, он, может быть, приближает исполнение своих желаний. Он представил себе и то, как Оттилию будут вытеснять из дому, если он останется. Он запечатал письмо, сбежал с лестницы и вскочил на лошадь.

Когда он проезжал мимо гостиницы, он увидел нищего, которого минувшей ночью так щедро одарил. Тот мирно обедал в беседке: при появлении Эдуарда он встал и почтительно, даже благоговейно поклонился. Этот человек появился вчера перед Эдуардом, когда он вел под руку Оттилию; теперь он мучительно напомнил ему о счастливейшем часе его жизни. Страдание его еще усилилось; сознание того, что он оставляет позади, было для него нестерпимо. Он еще раз бросил взгляд на нищего.

— Да, ты достоин зависти, — воскликнул Эдуард, — ты еще наслаждаешься вчерашним подаянием, а для меня вчерашнего счастья уже нет!

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Услыхав топот коня, Оттилия подошла к окну и еще успела увидеть спину уезжавшего Эдуарда. Ей показалось странным, что он уехал из дому, не повидав ее, не пожелав ей доброго утра. Она забеспокоилась и погрузилась в раздумье, но вот Шарлотта пригласила ее на дальнюю прогулку, в течение которой говорила о чем угодно, но только совсем не упоминала о муже. Оттилия тем более была поражена, когда, вернувшись домой, увидела, что стол накрыт лишь на двоих.

Нам неприятно испытывать лишение, даже когда оно касается ничтожных привычек, но оно мучительно, когда дело идет о чей-либо

существенной. Эдуарда и капитана и Шарлотта впервые после долгого перерыва сама распоряжилась насчет обеда, и Оттилии казалось, будто она отставлена от должности. Обе женщины сидели теперь друг против друга; Шарлотта с полной непринужденностью говорила о новой службе капитана и о том, как мало надежды вскоре опять увидеть его. Оттилию утешала только мысль, что Эдуард поехал с другом, чтобы немного проводить его.

Но, встав из-за стола, они увидели под окном дорожную карету Эдуарда, и когда Шарлотта не без досады спросила, кто велел подать ее сюда, ей ответили, что это сделал камердинер, которому еще требуется кое-что уложить. Оттилии понадобилось все ее самообладание, чтобы скрыть изумление и боль.

Вошел камердинер и попросил, чтобы ему выдали еще некоторые вещи: чашку Эдуарда, пару серебряных ложек и разное другое, что, как подумалось Оттилии, указывало на долгое путешествие, на длительное отсутствие. Шарлотта весьма сухо отказала ему в этой просьбе, заметив, что ей непонятно, чего он хочет, ибо все, что относится к его господину, и так находится в его ведении. Ловкий малый, которому, разумеется, надо было только поговорить с Оттилией и для этого под каким-нибудь предлогом выманить ее из комнаты, сумел найти отговорку и продолжал настаивать на своем требовании, которое Оттилия уже хотела исполнить; но Шарлотта не нашла это нужным, камердинеру пришлось удалиться, и карета уехала.

Для Оттилии это был ужасный миг. Она не могла понять, не могла объяснить себе, в чем дело, но что Эдуард надолго оторван от нее, она чувствовала. Шарлотта поняла состояние Оттилии и оставила ее одну. Мы не решимся изобразить скорбь девушки, ее слезы, — она бесконечно страдала. Она только молила бога, чтобы он помог ей пережить этот день; она его пережила, пережила ночь и, когда очнулась, уже показалась себе другим существом.

Она не владела собой, не смирилась; испытыв такую огромную потерю, она должна была опасаться еще худшего. Как только сна пришла в себя, она подумала о том, что теперь, после отъезда мужчин, и ее удалят отсюда. Она ничего не подозревала об угрозах Эдуарда, обеспечивающих ей пребывание вместе с Шарлоттой, но поведение Шарлотты несколько успокаивало ее. Шарлотта старалась занять бедную девушку, только изредка и неохотно отпускала ее от себя, и хоть она знала, что словами нельзя подействовать на сильную страсть, все же она понимала все значение рассудительности, сознания и поэтому о многом сама заводила речь с Оттилей.

Так для Оттилии большим утешением было, когда Шарлотта по какому-то случаю, с умыслом и расчетом, сделала мудрое замечание.

— Как горяча бывает, — сказала она, — признательность тех, кому мы спокойно помогаем преодолеть затруднения, вызванные страстью. Давай весело и бодро продолжать то, что наши мужчины оставили незавершенным; так мы лучше всего приготовимся к их возвращению, поддерживая и развивая своей умеренностью то, что их бурный, нетерпеливый нрав готов был разрушить.

— Раз уж вы, дорогая тетя, упомянули об умеренности, — ответила Оттилия, — то я не могу утаить, что мне при этом пришла на мысль неумеренность мужчин, особенно в отношении вина. Как часто я огорчалась и бывала испугана, когда мне случалось видеть, что рассудительность, ум, внимательность к окружающим, приветливость, даже любезность исчезали порой на целые часы, и хороший человек вместо радости и пользы, которую он может доставить другим, сеял смятение и беду. Как часто это может привести к опасным решениям!

Шарлотта согласилась с ней, но не продолжила этого разговора, ибо слишком ясно чувствовала, что Оттилия и тут думала только об Эдуарде, который, правда, не постоянно, но все же чаще, чем следовало, подстегивал вином свою радость, разговорчивость, энергию.

Если замечание Шарлотты навело Оттилию на мысль о возвращении мужчин, особенно же Эдуарда, то ее тем более поразило, что о предстоящей женитьбе капитана Шарлотта говорит как о деле решенном и всем известном, вследствие чего и все остальное должно было представиться ей теперь в совершенно ином свете, чем раньше со слов Эдуарда. Поэтому Оттилия стала особенно внимательна к каждому замечанию, каждому намеку, к каждому поступку Шарлотты. Сама того не зная, она сделалась хитра, проницательна, подозрительна.

Тем временем Шарлотта острым взглядом проникала во все подробности окружавшей ее обстановки и распоряжалась со своей привычной ясной легкостью, все время заставляя и Оттилию принимать участие в своих трудах. Она не побоялась упростить весь домашний уклад и теперь, все тщательно взвешивая, даже в случившемся странном увлечении видела как бы проявление благого промысла. Ведь идя по прежнему пути, они легко могли бы выйти из всяких границ и, сами того не заметив, нерасчетливым и расточительным образом жизни если не погубить, то расшатать свое состояние.

Работы, которые уже велись в парке, она не приостановила, даже велела продолжать то, что должно было лечь в основу будущих усовершенствований, но этим и ограничилась. Надо было, чтобы муж по возвращении нашел еще достаточно способов занимательно проводить время.

Среди этих работ и планов она не могла нахвалиться тем, что сделал архитектор. Прошло немного времени, и перед ее глазами уже расстигалось озеро в новых берегах, которые были украшены разнообразной растительностью и обложены дерном. Новый дом был закончен вчерне: то, что требовалось для поддержания его в сохранности, было сделано, а остальные работы она велела прервать, с тем чтобы потом к ним можно было с удовольствием приступить заново. При этом она была спокойна и весела. Оттилия же только казалась такой, потому что во всем окружающем она высматривала лишь признаки того, ожидается или не ожидается вскоре возвращение Эдуарда. Ничто не занимало ее, кроме этой мысли.

Вот почему ее обрадовало одно начинание, имевшее целью поддерживать постоянную чистоту в сильно расширившемся парке, для чего был собран целый отряд из крестьянских мальчиков. Подобная мысль возникла уже ранее у Эдуарда. Мальчикам сшили что-то вроде светлых мундирчиков, которые они надевали по вечерам, предварительно почистившись и помывшись. Гардероб находился в замке: ведать им было поручено самому толковому и исполнительному из мальчиков: всей же их работой руководил архитектор. Мальчики быстро приобрели известную сноровку, и работа их отчасти походила на маневры. Когда они появлялись с граблями, маленькими лопатами и мотыгами, скребками, ножами на длинных черенках и метелками, похожими на опахала, а вслед за ними шли другие с

корзинками, чтобы убрать сорную траву и камни, или волокли большую железную каток, то это действовало было милое и веселое зрелище; архитектор в это время зарисовал немало поз и движений, нужных для задуманного им фриза в садовом павильоне; Оттилия же видела во всем этом лишь парад, которым предстояло отметить возвращение хозяина.

В ней пробудилось желание, в свою очередь, что-нибудь приготовить для его встречи. Обитательницы замка уже и раньше старались приохотить деревенских девочек к шитью, вязанью, прядению и другим женским рукоделиям. Девочки стали очень усердны с тех пор, как были приняты меры к благоустройству и украшению деревни. Оттилия поощряла их своим участием, но лишь от случая к случаю, когда у нее была к тому охота. Теперь она решила заняться этим вплотную и более последовательно. Но из толпы девочек не так легко создать отряд, как из толпы мальчиков. Руководствуясь своим верным чутьем и даже не отдавая себе еще ясно отчета, Оттилия старалась внушить каждой девочке привязанность к ее дому, родителям, братьям и сестрам.

Со многими это ей удалось. Только на одну очень живую маленькую девочку то и дело слышались жалобы: она ничего не умела и не желала делать по дому. Оттилия не могла сердиться на нее, потому что с ней самой девочка была особенно ласкова. Она так и льнула к Оттилии и бегала за ней по пятам, когда ей это позволяли. Подле Оттилии ока была деятельна, бодра и неутомима. Привязанность к прекрасной госпоже, казалось, превратилась в потребность для этого ребенка. Сначала Оттилия лишь терпела постоянное присутствие девочки, потом сама привязалась к ей; наконец, они стали неразлучны, и Нанни повсюду сопровождала ее.

Оттилия часто бродила по саду и радовалась, что он в прекрасном состоянии. Пора ягод и вишен уже кончалась, но Нанни с удовольствием лакомилась и перезрелыми вишнями. Прочие же плоды, обещавшие к осени изобильный урожай, каждый раз давали садовнику повод вспомнить о хозяине и пожелать его возвращения. Оттилия любила слушать разговоры старика. Он был мастером своего дела и не переставал рассказывать ей об Эдуарде.

Когда Оттилия порадовалась, что все прививки, сделанные весной, так отлично принялись, садовник задумчиво заметил:

— Мне бы только хотелось, чтобы и наш добрый хозяин хорошенько порадовался на них. Если он будет здесь осенью, он увидит, какие превосходные сорта есть в старом замковом саду еще со времени его отца. Нынешние садоводы уже не то, что отцы-картезианцы. В каталогах сплошь красивые названия, а как вырастишь дерево и дождешься плодов, то оказывается, что его в саду и держать не стоило.

Но чаще всего, почти всякий раз при встрече с Оттилией, верный слуга спрашивал, когда ждут господина. Оттилия не могла назвать срока, и добрый старик не без скрытого огорчения давал ей понять, что она, видно, ему не доверяет. Оттилия мучилась своим неведением, о котором ей так упорно напоминали. Но расстаться с этими клумбами и грядками ока не могла. Все, что они с Эдуардом успели посеять и посадить, стояло теперь в полном цвету и уже не требовало никакого ухода, кроме разве поливки, которой Нанни всегда готова была заниматься. С какими чувствами смотрела Оттилия на поздние цветы, еще в бутонах, которые должны были во всем блеске и пышности распуститься ко дню рождения Эдуарда, — а она временами надеялась отпраздновать его с ним вместе, и тогда они явились бы знаком ее любви и благодарности. Но не всегда жила в ней надежда увидеть этот праздник. Сомнения и тревоги все время омрачали душу бедной девушки.

К подлинному искреннему согласию с Шарлоттой уже нельзя было вернуться. Ведь и в самом деле положение этих двух женщин было весьма различно. Если бы все осталось по-старому, если бы жизнь вновь вошла в обычную колею, Шарлотта стала бы еще счастливее в настоящем и ей к тому же еще открылись бы радостные виды на будущее; Оттилия же, напротив, потеряла бы все, — да, все, ибо в Эдуарде она впервые нашла жизнь и счастье, а в своем теперешнем состоянии ощущала только бесконечную пустоту, какой прежде не могла бы себе и представить. Сердце, которое ищет, чувствует, что ему чего-то недостает; сердце же, понесшее утрату, чувствует, чего оно лишилось. Тоска превращается в нетерпение, в досаду, и женская натура, привыкшая ожидать и пережидать, готова уже выступить из своего круга, стать деятельной, предприимчивой и пуститься на поиски своего счастья.

Оттилия не отказалась от Эдуарда. Да и разве могла бы она это сделать, хотя Шарлотта достаточно разумно и вопреки своему убеждению признавала и предсказывала, что между ее мужем и Оттилией будут возможны мирные, дружественные отношения. Но как часто Оттилия, запершись ночью у себя в комнате, стояла на коленях перед открытым сундучком и смотрела на подарки, полученные ко дню рождения, из которых она еще ничем не воспользовалась, ничего не скроила, ничего не сшила для себя. Как часто бедная девушка с утренной зарей спешила из дому, в котором прежде находила все свое блаженство, и убегала в поле, в окрестности, прежде ей столь безразличные. Но на суше ей не терпелось. Она прыгала в лодку, гребла на середину озера и там, вынув какое-нибудь описание путешествия и покачиваемая волнами, читала, уносила мечтами вдаль, где всегда встречалась со своим другом; она по-прежнему была близка его сердцу, и он был все так же близок ей.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Нетрудно себе представить, что деятельный чудака, с которым мы уже познакомились, Митлер, узнав о неблагополучии в доме наших друзей, хотя ни одна из сторон еще не призывала его на помощь, уже готов был доказать свою дружбу и проявить свое искусство. Но он все-таки счел за благо сперва немного обождать, ибо ему слишком хорошо было известно, что в делах нравственного порядка людям образованным труднее помочь, чем простым. Поэтому он на некоторое время предоставил их самим себе, но под конец не выдержал и поспешил разыскать Эдуарда, на след которого ему удалось напасть.

На пути ему встретилась прелестная долина, где среди приветливой зелени лугов и рошечно живой и многоводный ручей то бежал змейкой, то шумел по камням. По пологим скатам холмов тянулись плодоносные поля и нескончаемые фруктовые сады. Деревни были расположены не слишком близко одна от другой, вся местность дышала миром и тишиною, а отдельные уголки если и не были созданы для кисти художника, то как нельзя лучше подходили для жизни людей.

Наконец он заметил благоустроенный хутор с опрятным и скромным жилым домом, окруженным садами. Он решил, что здесь должно быть местопребывание Эдуарда, и не ошибся.

О нашем одиноком друге мы можем сказать только то, что в этой тиши он всецело предался своей страсти, строя разные планы, лелея

возможные надежды. Он не скрывал от себя, что хотел бы видеть здесь Оттилию, что хотел бы привести, заманить ее сюда; да и мало ли еще дозволенных и недозволенных мыслей роилось в его воображении. Его фантазия бросалась от одной возможности к другой. Если ему не суждено обладать ею здесь, обладать законно, то он передаст в ее собственность это имение. Пусть она живет здесь уединенно и независимо; пусть будет счастлива. «И даже, — говорил он себе, когда муки воображения вели его еще дальше, — пусть будет счастлива с другим».

Так протекали его дни в вечном чередовании надежды и скорби, слез и веселости, намерений, приготовлений и отчаяния. Появление Митлера не удивило его. Он давно ожидал его приезда и отчасти даже обрадовался ему. Если его прислала Шарлотта, то ведь он уже подготовился ко всякого рода оправданиям, отговоркам, а там — и к более решительным предложениям; если же была надежда услышать от него что-нибудь об Оттилии, то Митлер был ему люб, как посланник небес.

Вот почему Эдуард был огорчен и раздосадован, когда узнал, что Митлер приехал не от них, а по собственному почину. Сердце его замкнулось, и разговор вначале не вязался. Но Митлер слишком хорошо знал, что душа, поглощенная любовью, испытывает настойчивую потребность высказаться, излить перед другом все происходящее в ней, и поэтому, поговорив немного о том, о сем, решил на этот раз выйти из своей роли и из посредника обратиться в наперсника.

Когда он дружески упрекнул Эдуарда за его отшельническую жизнь, тот отвечал:

— О, я, право, не знаю, как бы я мог отраднее проводить время! Я всегда занят ею, всегда вблизи от нее. Я обладаю тем неоценимым преимуществом, что в любую минуту могу вообразить себе, где сейчас Оттилия, куда она идет, где стоит, где отдыхает. Я вижу ее за привычными занятиями и хлопотами, вижу, что она делает и что собирается делать, — правда, это обычно то, что мне всего приятнее. Но это не все, ибо как же я могу быть счастлив вдали от нее! И вот моя фантазия начинает работать, стараясь узнать, что следовало бы делать Оттилии, чтобы приблизиться ко мне. Я пишу себе от ее имени нежные, доверчивые письма; я отвечаю ей и храню вместе все эти листки. Я обещал не предпринимать ни единого шага в ее сторону и сдержу свое слово. Но что же удерживает ее, почему она сама не обратится ко мне? Неужели Шарлотта имела жестокость потребовать от нее обещания и клятвы, что она не напишет мне, не подаст о себе вести? Это естественно, это вероятно, и все же я это нахожу неслыханным, нестерпимым. Если она меня любит, — а я в это верю, я это знаю, — почему она не решится, почему она не осмелится бежать и броситься в мои объятия? Порой мне думается, что так, именно так она могла и должна была бы поступить. При всяком шорохе в передней я смотрю на дверь. Я думаю, я надеюсь: «Вот она войдет!» Ах! Ведь возможное невозможно, а я уже воображаю себе, как невозможное стало возможным. Ночью, когда я просыпаюсь и ночник отбрасывает в спальне неверный свет, ее образ, ее дух, какое-то предчувствие ее близости проносится надо мной, ко мне приближается, на миг дотрагивается до меня, — о, только бы мне увериться в том, что она думает обо мне, что она моя!

Одна отрада осталась мне. Когда я был подле нее, я никогда не видел ее во сне; теперь же, вдали друг от друга, мы во сне бываем вместе, и — удивительное дело! — образ ее стал мне являться во сне с тех пор, как здесь по соседству я познакомился с несколькими милыми людьми, — как будто она хочет мне сказать: «Сколько ни гляди во все стороны, никого прекраснее и милее, чем я, ты не найдешь!» И так она присутствует в каждом моем сне. Все, что пережито вместе с ней, перемешивается и переплетается. Вот мы подписываем контракт; ее рука в моей руке, ее подпись рядом с моей — они закрывают одна другую, сливаются в единое целое. Порой эта утомительная игра фантазии заставляет меня страдать. Порой Оттилия во сне поступает так, что это оскорбляет чистоту моего идеального представления о ней; тогда я по-настоящему чувствую, как я ее люблю, ибо мне становится несказанно тревожно. Порой она меня дразнит, что совсем несвойственно ей, мучает меня; но тотчас же меняется и весь ее облик, ее круглое ангельское личико удлиняется, это уже не она, а другая. И все-таки я измучен, встревожен, потрясен.

Не смейтесь, любезный Митлер, или смейтесь, если вам угодно! О, я не стыжусь этой привязанности, этой, если хотите, безрассудной, неистовой страсти. Нет, я еще никогда не любил; только теперь я узнал, что значит любить. До сих пор все в моей жизни было лишь прологом, лишь промедлением, лишь времяпровождением, лишь потерей времени, пока я не узнал ее, пока не полюбил ее, полюбил всецело и по-настоящему. Меня, бывало, упрекали, правда, не в лицо, а за глаза, будто я все делаю бестолково, спустя рукава. Пусть так, но я тогда еще не нашел того, в чем могу показать себя подлинным мастером. Желал бы я видеть теперь, кто превосходит меня в искусстве любви.

Конечно, это искусство — скорбное, преисполненное страданий и слез; но оно для меня так естественно, я так сроднился с ним, что вряд ли когда от него откажусь...

Эти живые излияния облегчили душу Эдуарда, но вместе с тем его необычайное состояние вплоть до мельчайшей черты представилось ему столь отчетливо, что он, не выдержав мучительных противоречий, разразился потоком слез, которые текли все обильнее, ибо сердце его смягчилось, открывшись другу.

Митлер, которому тем труднее было подавить свой природный пыл, беспощадную силу своего рассуждения, что этот мучительный взрыв страсти со стороны Эдуарда заставлял его сильнее отклониться от цели своего путешествия, прямо и резко высказал свое неодобрение. Эдуард, по его мнению, должен был взять себя в руки, должен был подумать о своем достоинстве мужчины, должен был вспомнить, что к величайшей чести человека служит способность сохранять твердость в несчастье, стойко и мужественно переносить горе, — способность, за которую мы ценим и уважаем людей и ставим их в образец другим.

Эдуарду, которого одолевали мучительнейшие чувства, слова эти не могли не показаться пустыми и ничтожными.

— Хорошо говорить человеку, когда он счастлив и благополучен, — прервал он речь Митлера, — но он постыдился бы своих слез, если бы понял, как они невыносимы для того, кто страдает. Самодовольный счастливцев требует от других беспредельного терпения, беспредельного же страдания он не признает. Есть случаи — да, да, такие случаи есть! — когда всякое утешение — низость, а отчаяние — наш долг. Ведь не гнушался же благородный грек, умевший изображать героев, показывать их в слезах, под мучительным гнетом скорби. Ему принадлежит изречение: «Кто богат слезами — тот добр». Прочь от меня тот, у кого сухое сердце, сухие глаза! Проклинаю счастливцев, для которых несчастный только занимательное зрелище. Под жестоким гнетом физических и нравственных невзгод он еще должен принимать благородную осанку, чтобы заслужить их одобрение, и, подобно гладиатору, благопристойно погибать на их глазах,

чтобы они перед его смертью еще наградили его аплодисментами. Я благодарен вам, любезный Митлер, за ваш приезд, но вы бы сделали мне великое одолжение, если бы пошли прогуляться по саду или по окрестностям. Мы потом с вами встретимся. Я постараюсь успокоиться и стать более похожим на вас.

Митлер решил пойти на уступки, лишь бы не оборвать разговор, который ему не так легко было бы завязать вновь. Да и Эдуард был весьма склонен продолжать беседу, которая вела его к цели.

— Конечно, — сказал Эдуард, — проку от этих суждений и рассуждений, споров и разговоров очень мало; но благодаря нашей беседе я впервые осознал, впервые по-настоящему почувствовал, на что я должен решаться, на что я решился. Я вижу перед собой мою настоящую и мою будущую жизнь; выбирать мне приходится лишь между несчастьем и блаженством. Устройте, дорогой мой, развод, который так необходим, который уже и совершился; добейтесь согласия Шарлотты. Не буду распространяться, почему, мне кажется, его удастся получить. Поезжайте туда, дорогой мой, успокойте нас всех и всех нас сделайте счастливыми!

Митлер был озадачен. Эдуард продолжал:

— Моя судьба неотделима от судьбы Оттилии, и мы не погибнем. Взгляните на этот бокал! На кем вырезан наш вензель. В минуту радости и ликования он был брошен в воздух: никто уже не должен был пить из него; ему предстояло разбиться о каменистую землю, но его подхватили на лету. Я выкупил его за дорогую цену и теперь каждый день пью из него, чтобы каждый день убеждать себя в нерасторжимости связей, созданных судьбой.

— О, горе мне, — воскликнул Митлер. — Какое нужно терпение, чтобы иметь дело с моими друзьями! А тут я еще сталкиваюсь с суеверием, которое ненавижу как величайшее зло. Мы играем предсказаниями, предчувствиями, снами и этим придаем значительность будничной жизни. Но когда жизнь сама становится значительной, когда все вокруг нас волнуется и бурлит, такие призраки делают грозу еще более ужасной.

— О! — воскликнул Эдуард. — Среди этой сумятицы, среди этих надежд и страхов оставьте бедному сердцу хоть нечто вроде путеводной звезды, на которую оно могло бы хоть издали смотреть, если ему не суждено руководиться ею.

— Я бы не возражал, — сказал Митлер, — если бы в этом можно было ожидать хоть некоторой последовательности; но я постоянно замечал, что ни один человек не смотрит на предостерегающие знаки и все свое внимание и веру отдает тем, которые ему льстят или его обнадеживают.

Видя, что разговор заводит его в темные области, где он всегда чувствовал себя тем более не по себе, чем дольше в них задерживался, Митлер несколько охотнее согласился исполнить желание Эдуарда, который просил его поехать к Шарлотте. Да и стоило ли вообще возражать Эдуарду в такую минуту? Выиграть время, узнать, в каком состоянии обе женщины, — вот что, по его мнению, только и оставалось делать.

Он поспешил к Шарлотте и нашел ее, как всегда, в спокойном и ясном расположении духа. Она охотно рассказала ему обо всем случившемся, а ведь со слов Эдуарда он мог судить только о последствиях событий. Он осторожно приступил к делу, но не мог пересилить себя и даже мимоходом произнести слово «развод». Поэтому как он был удивлен, изумлен и — со своей точки зрения — обрадован, когда Шарлотта, после стольких неутешительных известий, сказала наконец:

— Я должна верить, должна надеяться, что все снова устроится и Эдуард вернется. Да и как бы могло быть иначе, когда я в радостном ожидании?

— Правильно ли я вас понял? — спросил Митлер.

— Вполне, — ответила Шарлотта.

— Тысячу крат благословляю я эту весть! — воскликнул он, всплеснув руками. — Я знаю, как властно действует подобный довод на мужское сердце. Сколько браков были этим ускорены, упрочены, восстановлены! Сильнее, чем тысячи слов, действует эта благая надежда, и вправду самая благая из всех, какие только возможны для нас. Однако же, — продолжал он, — что касается меня, то я имел бы все основания досадовать. В этом случае, как я уже вижу, ничто не льстит моему самолюбию. У вас я не могу рассчитывать на благодарность. Я сам напоминаю себе одного врача, моего приятеля, который всегда добивался успеха, когда за Христа ради лечил бедняков, но которому редко удавалось вылечить богача, готового дорого заплатить за это. К счастью, здесь дело улаживается само собой; а не то все мои старания и увещания все равно остались бы бесплодными.

Теперь Шарлотта начала настаивать, чтобы он отвез Эдуарду эту весть, взялся передать от нее письмо и сам решил, что должно делать, что предпринять. Но он не соглашался.

— Все уже сделано! — воскликнул он. — Пишите письмо! Всякий, кого бы вы ни послали, справится с делом не хуже меня. Я же должен направить свои стопы туда, где во мне нуждаются больше. Приеду я теперь только на крестины, чтобы пожелать вам счастья.

Шарлотта, как не раз случалось уже и раньше, осталась недовольна Митлером. Порывистость его нрава часто приводила к удаче, но его чрезмерная торопливость нередко портила все дело. Никто так легко не поддавался влиянию внезапно возникшего предвзятого мнения.

Посланец Шарлотты прибыл к Эдуарду, который почти испугался, увидев его. Письмо могло заключать в себе и «да» и «нет». Он долго не решался его распечатать, и как же он был поражен, когда прочитал; он окаменел, дойдя до следующих заключительных строк:

«Вспомни ту ночь, когда ты посетил свою жену, как любовник, ищущий приключений, в неудержимом порыве привлек ее к себе, как возлюбленную, как невесту, заключил в свои объятия. Почтим же в этой удивительной случайности небесный промысел, пожелавший скрепить новыми узами наши отношения в такую минуту, когда счастье всей нашей жизни грозило распасться и исчезнуть».

Трудно было бы описать, что с этой минуты происходило в душе Эдуарда. В подобном душевном смятении в конце концов дают о себе знать старые привычки, старые склонности, помогающие убить время и заполнить жизнь. Охота и война — вот выход, всегда готовый для дворянина. Эдуард жаждал внешней опасности, чтобы уравновесить внутреннюю. Он жаждал гибели, ибо жизнь грозила стать ему невыносимой; его преследовала мысль, что, перестав существовать, он оставит счастье своей любимой, своих друзей. Никто не препятствовал его желаниям, ибо он держал в тайне свое решение. Он по всей форме написал духовное завещание; ему сладостна была возможность завещать Оттилии имение. Позаботился он также о Шарлотте, о не родившемся еще ребенке, о капитане, о своих слугах. Снова вспыхнувшая война благоприятствовала его намерениям. Посредственные военачальники доставили ему в молодости немало неприятностей, потому он и покинул службу; теперь же он испытывал восторженное чувство, выступая в поход с полководцем, о котором мог сказать, что под его водительством смерть вероятна, а победа несомненна.

Оттилия, когда и ей стала известна тайна Шарлотты, была поражена так же, как и Эдуард, даже более, и вся ушла в себя. Ей уже нечего было сказать. Надеяться она не могла, а желать не смела. Заглянуть в ее душу нам, однако, позволяет ее дневник, из которого мы собираемся привести кое-какие выдержки.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

В повседневной жизни нам часто встречается то, что в эпическом произведении мы хвалим как художественный прием. Стоит только главным персонажам скрыться, сойти со сцены, предаться бездействию, и пустующее место тотчас же заполняет второе или третье, до сих пор почти неприметное лицо, которое, по мере развития своей деятельности, начинает представляться нам достойным внимания, сочувствия и даже одобрения и похвалы.

Так после отъезда капитана и Эдуарда все большую роль стал играть тот самый архитектор, который ведал планом и выполнением всех работ, показывая себя при этом человеком точным, рассудительным и деятельным; к тому же за это время он сумел стать полезным для наших дам и научился развлекать их беседой в течение долгих, ничем не занятых часов. Уже самая его наружность внушала доверие и вызывала симпатию. Он был юноша в полном смысле этого слова, прекрасно сложенный, стройный, роста скорее высокого, скромный, но без всякой робости, общительный, но без навязчивости. Он с радостью брался за всякое дело и поручение, а так как он все хорошо умел рассчитать, то вскоре в укладе дома для него не оставалось секретов; его благотворное влияние распространялось повсюду. Ему обычно поручалось встречать незнакомых посетителей, и он умел либо вовсе отделаться от нежданных гостей, либо так подготовить женщин к их приему, что из этого не возникало для них никаких неудобств.

Между прочим, немало хлопот доставил ему однажды молодой юрист, присланный одним соседом-помещиком для переговоров о деле, не особенно важном, но сильно взволновавшем Шарлотту. Мы должны упомянуть о том случае, ибо он дал толчок многому такому, что иначе долго оставалось бы без движения.

Мы помним о тех переменах, которые Шарлотта произвела на кладбище. Все надгробные памятники были сняты с мест и расставлены вдоль ограды или цоколя церкви. Остальное пространство выровняли и все, за исключением широкой дороги, которая вела к церкви и мимо нее к калитке на противоположном конце кладбища, засеяли разными сортами клевера, который теперь красиво цвел и зеленел. Новые могилы положено было рыть в определенном порядке, начиная от края кладбища, но тоже сравнивать с землей и засеивать. Никто не мог отрицать, что теперь для всякого, приходившего в церковь по воскресеньям и другим праздникам, кладбище являло светлую и достойную картину. Даже престарелый священник, приверженный ко всему давнему и вначале не особенно довольный таким устройством, теперь радовался ему, когда, точно Филемон со своей Бавкидой, он сидел под старыми липами у задней калитки дома и вместо могильных бугров созерцал перед собой красивый цветистый ковер, который к тому же приносил кое-какую выгоду его хозяйству, ибо Шарлотта закрепила за причтом право пользования этим маленьким участком.

Тем не менее кое-кто из прихожан уже и раньше выражал недовольство, что снято обозначение мест, где покоились их предки, и тем самым как бы стерто и воспоминание о них: надгробные памятники, хоть и оставшиеся в полной сохранности, указывали только, кто, а не где похоронен, а это «где», по мнению многих, и было самым глазным.

Такого именно мнения придерживалось одно жившее по соседству семейство, которое уже несколько лет тому назад приобрело для себя и для своих близких место на этом кладбище с условием вносить в пользу церкви определенную сумму денег ежемесячно. И вот молодой юрист был прислан с тем, чтобы взять назад это обязательство и объявить, что платежи впредь будут прекращены, ибо условие, по которому они до сих пор производились, нарушено одной из сторон, а все возражения и протесты оставлены без внимания. Шарлотта, виновница этих нововведений, сама пожелала говорить с молодым человеком, который хотя и с жаром, но с должной скромностью изложил доводы свои и своего патрона и заставил своих слушателей призадуматься.

— Вы видите, — сказал он после короткого вступления, оправдывавшего его настойчивость, — что последний бедняк, так же как и самый знатный человек, дорожит возможностью обозначить то место, где покоятся его близкие. Даже самый бедный крестьянин, похоронивший своего ребенка, находит утешение в том, что ставит на могиле легкий деревянный крест и украшает его венком, сохраняя память о мертвом, по крайней мере, до тех пор, пока живо горе, хотя время уничтожит и этот памятник, и самую скорбь. Люди зажиточные вместо таких крестов водружают железные, укрепляют и ограждают их различными способами, — в этом уже залог прочности на многие годы. Но в конце концов эти кресты тоже падают и разрушаются, и потому люди богатые почитают своим долгом воздвигнуть каменный памятник, который переживет несколько поколений и может быть обновлен потомками. Однако притягивает нас не этот камень, а то, что лежит под ним, то, что вверено земле. Дело не столько в памяти, сколько в самой личности, не в воспоминании о прошлом, а в том, что существует сейчас. Близость с дорогим покойником я больше и глубже чувствую у могильного холма, чем в соседстве с памятником, который сам по себе мало что значит, тогда как вокруг обозначенной им могилы долго еще будут собираться супруги, родственники, друзья, и живущий должен сохранить за собой право отстранять и удалять посторонних и недоброжелателей от места упокоения близких ему людей.

Вот почему я и считаю, что мой патрон имеет полное право взять назад свое обязательство, и при этом он довольствуется еще очень

малым, ибо члены его семьи понесли утрату, которую ничем нельзя возместить. Они теперь лишены скорбной отрады поминать дорогих умерших на их могилах, лишены утешающей надежды со временем покоиться рядом с ними.

— Дело это, — возразила Шарлотта, — не такое, чтобы из-за него затевать тяжбу. Я нимало не раскаиваюсь в сделанном и охотно возьму церкви убытки, которые она понесла. Но, признаюсь откровенно, ваши доводы не убедили меня. Чистое сознание всеобщего равенства, которое ждет нас всех хотя бы после смерти, представляется мне более успокоительным, нежели это упорное и упрямое стремление продлить существование пашей личности, наших привязанностей и жизненных отношений. А вы что на это скажете? — обратилась она с вопросом к архитектору.

— Мне бы не хотелось, — ответил он, — ни вступать по такому поводу в спор, ни быть судьей. Позвольте мне просто высказать суждение, ближе всего отвечающее моему искусству, моему образу мыслей. С тех пор как мы лишены счастья прижимать к своей груди заключенный в урну прах любимого существа и недостаточно богаты и настойчивы для того, чтобы хранить его невредимым в больших разукрашенных саркофагах, раз мы даже в церквах уже не находим места для себя и для наших близких и должны лежать под открытым небом, — то все мы имеем основание одобрить порядок, введенный вами, сударыня. Когда члены одного прихода лежат рядами друг подле друга, то покоятся они подле своих и среди своих, а так как земля примет когда-нибудь в свое лоно всех нас, то, по-моему, ничто не может быть более естественным и чистоплотным, как сровнять, не мешкая, случайно возникшие и постепенно оседающие холмы и таким образом сделать покров, лежащий на всех покойниках, более легким для каждого из них.

— И все должно исчезнуть так, без единого памятного знака, без чего-нибудь, что могло бы пробудить воспоминания? — спросила Оттилия.

— Отнюдь нет! — продолжал архитектор. — Отрешиться нужно не от воспоминаний, а только от места. Зодчий и скульптор в высшей степени заинтересованы в том, чтобы от них, от их искусства, от их рук человек ждал продолжения своего бытия, и поэтому мне хотелось бы, чтобы хорошо задуманные и хорошо исполненные памятники не были рассеяны случайно и поодиночке, а были собраны в таком месте, где бы им предстояло долгое существование. Раз даже благочестивые и высокопоставленные люди отказываются от привилегии покоиться в церкви, то следовало бы, по крайней мере, в ее стенах или в красивых залах, выстроенных вокруг кладбищ, собирать памятники и памятные надписи. Существуют тысячи форм, которые можно было бы применить для них, тысячи орнаментов, которыми их можно было бы украсить.

— Если художники так богаты, — спросила Оттилия, — то почему же, объясните мне, они никогда не могут выбраться из обычных форм какого-нибудь жалкого обелиска, обломленной колонны или урны? Вместо тысячи изображений, которыми вы хвалитесь, я видела всего тысячи повторений.

— У нас это действительно так, — ответил ей архитектор, — однако не везде. И вообще не простое это дело — что-либо изобрести и подобающим образом применить. Особенно же трудно мрачному предмету сообщить более радостную окраску и не нагнать уныния при изображении унылого. Что до памятников всякого рода, то у меня собрано множество эскизов, и я при случае покажу их вам, но все же самый прекрасным памятником человеку всегда останется его собственное изображение. Оно более, чем что бы то ни было другое, дает понятие о том, чем он был; это — наилучший текст к мелодии, протяжной или короткой; только оно должно быть сделано в лучшую пору жизни человека, но это-то время обычно и упускают. Никто не думает о том, чтобы сохранить живые формы, а если это и делается, то делается несовершенно. Вот с умершего торопятся снять маску, слепок насаживают на постамент, и это называется бюстом. Но как редко художник бывает в силах придать ему жизненность!

— Вы, — заметила Шарлотта, — сами, может быть, того не зная и не ставя себе этой цели, направили весь разговор в сторону, желательную для меня. Ведь изображение человека — независимо; всюду, где бы оно ни стояло, оно стоит ради: самого себя, и мы не станем от него требовать, чтобы оно служило знаком, указывающим место погребения. Но признаться ли вам, какое странное чувство владеет мною? У меня какое-то отвращение даже к портретам; мне всегда кажется, что они взирают на нас с безмолвным укором; они говорят о чем-то далеком, отошедшем и напоминают о том, как трудно чтить настоящее. Когда подумаешь, сколько людей мы перевидали на своем веку, и признаешься себе, как мало мы значили для них, а они — для нас, каково тогда становится на душе! Мы встречаемся с человеком остроумным — и не беседуем с ним, с ученым — и ничему не научаемся от него, с путешественником — и ничего от него не узнаем, с человеком любвеобильным — и не делаем для него ничего приятного.

И ведь это не только при мимолетных встречах. Семьи и целые общества ведут себя так с самыми дорогими своими сочленами, города — с достойнейшими своими жителями, народы — с лучшими своими монархами, нации — с замечательнейшими личностями.

При мне однажды спросили: почему о покойниках хорошее говорят с такой легкостью, а о живых — всегда с некоторой оглядкой? В ответ было сказано: потому, что, во-первых, нам нечего опасаться, а с живыми мы еще так или иначе можем столкнуться. Вот как мало чистоты в заботе о памяти других; по большей части это лишь эгоистическая игра, а между тем каким важным и священным делом было бы поддержание деятельной связи с живыми!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день, еще под впечатлением этого случая и связанных с ним разговоров, решено было отправиться на кладбище; архитектор предложил несколько удачных идей, имевших целью украсить его и придать ему более приветливый вид. Заботы его, однако, простирались и на церковь — здание, которое с самого же начала привлекло к себе его внимание.

Уже несколько столетий стояла эта церковь, построенная в немецком духе и вкусе, в строгих пропорциях и с превосходной отделкой. Можно было предполагать, что зодчий, строивший соседний монастырь, показал свое искусство и на этом маленьком здании, отнесясь к нему вдумчиво и с любовью, и оно по-прежнему производило на зрителя впечатление строгое и приятное, хотя его новое внутреннее убранство, рассчитанное на протестантское богослужение, отчасти и лишило храм его былой спокойной величавости.

Архитектору нетрудно было испросить у Шарлотты небольшую сумму, чтобы снаружи и внутри восстановить церковь в старинном вкусе и

и потому ее в полную гармонию с простиравшимся перед нею кладбищем. Он и сам считался искусным мастером, а несколько рабочих, которые еще трудились на постройке дома, Шарлотта согласилась оставить до тех пор, покуда это благочестивое начинание не будет завершено.

И вот теперь, когда здание церкви со всеми прилегающими строениями и пристройками было подробно обследовано, к величайшему изумлению и удовлетворению архитектора, обнаружился небольшой, до сих пор не обращавший на себя внимание боковой придел, замечательный своими пропорциями, еще более оригинальными и легкими, своей орнаментовкой, еще более затейливой и тщательной. К тому же здесь сохранились остатки резьбы и живописи, составлявшие принадлежность старой веры, которая для каждого праздника располагала особыми изображениями и утварью и каждый из них отмечала на свой лад.

Архитектор не преминул включить в свой план и этот тесный придел, решив восстановить его как памятник былых времен и вкусов. Ему уже представлялось, как он украсит голые поверхности стен, и радовался возможности приложить здесь свой талант живописца, но от Шарлотты и Оттилии пока что держал это в секрете.

Согласно своему обещанию, он при первом же случае показал им зарисовки и эскизы старинных надгробных памятников, сосудов и других подобных вещей, а когда разговор коснулся простых могильных холмов северных народов, он извлек для обозрения свою коллекцию найденных в них оружия и утвари. Все это у него было весьма аккуратно и удобно разложено по ящикам и укреплено на врезанных в стену, обитых сукном досках, так что и эти строгие старинные предметы приобретали известную нарядность, и смотреть на них было так же приятно, как и на вещицы, выставленные в модной лавке. Уединенная жизнь требовала развлечения, и архитектор, начав показывать свою коллекцию, теперь уже каждый вечер приносил еще какую-нибудь часть своих сокровищ. Почти все эти брактеады, старые монеты, печати и прочее были германского происхождения. Они заставляли фантазию обращаться к далекой старине; а он, чтобы оживить свои объяснения, извлек еще и первопечатные издания, древнейшие гравюры на дереве и меди. В то же время и церковь, благодаря окраске и орнаментовке, проникнутой тем же старинным духом, как бы все более и более вращалась в прошлое, так что под конец они уже невольно задавались вопросом, в самом ли деле они живут в новые времена и не сон ли все вокруг — все эти совершенно новые нравы, обычаи, уклад жизни и убеждения.

Поскольку почва была соответственно подготовлена, то большая папка, которую он показал в последнюю очередь, произвела наилучшее впечатление. Правда, она по большей части заключала в себе лишь контуры фигур, но, будучи скалькированы с картин мастеров, они полностью сохранили их старинный характер. И как же он очаровал зрителей! Все образы светились истинной жизнью и отличались если не благородством, то благостью. Все лица, все позы выражали ясную сосредоточенность, добровольное признание чего-то, стоящего превыше нас, тихое смирение любви и ожидания. Старец с лысой головой, кудрявый мальчик, бодрый юноша, строгий муж, просветленный подвижник, парящий ангел — все, казалось, вкушали блаженство в невинной радости, в благочестивом чаянии. На событие самое обыденное падал отблеск небесной жизни, и каждое из этих существ словно было создано для священнодействия.

На подобный мир большинство людей взирает, как на безвозвратно исчезнувший золотой век, как на потерянный рай. И только Оттилия могла бы чувствовать себя здесь среди себе подобных.

Как же можно было не согласиться на предложение архитектора, пожелавшего расписать своды придела по этим образцам и тем самым оставить по себе прочную память в месте, где ему так хорошо жилось? Заговорил он об этом с оттенком грусти, ибо по всему не мог не сознавать, что его пребывание в этом очаровательном обществе не будет продолжаться вечно и, напротив, по всей вероятности, скоро окончится.

Эти дни, не богатые происшествиями, были заполнены серьезными беседами. Вот почему мы и пользуемся случаем привести кое-что из записей в дневнике Оттилии, касающихся этих разговоров, и не можем найти более уместного перехода к ним, чем следующее сравнение, пришедшее нам на ум, когда мы читали ее милые листки.

Нам довелось слышать, что в английском морском ведомстве существует такое правило: все снасти королевского флота, от самого толстого каната до тончайшей веревки, сучатся так, чтобы через них, во всю длину, проходила красная нить, которую нельзя выдернуть иначе, как распустив все остальное, и даже по самому маленькому обрывку веревки можно узнать, что она принадлежит английской короне.

Точно так же и через весь дневник Оттилии тянется красная нить симпатии и привязанности, все сочетающая воедино и знаменательная для целого. Нижеследующие замечания, размышления, отдельные изречения и все, что встречается нам здесь, оказывается благодаря этому необыкновенно характерным для писавшей и приобретает для нас особую значимость. Даже и в отдельности каждый из отрывков, выбранных и приведенных нами, служит тому несомненным свидетельством.

## ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ

Покоиться некогда подле тех, кого любишь, — отраднейшая из надежд, какую может питать человек, когда мысль уносит его за пределы жизни. «Воссоединиться с близкими своими» — какая задушевность в этих словах.

Много есть памятников и знаков, которые приближают к нам отсутствующих и отошедших. Но ни один из них не сравнится с портретом. В беседе с портретом любимого человека, даже и не похожим, есть некое очарование, как есть очарование порой и в споре с другом. Сладостно бывает сознавать, что даже в разногласии мы неразъединимы.

Порою с живым человеком беседуешь как с портретом. Он может с нами не говорить, на нас не смотреть, не обращать на нас внимания; мы смотрим на него, мы чувствуем нашу связь с ним, и эта связь может даже крепнуть, а он для этого ничего не сделает, этого и не почувствует, будет держать себя с нами, как портрет.

Портретом человека знакомого никогда не бываешь доволен. Мне поэтому всегда жаль портретистов. От людей так редко требуют невозможного, а от портретистов — всегда. Изображая любое лицо, они обязаны перенести на портрет его отношение к окружающим,



его симпатии; они обязаны не только показать, каким они представляют себе человека, но также и то, каким его представил бы себе всякий другой. Меня не удивляет, когда такие художники постепенно озлобляются, становятся упрямы и ко всему равнодушны. Пусть так, но ведь именно из-за этого мы столь часто бываем лишены изображения милых и дорогих для нас людей.

Собранная архитектором коллекция оружия и древней утвари, лежавшей вместе с телом умершего в земле под могильным холмом и обломками скал, конечно, доказывает нам, как бесплодны старания человека оградить свою личность после смерти. И сколько противоречий в нас самих! Архитектор говорит, что он сам разрывал могильные холмы предков, и все же его по-прежнему занимают памятники для потомства.

К чему, однако, судить так строго? Разве все, что мы делаем, рассчитано на вечность? Не одеваемся ли мы утром для того, чтобы вечером раздеться? Не уезжаем ли для того, чтобы снова вернуться? И почему бы нам не желать покоиться подле наших близких хотя бы в течение одного столетия!

Когда видишь все эти ушедшие в землю, затоптанные богомольцами могильные плиты и даже церкви, обвалившиеся над гробницами, то жизнь после смерти представляется как бы второй жизнью, в которую мы вступаем, став изваянием или надгробной надписью, и в которой мы пребываем дольше, чем в настоящей человеческой жизни. Но и это изваяние, это второе бытие рано или поздно угаснет. Время помнит о своих правах не только над людьми, но и над памятниками.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Заниматься делом, знакомым лишь наполовину, так приятно, что не следовало бы бранить дилетанта, увлеченного искусством, которым он никогда не овладеет, или порицать художника, которому пришла охота переступить за пределы своего искусства в соседнюю область.

Такого снисходительного взгляда мы будем придерживаться, наблюдая за приготовлениями архитектора к росписи придела. Краски уже составлены, мерки сняты, эскизы закончены: от всяких притязаний на новизну он отказался; он придерживается своих контуров; вся его забота — получше распределить сидящие и парящие фигуры и искусно украсить ими поверхность стен.

Леса были поставлены, работа подвигалась вперед, а так как кое-что, достойное внимания, уже было выполнено, то он ничего не имел против посещения Шарлотты и Оттилии. Живые лики ангелов, их одеяния, развевающиеся на фоне голубого неба, радовали глаз; тихая кротость этих образов призывала душу сосредоточиться и оставляла впечатление необычайной нежности.

Женщины поднялись к нему на помост, и не успела Оттилия выказать свое удивление тем, что работа идет так размеренно, легко и спокойно, как в ней сразу пробудилось то, что было ею приобретено в годы учения; она схватила кисть, краски и, слушаясь указаний архитектора, четко и умело выписала одно из одеяний со всеми его складками.

Шарлотта, которая всегда была рада, если Оттилию что-нибудь займет и развлечет, не стала мешать и ушла, чтобы предаться своим мыслям и в одиночестве взвесить соображения и сомнения, которыми она ни с кем не могла поделиться.

Если люди заурядные, от будничных неурядиц впадающие в малодушное и лихорадочное смятение, вызывают у нас улыбку невольной жалости, то мы, напротив, с глубоким уважением смотрим на существо, в чью душу пали семена великой судьбы, но которое вынуждено ждать их всхода, не смея и не имея возможности ускорить развитие того добра или зла, счастья или горя, что должно возникнуть из них.

Эдуард через гонца, посланного Шарлоттой в его уединение, ответил ей ласково и участливо, но в тоне скорее сдержанном и серьезном, нежели откровенном и любовном. Вскоре затем он исчез, и супруга его не могла добиться никаких вестей о нем, пока случайно не встретила его имени в газете, где он был упомянут в числе тех, кто отличился в одном сражении. Теперь ей стало известно, какой путь он избрал; она узнала, что он остался невредим среди больших опасностей, но вместе с тем убедилась, что он будет искать опасностей еще больших, и могла тем самым с полной ясностью заключить, что его в любом смысле трудно будет удержать от крайних решений. Она так и жила с этой неотступной заботой, тая ее про себя, и сколько она ни раздумывала о разных возможностях, ни одна из них не могла ее успокоить.

Между тем Оттилия, ничего не зная обо всем этом, чрезвычайно пристрастилась к своей работе и с легкостью получила от Шарлотты разрешение заниматься ею каждый день. Дело теперь быстро пошло вперед, и лазурный небосвод был вскоре населен достойными обитателями. Благодаря постоянному упражнению, Оттилия и архитектор, когда писали последние фигуры, достигли еще большей свободы исполнения; они заметно совершенствовались. В ликах же, которые архитектор писал один, стала постепенно обнаруживаться одна весьма своеобразная особенность: все они качали походить на Оттилию. На душу молодого человека, который еще не избрал себе образцом какое-либо лицо, виденное в жизни или на картине, близость красивой девушки должна была произвести впечатление столь сильное, что глаза и рука его трудились в полном согласии. Как бы то ни было, а один из ликов, написанных напоследок, удался в совершенстве, и казалось, что сама Оттилия смотрит вниз с небесной высоты.

Свод был готов; стены же решено было оставить без росписи и лишь покрыть светло-коричневой краской, чтобы лучше выделялись легкие колонны и искусные лепные украшения более темного цвета. Но одна мысль всегда порождает другую, и у них возникло еще и желание сплести гирлянду из цветов и плодов, которая должна была связать как бы воедино небо и землю. Тут Оттилия почувствовала себя совершенно в своей сфере. Сады являли ей прекраснейшие образцы, и, хотя в каждый из венков вложено было много труда, они завершили работу раньше, чем предполагалось.

Все в целом, однако, имело вид беспорядочный и незаконченный. Помосты были сдвинуты как попало, доски разбросаны, неровный пол еще более обезображен пролитыми красками. Архитектор попросил, чтобы дамы дали ему теперь неделю сроку и сами в течение этого времени не заходили в придел. Наконец в один прекрасный вечер он пригласил их обеих пожаловать туда; сам же испросил позволения не сопровождать их и тотчас же откланялся.

— Какой бы сюрприз он ни приготовил нам, — сказала Шарлотта, когда он удалился, — у меня сейчас нет охоты идти туда. Сходи одна и

расскажи мне. У него, наверно, вышло что-нибудь очень удачное. Я этим наслажусь сперва в твоём описании, а потом взгляну и сама.

Оттилия, хорошо знавшая, что Шарлотта во многих случаях соблюдает осторожность, избегает всякого рода душевных потрясений и особенно оберегает себя от неожиданностей, тотчас же пошла, невольно ища взглядом архитектора, который, однако, не появлялся, — должно быть, прятался. Она вошла в отпертую церковь, уже отделанную, убранную и освященную. Тяжелая, окованная медью дверь придела легко распахнулась перед нею, и в этом знакомом помещении предстало неожиданное зрелище.

Сквозь единственное высокое окно падал строгий многокрасочный свет, ибо оно было искусно составлено из цветных стекол. Все в целом благодаря этому приобретало необычный колорит и настраивало душу на совсем особый лад. Красоту свода и стен еще дополнял рисунок пола, выложенного из кирпичей своеобразной формы, которые сочетались в красивый узор, скрепленный раствором гипса. И кирпичи и цветные стекла архитектор тайком приготовил заранее, так что собрать их удалось в короткий срок. Позаботился он и о местах для сидения. Среди старинных вещей, оказавшихся в церкви, нашлось несколько резных стульев изящной работы, которые теперь красиво разместились вдоль стен.

Оттилия радовалась, глядя на знакомые детали, представшие ей теперь в виде незнакомого целого. Она стояла, бродила взад и вперед, смотрела, вглядывалась; наконец она села на один из стульев, и когда оглянулась вокруг, ей вдруг почудилось, будто она живет и не живет, сознает и не сознает и что все это сейчас скроется от нее, да и она скроется от самой себя, и только когда окно, до сих пор ярко освещенное солнцем, потемнело, Оттилия очнулась и поспешила в замок.

Она не таила от себя, в какой знаменательный день ее поразило это неожиданное впечатление. То был канун дня рождения Эдуарда, который она, конечно, надеялась отпраздновать совсем иначе. Как все должно было быть разукрашено к этому празднику! А теперь осенняя роскошь сада осталась нетронутой. Подсолнечники по-прежнему обращали свои головки к небу, астры все так же кротко и скромно смотрели вдаль, а венки, сплетенные из них, послужили только моделями для украшения места, которое, если бы ему пришлось найти какое-либо применение, а не остаться простой прихотью художника, могло бы стать разве что общей усыпальницей.

При этом ей пришло на память, как шумно отпраздновал Эдуард день ее рождения, она вспомнила и о только что построенном доме, под кровлей которого они все надеялись провести столько отрадных часов. Фейерверк, вспыхнув, вновь представился ее взору и слуху, и чем более одинокой она была, тем явственнее рисовался он в ее фантазии и тем глубже она ощущала свое одиночество. Она уже не опиралась на руку Эдуарда и не надеялась, что рука эта вновь станет для нее опорой.

## ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ

Мне хочется записать одно из замечаний молодого художника: на примере как ремесленника, так и художника можно ясно увидеть, что человек менее всего властен присвоить себе собственно ему принадлежащее. Его творения покидают его, как птицы гнездо, в котором они были высижены.

Всего удивительнее в этом смысле судьба зодчего. Как часто он обращает все силы своего ума, своей страсти на то, чтобы построить здания, на доступ в которые сам не смеет и рассчитывать. Королевские чертоги обязаны ему своим великолепием, которым он сам никогда не насладится. В храмах он собственной рукой проводит грань, отделяющую его от святая святых; он не дерзает подняться на ступени, которые возвел для возвышающего дух торжества, подобно тому как золотых дел мастер лишь издали поклоняется дароносице, эмаль и драгоценные камни которой он сочетал воедино. Вместе с ключом от дворца строитель передаст богачу и все его удобства, весь его уют, которым сам нимало не воспользуется. Не удаляется ли таким образом от художника и само искусство, если его творение, как сын, получивший собственный надел, теряет связь со своим отцом? И как должно было совершенствоваться искусство в пору, когда оно составляло общественное достояние и, следовательно, то, что принадлежало всем, принадлежало и художнику.

Одно из верований древних народов — торжественно-строгое и может показаться страшным. Предков своих они представляли себе сидящими на тронах в огромных пещерах и занятыми безмолвной беседой. Вновь прибывшего, если он был того достоин, они, приветвав, приветствовали поклоном. Вчера, когда я сидела в приделе на резном стуле, а кругом стояло еще несколько таких же стульев, эта мысль показалась мне отрадной и утешительной. «Почему бы тебе не остаться здесь синеть, — подумала я, — сидеть тихо и сосредоточенно, долго-долго, пока наконец не придут друзья, навстречу которым ты станешь и, приветливо поклонившись, укажешь им их места?» Цветные стекла превращают день в строгие сумерки, и кому-нибудь следовало бы позаботиться о неугасимой лампаде, чтобы и самая ночь не была здесь слишком темна.

В какое положение ни становишься, ты всегда представляешь себя зрячим. Мне кажется, сны человеку снятся только затем чтобы он не переставал видеть. А ведь, может быть, когда-нибудь наш внутренний свет выступит из нас, так что нам и не надо будет другого.

Год кончается. Ветер носится над жнивьем, и нечем ему играть, и только красные ягоды на тех стройных деревьях словно хотят еще напомнить нам о чем-то радостном, подобно тому, как мерные удары цепов заставляют нас вспомнить, сколько питательного и живого таится в сжатом колосе.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

После всех этих событий, после всего, что внушило Оттилии сознание непрочности и бренности сущего, как больно должна была поразить ее весть, которую от нее уже нельзя было дольше скрывать, что Эдуард вверился изменчивому счастью войны. Ей пришли на ум все те печальные мысли, для которых теперь, к сожалению, имелись основания. Хорошо еще, что сознание человека вмещает лишь известную меру горя; то, что выходит за ее пределы, либо убивает его, либо оставляет равнодушным. Существуют положения, при которых страх и надежда сливаются воедино, друг друга взаимно уничтожают и растворяются в некоей смутной бесчувственности. Иначе как могли бы мы, зная, что дорогие нам существа где-то вдали подвергаются ежечасным опасностям, продолжать все ту же нашу привычную будничную жизнь?

Вот почему можно было подумать, будто добрый гений позаботился об Оттилии, когда эту тишину, в которую она, одинокая и ничем не

занятая, уже было погрузилась в путешествие целой орды, доставив ей много хлопот, но вырвав ее из сосредоточенности и пробудив, в ней сознание собственной силы.

Дочь Шарлотты Люциана, едва окончив пансион, вступила в большой свет, и не успела она в доме своей тетки окружить себя многочисленным обществом, как ее стремление к успеху и в самом деле принесло ей успех; один весьма богатый молодой человек почувствовал сильное желание назвать ее своею. Его крупное состояние давало ему право владеть всем, что было лучшего вокруг, и теперь ему недоставало только красавицы жены, которая, вместе с другими сужденными ему благами, вызывала бы зависть всего света.

Это семейное дело причиняло сейчас Шарлотте множество работ, составляло предмет всех ее размышлений и переписки, кроме той, которая имела целью получить более точные известия об Эдуарде; из-за этого и Оттилия последнее время чаще, чем обычно, оставалась одна. Она, правда, знала о предстоящем приезде Люцианы, поэтому уже распорядилась в доме всем самым необходимым, но столь скоро она все-таки не ждала гостей. Предполагали еще списаться, условиться, точнее определить срок, как вдруг на замок и на Оттилию нагрянула эта буря.

Вот прибыли горничные и лакеи, фуры с сундуками и ящиками; уже казалось, что число господ в доме удвоилось или утроилось; но тут только появились сами гости — бабушка с Люцианой и несколькими ее приятельницами, жених со своей свитой. В передней громоздились сундуки, чемоданы и прочие дорожные принадлежности. Слуги с трудом разбирались во множестве коробок и футляров. Багаж таскали без конца. Тем временем пошел сильнейший дождь, что причинило еще больше беспокойства. Всю эту неистовую сумятицу Оттилия встретила спокойная и деятельная, ее бодрость и распорядительность проявились тут во всем блеске: она в короткий срок всех разместила и всех устроила. Каждому было отведено помещение, каждому предоставлены удобства, какие кому требовались, и всем казалось, будто их отлично обслуживают, так как никому не возбранялось самому себя обслуживать.

После крайне утомительного путешествия все были бы рады отдохнуть; жениху хотелось поближе познакомиться с будущей тещей и уверить ее в своей любви к Люциане, в своих добрых намерениях; но Люциане не терпелось. Вот наконец-то она могла осуществить свою мечту — сесть на коня. У жениха лошади были превосходные, — и всем тотчас же пришлось заняться верховой ездой. Ветер и дождь, непогода и буря — ничто не принималось в расчет: казалось, жизнь только на то и дана, чтобы мокнуть и снова сушиться. Приходило ли ей в голову отправиться пешком куда-нибудь, — она не задумывалась, так ли она одета, так ли обута; ей непременно надо было осматривать парк, о котором она так много слышала. Где не удавалось проехать, пробирались пешком. Скоро она все оглядела, обо всем успела высказать свое суждение. При ее порывистости ей нелегко было возражать! Всем пришлось немало вытерпеть, но более всего горничным, которые не успевали стирать и гладить, распаривать и пришивать.

Едва она покончила с осмотром дома и окрестностей, как сочла своим долгом сделать визиты соседям. Так как и верхом и в экипажах ездили весьма быстро, то соседство оказалось достаточно обширным. На замок нахлынули ответные визиты, и чтобы гости не приезжали в отсутствие хозяев, вскоре пришлось назначить приемные дни.

В то время как Шарлотта со своей теткой к поверенным жениха занята была подготовкой условий предстоящего брака, а Оттилия с приданным ей штатом заботилась, чтобы, невзирая на такое множество народу, всего имелось вдоволь, ради чего подняли на ноги охотников и садовников, рыбаков и торговцев, Люциана носилась, словно ядро кометы, за которой тянется длинный хвост. Обычные способы развлекать гостей ей вскоре наскучили. Разве что только самых старших она еще оставляла в покое за карточным столом; кто сколько-нибудь способен был двигаться — а кого бы не вывела из неподвижности ее очаровательная настойчивость? — тот должен был участвовать если не в танцах, то в фантах, в штрафах и других забавных играх. И хотя все устраивалось так, что она неизменно оставалась в центре внимания, все же никто, особенно из числа мужчин, — что бы они собою ни представляли, — не оставался вовсе обойденным; ей даже удалось завоевать благоволение нескольких важных старичков, так как она выведала, что как раз на это время приходится их именины или дни рождения, и торжественно их отпраздновала. Притом она обладала редким обаянием: все чувствовали себя польщенными ее вниманием, а каждый в отдельности считал, что именно он заслужил наибольшую благосклонность, — такому самообману поддавался даже старейший из собравшегося общества.

Хотя она как будто и действовала с умыслом, завоевывая благосклонность мужчин, чем-либо замечательных, занимавших высокое положение, пользовавшихся почетом, известностью или значительных в каком-нибудь ином отношении, посрамляя мудрость и рассудительность и даже благоразумие, заставляя служить своим неудержимым прихотям, но и молодежь не оставалась внакладе: для каждого наступал черед, приходил день и час, в который она успевала очаровать и приковать его к себе. Вскоре она обратила внимание и на архитектора, который, однако, глядел так простодушно из-под густой шапки курчавых черных волос, так непринужденно и спокойно оставался в стороне, отвечая на все вопросы коротко и дельно, но, видимо, не проявляя склонности к большому сближению, что наконец она, движимая досадой и коварством, решила сделать его героем дня и тем завлечь в свою свиту.

Она недаром привезла с собой столько багажа: в ее расчеты входила бесконечная смена нарядов. Если ей доставляло удовольствие переодеваться по три-четыре раза в день, с утра до вечера сменяя одно платье другим, что столь принято в обществе, то время от времени она появлялась и в настоящих маскарадных костюмах, одетая то крестьянкой, то рыбачкой, то феей или цветочницей. Она даже не гнушалась наряжаться старухой, зная, что юное личико тем свежее будет выглядывать из-под капюшона, и действительность в самом деле так переплеталась с воображением, что, казалось, уж не морочит ли тебя русалка реки Заале.

Но больше всего она любила переодеваться для танцевальных пантомим, в которых исполняла различные характерные роли. Один из кавалеров ее свиты принаоровился сопровождать ее движения несложной музыкой на фортепиано; стоило им перемолвиться двумя словами — и сразу же между ними устанавливалась полная гармония.

Однажды в перерыве шумного бала как бы невзначай, хотя на самом деле все было ею же заранее подготовлено, ее попросили исполнить одну из таких пантомим. Она показалась смущенной, озадаченной, против обыкновения ей пришлось долго упрашивать. Долго она не могла решиться, предоставляла выбор другим, просила, как импровизатор, дать ей сюжет, пока наконец аккомпаниатор, с которым, очевидно, все было условлено заранее, не сел за рояль и не начал играть траурный марш, приглашая ее выступить в роли Артемизии, которую она так превосходно разучила. Она дала уговорить себя и, незадолго отлучившись, вновь прошлась размеренной

под нежно-печальными звуками похоронного марша в образе царственной вдовы, держа в руках погребальную урну. Вслед за ней несли большую черную доску и отточенный кусок мела, вставленный в золотой рейсфедер.

Один из ее поклонников и адъютантов, которому она что-то шепнула на ухо, тотчас подошел к молодому архитектору с тем чтобы упрямить или даже заставить как зодчего нарисовать гробницу Мавзола и таким образом принять участие в представлении уже не в качестве статиста, а настоящего актера. Как ни смущен был, казалось, архитектор, — ибо его узкая черная фигура современного штатского человека составляла причудливый контраст со всеми этими флерами, крепами, бахромой, стеклярусами, кистями и коронами, — но он тотчас же собрался с духом, несмотря на странный характер всего этого зрелища. Невозмутимый и серьезный, он подошел к черной доске, которую держали два пажа, и очень вдумчиво и точно изобразил гробницу, правда, более подходящую для лангобардского, нежели для карийского властителя, но столь прекрасную по пропорциям, столь строгую в частностях и с орнаментовкой столь остроумной, что все с удовольствием следили за ее возникновением и любовались ею, когда она была закончена.

За все это время архитектор, всецело поглощенный своей работой, почти ни разу не оглянулся на царицу. Когда он наконец поклонился ей, дав понять, что ее повеление исполнено, она указала ему на урну и выразила желание видеть ее изображенной на вершине мавзолея. Он исполнил и это, правда, неохотно, так как урна не соответствовала характеру всего замысла. Что же до Люцианы, то она с нетерпением ждала окончания, ибо ей вовсе не важно было получить от него достоверный рисунок. Если бы он лишь набросал нечто напоминающее надгробный памятник, а все остальное время занимался ею, это гораздо более отвечало бы ее целям и желаниям. Его поведение, напротив, приводило ее в крайнее замешательство: как она ни старалась разнообразить свою игру, то изображая скорбь, то отдавая распоряжения и указания, то восхищаясь мавзолеем, постепенно возникавшим на ее глазах, сколько она ни пыталась хоть как-нибудь вступить в соприкосновение с молодым человеком, принимаясь то и дело теревить его, он по-прежнему не поддавался, так что ей оставалось только, ища спасения в урне, прижимать ее к сердцу и подымать глаза к небу, и под конец она в этом затруднительном положении гораздо более походила на эфесскую вдову, нежели на карийскую царицу. Представление затянулось: пианист, обычно терпеливый, не знал уже, в какую тональность ему перейти. Он возблагодарил бога, увидев наконец урну на вершине пирамиды, и в ту минуту, когда царица собиралась выразить свою благодарность зодчему, невольно перешел на веселый мотив, вследствие чего пантомима утратила свой характер, но зато все общество развеселилось и тут же сразу разбилось на две группы; одни благодарили Люциану, восторгались ее превосходной игрой, другие — архитектора, восхищаясь его искусным и изящным рисунком.

Особенно оживленно беседовал с архитектором жених.

— Я жалею, — сказал он, — что рисунок так недолговечен. Позвольте мне хотя бы взять его к себе в комнату и там побеседовать с вами о нем.

— Если это вам доставит удовольствие, — сказал архитектор, — то я могу вам показать тщательно исполненные рисунки таких же зданий и надгробий, а это лишь беглый и случайный эскиз.

Оттилия стояла неподалеку и подошла к ним.

— Не забудьте, — сказала она архитектору, — показать как-нибудь барону вашу коллекцию; он любитель искусства древностей; мне хотелось бы, чтобы вы ближе познакомились друг с другом.

Люциана тоже приблизилась к ним и спросила:

— О чем идет речь?

— О художественной коллекции, — отвечал барон, — которая принадлежит господину архитектору и которую он как-нибудь покажет нам.

— Пусть он сейчас же принесет ее! — воскликнула Люциана. — Не правда ли, вы принесете ее сейчас же, — вкрадчиво прибавила она, дружески взяв его за обе руки.

— Сейчас это, пожалуй, не совсем кстати, — заметил архитектор.

— Как? — повелительным тоном воскликнула Люциана. — Вы не хотите слушаться приказаний вашей царицы? — В просьбе ее теперь зазвучали дразнящие нотки.

— Не будьте упрямы! — вполголоса сказала ему Оттилия.

Архитектор удалился с поклоном, не выразившим ни согласия, ни отказа.

Не успел он уйти, как Люциана уже гонялась по зале за левреткой.

— Ах! — воскликнула она, вдруг натолкнувшись на мать, — какое право, несчастие! Я не взяла сюда своей обезьяны; мне не советовали ее брать, и я лишила себя этого удовольствия только ради удобства моих людей. Но я хочу ее выписать сюда. Кто-нибудь за ней может съездить. Я была бы счастлива видеть хотя бы ее портрет. Я непременно закажу его и уж ни за что с ним не расстанусь.

— Пожалуй, я могу тебя утешить, — сказала Шарлотта, — я велю принести для тебя из библиотеки целый том с изображением самых диковинных обезьян.

Люциана громко вскрикнула от радости, и фолиант был принесен. Вид этих человекоподобных и еще более очеловеченных художником отвратительных существ доставил Люциане величайшую радость. Но особенно приятно ей было отыскивать в каждом из этих зверей какое-нибудь сходство со своими знакомыми.

— Разве эта не похожа на дядю? — безжалостно восклицала она. — Эта — на галантерейного торговца М., эта — на пастора С., а эта —

вылитый, как бишь его... В сущности, обезьяны — это настоящие Incroyables[2], и просто несправедливо, почему их не принимают в самом лучшем обществе.

Говорила она это в самом лучшем обществе, но никто не обиделся на нее. Здесь все, очарованные ее прелестью, привыкли так много ей прощать, что под конец уже прощали и явное неприличие.

Оттилия тем временем разговаривала с женихом. Она ждала, что архитектор вернется со своей строгой, благородной коллекцией и избавит общество от обезьянщины. В надежде на это она продолжала беседовать с бароном и успела на многое обратить его внимание. Но архитектора все не было, а когда он наконец возвратился, то сразу же смешался с толпой гостей: он ничего не принес с собой и держался так, словно ни о чем и не было речи. Оттилия на какой-то миг была — как бы это выразить? — огорчена, расстроена, озадачена; ведь она обратилась к нему с ласковой просьбой, а жениху хотела доставить удовольствие в его духе, ибо она заметила, что, при всей своей любви к Люциане, он все же страдает от ее поведения.

Обезьяны должны были уступить место ужину. Начавшиеся после него игры, даже танцы, а потом — унылое сидение на месте, прерывавшееся попытками возродить угасшее веселье, длилось и на этот раз, как обычно, далеко за полночь, ибо Люциана уже привыкла к тому, что утром не могла выбраться из постели, а вечером — добраться до нее.

За это время в дневнике Оттилии реже встречаются упоминания о событиях, чаще зато — правила и изречения, касающиеся жизни и из жизни же почерпнутые. Но так как по большей части они не могли возникнуть из ее собственных размышлений, то, вероятно, кто-нибудь дал ей тетрадку, из которой она и выписала то, что было ей по душе. А кое-что, принадлежащее ей самой, можно узнать по красной нити.

## ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ

Мы потому так любим заглядывать в будущее, что надеемся нашими тайными желаниями обратить в свою пользу ту случайность, которая в нем заключена.

В большом обществе трудно удержаться от мысли: пусть бы случай, соединивший столько народу, привел сюда и наших друзей.

Как бы замкнуто ни жить, не успеешь оглянуться — и окажешься или чьим-нибудь должником, или заимодавцем.

Когда встречаешь человека, который обязан нам благодарностью, тотчас вспоминаешь об этом. А сколько раз мы можем встретить человека, которому сами обязаны тем же, и не подумаем об этом.

Высказываться — природная потребность; воспринимать же высказанное так, как оно нам преподносится, — это черта образованности.

В обществе никто не стал бы много говорить, если бы сознавал, как часто он неверно понимает слова других.

Чужие речи, должно быть, потому только так часто передаются неверно, что их неправильно понимают.

Кто долго говорит на людях и при этом не льстит слушателям, вызывает раздражение.

Всякое высказанное слово вызывает противоположную мысль.

Противоречие и лесть — плохая основа для беседы.

Самое приятное общество — то, среди членов которого царит не стесняющее их взаимное уважение.

Ни в чем так ясно не обнаруживается характер человека, как в том, что он находит смешным.

Смешное проистекает из нравственных контрастов, которые безобидным образом объединяются в чувственном восприятии.

Человек чувственный часто смеется там, где нечему смеяться. Что бы его ни возбуждало, его самодовольство всегда дает о себе знать.

Умник почти все находит смешным, умный — почти ничего.

Одного пожилого человека упрекали в том, что он все еще волочится за молодыми женщинами. «Это, — ответил он, — единственное средство омолодиться, а быть молодым всякому хочется».

Мы позволяем указывать нам на наши недостатки, мы подвергаемся наказаниям за них, мы многое терпеливо переносим ради них, по терпение изменяет нам, когда мы должны от них отказаться.

Иные недостатки необходимы для существования отдельной личности. Нам было бы неприятно, если бы наши старые друзья отказались от некоторых своих особенностей.

Когда кто-нибудь начинает поступать вопреки своим обычкновениям и привычкам, говорят: «Этот человек скоро умрет».

Какие недостатки нам следует сохранять, даже развивать в себе? Такие, которые скорее льстят другим, нежели оскорбляют их.

Страсти — это недостатки или достоинства, только доведенные до высшей степени.

Страсти наши — настоящие фениксы. Едва сгорит старый, как из пепла тотчас возникает новый.

Сильные страсти — это неизлечимые болезни. То, что могло бы их излечить, как раз и делает их опасными.

Страсть и усиливается и умеряется признанием. Ни в чем, быть может, середина не является столь желательной, как в признаниях и умолчаниях при беседах с близкими нам людьми.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Люциана по-прежнему вздымала вокруг себя вихрь светской жизни. Свита ее увеличивалась с каждым днем, отчасти потому, что многих соблазняли и привлекали ее затеи, отчасти же и потому, что многих она расположила в свою пользу услужливостью и готовностью помочь. Щедра она была в высшей степени; благодаря привязанности бабушки и жениха в руки к ней сразу стеклось столько прекрасного и драгоценного, что она как будто ничего не считала своей собственностью и не знала цены вещам, накапливавшимся вокруг нее.

Так, например, она, ни минуты не колеблясь, сняла с себя дорогую шаль и накинула ее на женщину, которая показалась ей одетой беднее других, и делала она это так резво и мило, что никто не мог отказаться от подарка. Кто-нибудь из ее свиты всегда имел при себе кошелек и должен был по ее поручению, куда бы они ни приезжали, справляться о самых старых и самых больных, с тем чтобы хоть на время облегчить их положение. Это создало ей по всей окрестности превосходнейшую репутацию, которая, впрочем, потом причиняла ей неудобства, привлекая к ней слишком уж много докучливых бедняков.

Но ничто так не способствовало ее доброй славе, как исключительное внимание к постоянство, проявленные ею по отношению к одному несчастному молодому человеку, который, хотя и был красив лицом и хорошо сложен, упорно избегал общества только потому, что потерял правую руку, притом самым достойным образом — в сражении. Увечье это вызывало в нем такую раздражительность, его так сердила необходимость при всяком новом знакомстве отвечать на вопросы о своем ранении, что он предпочитал прятаться, предаваться чтению и другим подобным занятиям и раз навсегда решил не иметь дела с людьми.

Существование этого молодого человека не укрылось от Люцианы. Ему пришлось появиться у нее — сперва в тесном кругу, потом в обществе более обширном, наконец — в самом многлюдном. С ним она была приветливее, чем с кем бы то ни было, но главное — настойчивой услужливостью ей удалось возбудить в нем гордость своей потерей, которую она всячески старалась сделать для него нечувствительной. За столом она всегда усаживала его рядом с собой, она нарезала ему кушанья, так что ему только оставалось пользоваться вилкой. Если же место рядом с ней занимали люди, старшие годами или более знатные, то она и на другом конце стола окружала его своим вниманием и торопила лакеев оказывать ему те услуги, которых грозило лишить расстояние, разделяющее их обоих. Наконец она даже уговорила его писать левой рукой; свои опыты он должен был адресовать ей, и таким образом, вдали или вблизи, она всегда поддерживала с ним связь. Молодой человек сам не мог понять, что с ним творится, и с этой минуты для него, действительно, началась новая жизнь.

Казалось бы, такое поведение могло и не понравиться жениху, однако ж — ничуть не бывало. Эти старания он вменял ей в великую заслугу и не тревожился по этому поводу, тем более что ему было известно своеобразие ее характера, ограждавшее Люциану от упреков в предосудительных поступках. Она могла с каждым резвиться, сколько ей вздумается, каждый был в опасности, что она его заденет, начнет теребить или дразнить, но никто не позволил бы себе подобное обращение с ней самой, никто не решился бы прикоснуться к ней, ответить хотя бы малейшей вольностью на те вольности, какие она позволяла себе, и, таким образом, она держала других в границах самой строгой благопристойности, которые сама как будто переступала каждую минуту.

Вообще можно было подумать, что Люциана приняла за правило в равной мере возбуждать похвалы и порицания, привязанности и антипатии. Если она различным образом старалась расположить людей в свою пользу, то обычно тут же портила все дело своим беспощадным злоязычием. Куда бы она ни ездила по соседству, как бы радушно ее и ее свиту ни принимали в замках и поместьях, дело всегда кончалось тем, что на обратном пути она, в своей несдержанности, старалась показать, что во всех человеческих отношениях видит только смешную сторону. Тут были три брата, которых врасплох застигла старость, пока они любезно уступали друг другу, кому первому жениться; там — молоденькая маленькая женщина с высоким старым мужем или, наоборот, резвый маленький муж и жена — беспомощная великанша. В одном доме на каждое шагу она спотыкалась о ребенка; другой, напротив, казался ей пустым, хотя он был полон народу, — потому только, что там не было детей. Старых супругов скорее надо было похоронить, чтобы в доме опять мог раздаваться смех, тем более что законных наследников у них не было. Молодоженам следовало отправиться в путешествие, так как домашняя жизнь им не к лицу. С вещами она расправлялась так же, как с людьми, со зданиями — так же, как с домашней и столовой утварью. В особенности все украшавшее стены вызывало у нее насмешливые замечания. От стариннейшего гобелена до новейших бумажных обоев, от почтеннейшего фамильного портрета до легкомысленнейшей современной гравюры — все находилось под огнем ее насмешливых замечаний, так что приходилось только удивляться, как могло что-нибудь уцелеть на расстоянии пяти миль в округности.

В этом стремлении все отрицать настоящей злобы, пожалуй, не было: в его основе лежало скорее самовлюбленное легкомыслие; но в ее отношении к Оттилии проявлялась действительно какая-то злость. На спокойный непрерывный труд милой девушки, который привлекал всеобщее внимание и похвалы, она смотрела с презрением, а когда речь зашла о том, сколько забот Оттилия посвятила садам и теплицам, Люциана не только стала выражать удивление, что не видно ни цветов, ни плодов, словно позабыв о том, что сейчас глубокая зима, но с этих пор стала требовать столько зелени, веток и листьев для убранства комнат и стен, что Оттилия и садовник испытывали немалое огорчение, видя, как рушатся их надежды на будущий год, а может быть, даже на более длительное время.

Точно так же она не давала Оттилии спокойно заниматься хозяйством, которое последняя вела так умело. Оттилия должна была участвовать в увеселительных поездках и в катании на санях, должна была ездить на балы, затевавшиеся по соседству; должна была не бояться ни снега, ни мороза, ни жестоких ночных бурь — ведь не умирают же от них другие. Хрупкая девушка немало от этого страдала, но и Люциане не было от того никакого проку; хотя Оттилия одевалась всегда очень просто, но она была — или, по крайней мере, казалась мужчинам — самой красивой. Нежная привлекательная сила собирала вокруг нее всех мужчин — независимо от того, была ли она в какой-нибудь зале на первом или на последнем месте, и даже жених Люцианы часто разговаривал с ней, тем более что он нуждался в ее совете и содействии в одном занимавшем его деле.

Он ближе познакомился с архитектором, подолгу беседовал с ним на исторические темы в связи с его художественной коллекцией и после осмотра придела церкви оценил его талант. Барон был молод, богат; он тоже коллекционировал, собирался строить; любовь к

судьбы была в нем сильна, познания же — слабы; он решил, что в архитекторе нашел нужного ему человека — того, с чьей помощью он не раз сумеет достигнуть своей цели. Невесте он сказал о своем намерении, она одобрила его и была чрезвычайно довольна этим планом, скорее, однако, потому, что ей хотелось отвлечь молодого человека от Оттилии, — ибо ей казалось, будто она заметила в нем признаки склонности к ней, — чем из желания воспользоваться его талантом для исполнения своих замыслов. И хотя он не раз принимал деятельное участие в ее импровизированных празднествах и выказывал в том немалую изобретательность, она была уверена, что сама лучше разбирается во всем, а так как ее выдумки обычно были весьма тривиальны, то для их осуществления ловкий и умелый камердинер подходил в такой же степени, как и самый выдающийся художник. Дальше алтаря, на котором совершалось жертвоприношение, или венка, возлагавшегося на гипсовую или на живую голову, ее фантазия не поднималась, если она хотела польстить кому-нибудь, торжественно отмечая день рождения или иное памятное событие.

Когда жених стал расспрашивать Оттилию об архитекторе в его положении в доме, она могла сообщить о нем сведения самые положительные. Ей было известно, что Шарлотта и раньше уже хлопотала о месте для него, так как молодой человек, если бы не приехали гости, должен был удалиться сразу же по окончании работ в приделе, поскольку все постройки предложено было приостановить на зиму; поэтому было весьма желательно, чтобы новый меценат дал искусному художнику занятия и поощрил его талант.

Отношения Оттилии к архитектору были чисты и просты. Присутствие этого благожелательного и деятельного человека и развлекало и радовало ее, словно близость старшего брата. Ее чувства к нему оставались в спокойной и бесстрастной сфере родственности, ибо в сердце ее уже не хватало места ни для кого: оно до краев было наполнено любовью к Эдуарду, и только всепроникающее божество могло наравне с ним владеть этим сердцем.

Чем больше давала о себе знать зима, чем яростнее бушевали бури, чем непроходимее делались дороги, тем привлекательнее казалась возможность проводить становившиеся все более короткими дни в таком превосходном обществе. После кратких отливов поток гостей вновь заливал дом. Потянулись офицеры из отдаленных гарнизонов, образованные — к большой для себя пользе, неотесанные — к неудобству для собравшегося общества; не было недостатка и в штатских, а в один прекрасный день совершенно неожиданно приехали граф и баронесса.

С их появлением образовался уже настоящий двор. Мужчины знатные и солидные окружали графа, дамы воздавали должное баронессе. То, что они приехали вместе и были в таком веселом расположении духа, недолго вызывало удивление, ибо стало известно, что супруга графа скончалась и новый брак будет заключен, как только позволят приличия. Оттилия помнила первый их приезд, каждое слово, сказанное по поводу брака и развода, соединения и разобщения, надежд, ожиданий, лишений и отречения. Эти два человека, которые тогда ни на что не могли рассчитывать, были теперь так близки к желанному счастью, что невольный вздох вырвался из ее груди.

Люциана, услышав, что граф — любитель музыки, решила немедленно устроить концерт; она сама собиралась петь, аккомпанируя себе на гитаре. Намерение осуществилось. На гитаре она играла неплохо, голос у нее был приятный; что же касается слов, то понять их было так же трудно, как всегда, когда немецкая красавица поет под аккомпанемент гитары. Все, однако, уверяли, что она пела с большим выражением, и наградили ее громкими рукоплесканиями. При этом ее постигла лишь одна забавная неудача. Среди гостей находился порт, которому она хотела особенно польстить в надежде, что он посвятит, ей какие-нибудь стихи; поэтому в тот вечер она пела романсы главным образом на его слова. Он, как и все, был с нею учтив, но она ожидала большего. Она несколько раз намекала ему на это, по ничему не могла от него добиться и, наконец, в нетерпении подослала к нему одного из своих придворных, приказав выведать, не испытывает ли он восхищения от того, что слышал свои чудные стихи в таком чудном исполнении.

— Мои стихи? — с удивлением переспросил поэт и прибавил: — Простите, сударь, я не слышал ничего, кроме гласных, да и то не все. Тем не менее почитаю долгом выразить благодарность за столь любезное намерение.

Придворный промолчал. Поэт же попытался отделаться какими-то комплиментами. Тогда она недвусмысленно дала ему понять, что желала бы иметь от него стихи, сочиненные собственно для нее. Если бы это не было слишком нелюбезно, он готов был вручить ей азбуку, чтобы она сама сложила из нее любую хвалебную песнь на какую угодно мелодию. Дело, однако, не обошлось без обиды для нее. Вскоре она узнала, что к одной из любимых мелодий Оттилии он в тот самый вечер сочинил премилое стихотворение, звучавшее более чем любезно.

Люциана, как и все подобные ей люди, не различавшая, что ей идет и что не идет, захотела попытать счастья в декламации. Память у нее была хорошая, но читала она, по правде сказать, бездушно и хотя порывисто, но без подлинной страстности. Она декламировала баллады, рассказы и все, что обычно печатается в сборниках для декламаторов. К тому же она усвоила злополучную привычку сопровождать чтение жестами, следствием чего является столь неприятное смешение эпического и лирического элементов с драматическим.

Граф, как человек понимающий, быстро ознакомившись с этим обществом, его склонностями, пристрастиями и развлечениями, навел Люциану, к счастью или несчастью, на мысль об одном виде представлений, который весьма подходил к ее облику.

— Я вижу здесь, — сказал он, — столько прекрасных фигур, которым, наверно, нетрудно будет воспроизвести живописные позы и движения. Вы не пробовали передавать в лицах какие-нибудь известные, действительно существующие картины? Такое воспроизведение требует, правда, кропотливой подготовки, но зато оно бесконечно очаровательно.

Люциана быстро сообразила, что тут она будет всецело в своей стихии. Ее прекрасный рост, великолепная фигура, правильные и выразительные черты лица, светло-каштановые косы, стройная шея — все словно просилось на картину, а если бы она еще знала, что в неподвижности она красивее, чем в движении, когда в ее жестах нет-нет да мелькало что-то неграциозное, то она отдалась бы с еще большим рвением живой пластике.

Все принялись за поиски гравюр, воспроизводящих знаменитые картины. Выбор в первую очередь пал на «Велизария» Ван-Дейка. Высокий и прекрасно сложенный мужчина, уже немолодой, должен был изображать слепого полководца, архитектор — участливо остановившегося перед ним воина, на которого он в самом деле немного походил. Люциана с нарочитой скромностью взяла на себя

роль молодой женщиной, которая в заднем плане щедро охватывает милостыню из кошелька на ладони, меж тем как старуха, по-видимому, отговаривает ее от такого расточительства. В картине участвовала и еще одна женщина, уже протягивающая милостыню Веллизарию.

Этой и другими картинами все общество занялось весьма основательно. Насчет того, как их ставить, граф дал кое-какие указания архитектору, который тотчас же озаботился устройством сцены и освещения. Многое уже было подготовлено, когда вдруг обнаружилось, что такая затея требует больших затрат и что в деревне, да еще среди зимы, невозможно достать многие необходимые вещи. Не терпя никаких задержек, Люциана чуть ли не весь свой гардероб дала изрезать на костюмы, достаточно прихотливо задуманные художником.

И вот вечер наступил; живые картины были исполнены перед многочисленными зрителями и заслужили всеобщее одобрение. Выразительная музыкальная прелюдия прядала большую напряженность ожиданию. Спектакль открылся «Веллизарием». Фигуры оказались так удачны, краски были подобраны так хорошо, освещение столь искусно, что, казалось, переносишься в другой мир, и только присутствие живой действительности вместо видимости возбуждало какое-то боязливое чувство.

Занавес опустился, но, по настоянию зрителей, поднимался вновь и вновь. Музыкальная интермедия заняла гостей, которых теперь собирались удивить зрелищем еще более возвышенным. То была известная картина Пуссена «Агасфер и Эсфирь». Тут Люциана уже больше позаботилась о себе. Играя царицу, упавшую без чувств на руки прислужниц, она показала себя во всем своем очаровании, разумно окружив себя, правда, милοвидными и стройными девушками, из которых вес же ни одна не могла соперничать с нею. Оттилия была отстранена от участия в этой картине, как и во всех прочих. Для роли царя, восседавшего, подобно Зевсу, на золотом престоле, Люциана выбрала самого осанистого и красивого мужчину из всей компании, так что и эта картина была представлена с неподражаемым совершенством.

Для третьей картины остановились на так называемом «Отеческом наставлении» Тербурга, — а кто не знает этой вещи по великолепной гравюре нашего Вилле? Вот, положив ногу на ногу, сидит благородный рыцарственный отец и, по-видимому, старается усовестить дочь, стоящую перед ним. Ее великолепная фигура в белом атласном платье с пышными складками видна только сзади, но по всему заметно, что она сдерживает волнение. Увещание отца явно не носит грубого или обидного характера, о чем можно судить по его лицу и позе; что же до матери, то она как будто даже пытается скрыть легкое смущение, глядя в стакан с вином, которое собирается пригубить.

Здесь Люциане представился случай явиться в полном блеске. Ее косы, форма головы, шея и затылок были бесконечно прекрасны, стройная, тонкая талия, которая так мало заметна у женщин в современных платьях на античный лад, чрезвычайно удачно вырисовывалась благодаря старинному костюму; к тому же архитектор позаботился придать пышным складкам белого атласа самую искусную естественность, так что эта живая копия, без всякого сомнения, превзошла оригинал и вызвала всеобщий восторг. Повторения требовали без конца, при этом зрителями овладело вполне естественное желание взглянуть в лицо очаровательному существу, которым все уже досыта налюбовались со спины, так что какой-то нетерпеливый шутник, к вящему удовольствию всех гостей, громко выкрикнул слова, частенько пишущиеся в конце страницы: «Tournez, s'il vous plait!»[3] Исполнители, однако, слишком хорошо знали преимущества своего положения и слишком глубоко прониклись смыслом этого зрелища, чтобы уступить общему желанию. Пристыженная дочь спокойно продолжала стоять, не удостоив обернуться лицом к зрителям, отец по-прежнему сидел в наставительной позе, а мать не отводила глаз и носа от прозрачного стакана, в котором, хотя она как будто и пила из него, вино все не убавлялось. Стоит ли еще распространяться о последовавших затем мелких картинах, для которых выбраны были разные сцены нидерландских мастеров, изображавших харчевни и ярмарки?

Граф и баронесса уехали, обещав вернуться в первые же счастливые недели своего брачного союза, который ожидался в ближайшем будущем, и Шарлотта, выдержав два столь утомительных месяца, надеялась сбыть наконец и остальных гостей. Она не сомневалась, что дочь ее будет счастлива, когда пройдет опьянение молодости и невеста станет женой; жених же почитал себя счастливейшим человеком в мире. Несмотря на свое богатство и спокойный склад ума, он, казалось, необычайно гордился тем, что его будущая жена пленяет собою весь свет. Он настолько усвоил себе привычку все ставить в связь с нею и лишь через нее относиться к себе, что ему бывало даже неприятно, если новый гость не посвящал ей сразу же всего своего внимания и, не помышляя о ее достоинствах, старался сойтись ближе с ним, как это часто делали люди постарше, умевшие ценить его добрые качества. Что до архитектора, то дело скоро было решено. Он должен был приехать к новому году и провести с ними новогодний карнавал в городе, где Люциана уже предвкушала величайшее удовольствие от повторения столь удачно поставленных живых картин, да и от тысячи других вещей, чем более что и бабушка и жених не считались с расходами, когда дело касалось ее развлечений.

Пришло время расставаться, но нельзя же было расстаться на обычный лад. Гости как-то раз довольно громко шутили, что зимние запасы Шарлотты скоро будут съедены, и тут кавалер, изображавший Веллизария, человек достаточно богатый, давний почитатель Люцианы, необдуманно воскликнул, увлеченный ее прелестями: «Так давайте последуем польскому обычаю! Едемте ко мне — объедать меня, а потом пойдем вкруговую». Сказано — сделано: Люциана согласилась. На другой день все было уложено, и стая перелетела в другое имение. Ме?ста там тоже было достаточно, но все было менее удобно, менее благоустроено. То и дело возникали различные неловкости, но они-то и веселили Люцнану. Жизнь становилась все беспорядочней и суматошной. Псовые охоты по глубокому снегу сменялись другими, столь же неудобными и сложными затеями. Не только мужчины, но и женщины не смели устраниваться от участия в них, и вся компания то верхом, то на санях, охотясь и шумя, кочевала из одного поместья в другое, пока, наконец, не оказалась поблизости от столицы, где вести и рассказы о том, как развлекаются при дворе и в городе, дали фантазии другое направление и втянули Люциану со всей ее свитой в иной жизненный круг.

## ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ

В свете каждого принимают за то, за что он себя выдает, но он непременно должен выдавать себя за что-нибудь. Человека неуживчивого терпят охотнее, чем ничтожного.

Обществу можно навязать все, что угодно, кроме того, что влечет за собою какие-либо последствия.



Мы узнаем людей не тогда, когда они к нам приходят; мы сами должны отправиться к ним, чтобы узнать, каковы они на самом деле.

Я нахожу почти естественным, что в наших гостях мы всегда осуждаем что-нибудь, и не успеют они уехать, как мы уже судим о них, и притом не слишком ласково, ибо мы, так сказать, имеем право мерить их своею меркой. Даже люди рассудительные и снисходительные редко удерживаются в подобных случаях от резкой критики.

Когда, напротив, побываешь у других и увидишь их в их собственном кругу, с их привычками, в неизбежных и естественных для них условиях, увидишь, как они воздействуют на окружающее или подчиняются ему, то лишь по неразумию или по злой воле можно признать смешными такие черты, которые во многих отношениях должны бы казаться достойными уважения.

Так называемое умение себя вести и добрые нравы — средство для достижения того, что иначе достижимо лишь путем насилия, да и то не всегда.

Общение с женщинами — стихия добрых нравов.

Как может характер человека, своеобразие его личности находиться в согласии с жизненным укладом? — Свообразие личности и должно бы проявляться именно благодаря жизненному укладу. Значительного желает каждый, но из этого не должно проистекать неудобств.

Величайшими преимуществами как в жизни вообще, так и в свете пользуется просвещенный воин.

Грубый солдат занимается, по крайней мере, своим делом, а поскольку за силой обычно скрывается добродушие, то в случае необходимости и с ним можно ужиться.

Нет ничего несноснее, чем неотесанный штатский. От него можно бы требовать тонкости, так как он не имеет дела ни с чем грубым.

Когда живешь с людьми, обладающими тонким чувством приличия, то пугаешься за них всякий раз, когда происходит что-нибудь неуместное. Так я всегда страдаю за Шарлотту и вместе с Шарлоттой, когда кто-нибудь качается на стуле, чего она смертельно не любит.

Никто не входил бы с очками на носу в тесный дружеский кружок, если бы знал, что у нас, женщин, тотчас пропадает охота смотреть на него и разговаривать с ним.

Фамильярность там, где подобает почтительность, всегда смешна. Никто бы не стал, едва отвесив поклон, откладывать шляпу в сторону, если бы знал, как это смешно.

Нет ни одного внешнего знака учтивости, который не имел бы глубокого нравственного основания. Правильным воспитанием следовало бы признать то, которое учит этим знакам и вместе с тем объясняет их.

Поведение — зеркало, в котором каждый отражает себя.

Есть учтивость сердца; она сродни любви. Из нее проистекает наилучшая учтивость внешнего поведения.

Добровольная зависимость — лучшее из состояний, а как бы она была возможна без любви?

Мы никогда не бываем дальше от цели наших желаний, чем в ту минуту, когда воображаем, будто желанное достигнуто.

Верх рабства — не обладая свободой, считать себя свободным.

Стоит только объявить себя свободным, как тотчас же почувствуешь себя зависимым. Если же решишься объявить себя зависимым, почувствуешь себя свободным.

От чужих преимуществ нет иного спасения, кроме любви.

Ужасно видеть человека выдающегося, над которым потешаются глупцы.

Для лакея, говорят, не бывает героя. Но это потому, что лишь герой может признать героя. Лакей тоже, вероятно, умеет по достоинству ценить собрата.

Для посредственности нет лучшего утешения, чем то, что гений не бессмертен.

Величайшие люди всегда связаны со своим веком какою-нибудь слабостью.

Людей обычно считают более опасными, чем они есть на самом деле.

Глупцы и люди умные равно безвредны. Всего опаснее-полуглупцы и полумудрецы.

Чтобы уклониться от света, нет более надежного средства, чем искусство, и нет более надежной связи с ним, чем искусство.

Даже в минуты величайшего счастья и величайшего горя мы нуждаемся в художнике.

Предмет искусства — трудное и доброе.

Видя, как трудное исполняется с легкостью, мы получаем наглядное представление о невозможном.

Трудности возрастают, чем ближе мы к цели.

Сеять не так трудно, как собирать жатву.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Шарлотта, которой гости причиняли огромное беспокойство, была вознаграждена тем, что вполне узнала за это время свою дочь, в чем ей немало помогло и ее знание света. Ей не впервые доводилось встречать столь своеобразный характер, хотя до сих пор она не видела ничего, доведенного до столь крайней степени. В то же время ей было известно по опыту, что под влиянием жизненных обстоятельств, различных событий, родительского примера такие люди в зрелом возрасте могут сделаться очень приятными и любезными, эгоизм их с годами ослабевает, а беспокойная жажда деятельности получит более определенное направление. С некоторыми чертами, на чужой взгляд, пожалуй, и неприятными, Шарлотта как мать мирилась тем охотнее, что родителям свойственно надеяться там, где посторонние желали бы уже воспользоваться плодами или, по крайней мере, не терпеть неприятностей.

Ей пришлось, однако, перенести странную и неожиданную неприятность уже после отъезда дочери, которая оставила по себе плохую славу, да еще вызванную не тем, что было предосудительного в ее поведении, а как раз тем, что в нем можно было признать похвальным.

Люциана словно поставила себе за правило быть не только веселой с веселыми, но и печальной с печальными, порою же, давая волю духу противоречия, старалась опечалить веселого и развеселить печального. Куда бы она ни приезжала, она расспрашивала о тех членах семьи, которые по болезни или слабости не могли выйти к гостям. Она навещала их, разыгрывала роль врача и навязывала им какое-нибудь сильно действующее средство из дорожной аптечки, которую всегда возила с собой в карете, а удача или неудача подобного лечения, как нетрудно себе представить, зависели от случая.

В этом роде благотворительности она была совершенно беспощадна и ничего не хотела слушать, ибо твердо была убеждена, что поступает превосходно. Но она потерпела неудачу при одной такой попытке лечить душевный недуг, и это обстоятельство доставило Шарлотте много забот, ибо оно не осталось без последствий и все заговорили о нем. Узнала об этом она только по отъезде Люцианы. Оттилия, как раз случившаяся тут, должна была дать ей подробный отчет.

Девушка из семьи, пользовавшейся почетом и уважением, имела несчастье стать виновницей смерти одного из младших своих братьев и не могла с тех пор ни утешиться, ли прийти в себя. Она не выходила из своей комнаты, занималась в тиши каким-нибудь делом и выносила даже присутствие родных, только когда они бывали у нее поодиночке, ибо если к ней приходило несколько человек одновременно, она начинала подозревать их в том, что они переговариваются насчет ее состояния. С каждым же в отдельности она рассуждала вполне разумно и могла беседовать целыми часами.

Люциана прослышала о девушке и тотчас же решила про себя по приезде в этот дом совершить своего рода чудо и возратить ее обществу. На этот раз она действовала осмотрительнее, чем обычно, сумела одна проникнуть к больной и музыкой завоевать ее доверие. Но под конец она совершила промах: желая непременно произвести эффект, она однажды вечером внезапно привела милую бледную девушку, которую считала уже достаточно к тому подготовленной, в шумное блестящее общество; может быть, эта попытка и удалась бы ей, если бы гости из любопытства и страха не повели себя бестактно; сперва все обступили больную, потом отхлынули от нее, начали перешептываться, собираться в кучки, чем сбили ее с толку и разволновали. Чувствительная девушка не выдержала этого испытания и убежала с диким криком, словно спасаясь от страшного чудовища. Испуганные гости бросились в разные стороны, Оттилия же помогла отнести лишившуюся чувств девушку в ее комнату.

Люциана тем временем резко отчитала собравшихся, нимало не думая о том, что она сама была всему виною и, не смущаясь ни этой, ни другими неудачами, продолжала действовать и вести себя все так же.

Состояние больной с тех пор ухудшилось, болезнь усилилась настолько, что родители уже не могли держать бедную девушку дома и принуждены были поместить ее в больницу. Шарлотте ничего другого не оставалось, как постараться особенной чуткостью и внимательностью по отношению к этой семье хоть сколько-нибудь смягчить боль, причиненную ее дочерью. На Оттилию этот случай произвел глубокое впечатление; она тем более жалела бедную девушку, что убеждена была в возможности исцелить больную систематическим лечением, чего не скрыла и от Шарлотты.

Так как о неприятном вспоминают обычно больше, чем о приятном, то зашла речь и о маленьком недоразумении, смутившем Оттилию в тот вечер, когда архитектор не пожелал показать своей коллекции, хотя она дружески просила его об этом. Его отказ все еще был памятен ей — почему, она сама не понимала. Чувства ее, впрочем, были вполне естественны, ибо на просьбу девушки, подобной Оттилии, молодой человек, подобный архитектору, не должен был отвечать отказом. Однако, когда она при случае мягко упрекнула его, он привел достаточно веские оправдания.

— Если бы вы знали, — сказал он, — как грубо обращаются с драгоценнейшими произведениями искусства даже просвещенные люди, вы бы простили мне, что я не люблю показывать их публике. Никто не берет медаль за края: все ошупывают рукой тончайшую чеканку или чистейший фон, сжимают самые дивные экземпляры большим и указательным пальцами, словно так можно оценить художественную форму. Не подумав о том, что большой лист нужно брать обеими руками, они одной рукой хватают бесценную гравюру, незаменимый рисунок, как какой-нибудь политикан хватается газету и, смяв ее, заранее дает свое суждение о мировых событиях. Никто не думает о том, что если двадцать человек будут так обращаться с произведением искусства, то двадцать первому уже мало что останется на долю.

— Не приходилось ли когда-нибудь и мне, — спросила Оттилия, — доставлять вам такое огорчение? Но попортила ли я, сама того не ведая, какое-нибудь из ваших сокровищ?

— Никогда! — воскликнул архитектор. — Никогда! Как бы это могло случиться? Ведь у вас во всем прирожденный такт!

— Неплохо было бы, — заметила Оттилия, — на всякий случай в книжке о благопристойных манерах вставить вслед за главами о том, как следует есть и пить в обществе, достаточно подробную главу о том, как нужно вести себя в музеях и при осмотре художественных собраний.

— О да, — отвечал архитектор, — и, конечно, зрители музеев и любители тогда охотнее показывали бы свои коллекции.

Оттилия давно уже простила его; но так как упрек ее он, видимо, воспринял слишком болезненно и все снова принимался уверять ее, что готов всем поделиться с друзьями, то она почувствовала, что ранила его нежную душу, и считала себя теперь должницей. Поэтому на просьбу, с которой он обратился к ней в дальнейшем разговоре, она не могла ответить решительным отказом, хотя, тотчас же проверив свои чувства, она и не представляла себе, как исполнить его желание.

Дело заключалось в следующем. Его сильно задело то, что Люциана из зависти отстранила Оттилию от живых картин: он не мог также не заметить с сожалением, что Шарлотта, чувствуя недопомогание, лишь урывками присутствовала при этой блистательнейшей части программы развлечений; и вот ему не хотелось уезжать, прежде чем он не выразит свою благодарность, устроив в честь одной из них и для развлечения другой представление еще более прекрасное, чем предыдущее. Возможно, сюда присоединилось и другое тайное побуждение, им самим не осознанное: ему было так тяжело покинуть этот дом, эту семью, ему казалось невыносимым не видеть более глаз Оттилии, взглядом которых, спокойно и ласково обращенных на него, он только и жил последнее время.

Приближалось рождество, и ему неожиданно стало ясно, что живые картины с их человеческими фигурами происходят, в сущности, от так называемых граесере, от тех благочестивых зрелищ, которые в эти торжественные дни посвящались божьей матери и младенцу, принимавшим в своей кажущемся ничтожестве поклонение сперва пастухов, а потом — волхвов.

Он с полной отчетливостью представил себе возможность такой картины. Найден был хорошенький здоровый мальчик; в пастухах и пастушках тоже не было недостатка; но без Оттилии ничего нельзя было сделать. В своем воображении молодой человек вознес ее до богоматери и знал, что если она откажется, то замысел его рухнет. Оттилия, немало озадаченная таким предложением, отослала его за разрешением к Шарлотте. Шарлотта охотно дала позволение и ласковыми доводами сумела победить робость Оттилии, не решавшейся взяться за священную роль. Архитектор трудился теперь день и ночь, чтобы все было готово к рождеству.

Трудился он день и ночь в буквальном смысле слова. Потребности его и так были скромны, а присутствие Оттилии составляло всю его отраду; когда он работал ради нее, был чем-нибудь занят для нее, казалось, он не нуждается ни в сне, ни в пище. К торжественному часу все было готово. Ему удалось составить и небольшой духовой оркестр, благозвучно исполнивший увертюру и настроивший зрителей на должный лад. Когда подняли занавес, Шарлотта была поражена. Картина, представившаяся ей, так часто воспроизводилась, что едва ли можно было ожидать новизны впечатлений. Но на этот раз действительность, занявшая место картины, имела особые преимущества. Освещение было скорее ночное, чем сумеречное, и все же во всей обстановке не было ни одной неотчетливой детали. Непревзойденную мысль, что весь свет должен исходить от младенца, архитектор сумел осуществить благодаря остроумному осветительному механизму, который был скрыт от зрителей затененными фигурами, стоявшими на первом плане, где по ним скользили только слабые лучи. Кругом стояли веселые девочки и мальчики, свежие лица которых были ярко освещены снизу. Были здесь и ангелы, но их сияние меркло перед сиянием божества, а эфирные тела их казались и плотными и тусклыми по сравнению с богочеловеком.

К счастью, ребенок заснул в самой очаровательной позе, и, таким образом, ничто не нарушало созерцания, когда взгляд зрителя останавливался на матери, а она бесконечно грациозным жестом приподымала покрывало, под которым таилось ее сокровище. Это мгновение как раз и было схвачено и закреплено в картине. Казалось, что обступивший ясли народ физически ослеплен и потрясен душевно; все они как будто только что сделали движение, чтобы отвратить пораженные светом взоры, и с радостным любопытством вновь устремляли их на младенца, выказывая скорее удивление и восторг, нежели благоговейное почитание, хотя на некоторых старческих лицах были запечатлены и эти чувства.

Облик Оттилии, ее жест, выражение лица, взгляд превзошли все, что когда-либо изображал художник. Чуткий ценитель, увидев эту картину, испугался бы, что какое-нибудь движение может разрушить ее и что уже никогда в жизни ему не доведется увидеть ничего столь прекрасного. К сожалению, здесь не было никого, кто мог бы вполне насладиться этим впечатлением. Только архитектор, в роли высокого стройного пастуха, сбоку глядевший на колена преклоненных, более всех любовался этой сценой, хотя и наблюдал ее с неудачного места. А кто опишет выражение лица новоявленной царицы небесной? Самое чистое смирение, очаровательнейшая скромность при сознании великой незаслуженной чести, непостижимо безмерного счастья — вот о чем говорили ее черты, в которых сказывались как ее собственные чувства, так и представления, сложившиеся у нее о роли, которую ей привелось исполнять.

Шарлотту радовала прекрасная картина, но самое сильное впечатление на нее произвел ребенок. Слезы текли у нее из глаз, столь живо она представила себе, что в скором времени будет держать на коленях такое же милое существо.

Занавес опустили — отчасти, чтобы дать отдохнуть исполнителям, отчасти же, чтобы произвести на сцене некоторые перемены. Художник поставил себе задачей превратить картину ночи и нищеты, показанную вначале, в картину дня и славы и, чтобы осветить сцену со всех сторон, приготовил огромное множество ламп и свечей, которые предполагалось зажечь в антракте.

Оттилию в ее полутеатральной позе до сих пор успокаивало то, что, кроме Шарлотты и немногих домочадцев, никто не видит этого благочестивого маскарада. Поэтому она была немало смущена, когда узнала во время антракта, что приехал какой-то гость, которого приветливо встретила Шарлотта. Кто он — ей не могли сказать. Она не стала допытываться, чтобы не задержать представления. Зажгли свечи, лампы, и бесконечное море света окружило ее. Поднявшийся занавес открыл зрителям поразительную картину: вся она была сплошной свет и вместо исчезнувших теней оставались одни только краски, умелый подбор которых приятно смягчал яркость освещения. Бросив взгляд из-под длинных опущенных ресниц, Оттилия заметила какого-то мужчину, сидевшего подле Шарлотты. Лица она не рассмотрела, но ей показалось, что она слышит голос помощника начальницы пансиона. Странное чувство охватило ее. Сколько событий произошло с тех пор, как она перестала слышать голос этого достойного учителя! Молнией мелькнула в ее душе вереница радостей и горестей, пережитых ею, и заставила ее спросить себя: «Посмеешь ли ты во всем признаться ему и обо всем ему рассказать? И как ты недостойна явиться перед ним в этом святом обличье и как ему должно быть странно встретить тебя в маске, тебя, которую он всегда

видел только простой и естественной!» С быстротой, которая ни с чем не сравнится в ней заспорили чувство и рассудок. Сердце ее стеснилось, глаза наполнились слезами, в то же время она заставляла себя сохранять неподвижность, словно на картине; и как она обрадовалась, когда мальчик зашевелился и архитектор был принужден подать знак, чтобы занавес снова опустили.

Если ко всем переживаниям Оттилии в последние мгновения присоединилось еще и мучительное чувство невозможности поспешить навстречу чтимому ею другу, то теперь она была еще более смущена. Выйти ли ей к нему в этом чужом наряде и уборе? Переодеться ли ей? Подумав, она решила переодеться и постаралась за это время собраться с духом, успокоиться и вполне восстановить свое внутреннее равновесие к той минуте, когда наконец в привычном своем платье выйдет поздороваться с гостем.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Покидая своих покровительниц с самыми лучшими чувствами, архитектор был доволен хотя бы уже тем, что оставляет их в обществе почтенного учителя; однако, вспоминая, как они были добры к нему, он мучился при мысли, вполне естественной для такого скромного человека, что его так скоро, так хорошо, так совершенно заменит другой. До сих пор он все откладывал свой отъезд; но теперь его потянуло прочь отсюда, ибо он не хотел быть свидетелем того, с чем должен был примириться, удалившись из дома.

Большим утешением среди этих полупечальных чувств был для него подарок, на прощанье сделанный ему дамами, — жилет, который они в течение долгого времени вязали у него на глазах, возбуждая в нем безмолвную зависть к неведомому счастливицу, которому он предназначался. Такой дар — самый приятный для любящего и преданного человека, ибо, напоминая ему о неутомимом движении прелестных пальцев, он наводит его на лестную мысль, что при столь неустанном труде и сердце не оставалось безучастным.

Дамам предстояло теперь оказывать гостеприимство новому гостю, к которому они благоволили и который должен был хорошо чувствовать себя у них. У женщин есть свои неизменные внутренние интересы, и ничто на свете не в силах заставить их изменить им; зато в жизни светской они охотно и легко поддаются решающему влиянию мужчины, которым заняты в настоящую минуту; так, проявляя то неприступность, то восприимчивость, то твердость, то уступчивость, они, собственно, держат в своих руках власть, от которой в обществе цивилизованном не посмеет уклониться ни один мужчина.

Если архитектор, как бы по собственной воле и охоте, выказывал перед двумя подругами свои дарования ради их удовольствий, ради их самих, если все занятия и развлечения были задуманы в таком же духе и клонились к той же цели, то с приездом учителя в скором времени установился иной склад жизни. Главным его талантом было умение вести беседу о человеческих отношениях, ставя их в связь с воспитанием молодежи. Таким образом, возник весьма заметный контраст с прежним образом жизни, тем более чувствительный, что учитель не вполне одобрял то, чем здесь до сих пор исключительно занимались.

О живой картине, которая встретила его, он не упоминал. Но когда ему, не скрывая удовлетворения, показывали церковь, придел и все, к ним относящееся, он не мог не высказать своего мнения, своих взглядов.

— Что касается меня, — сказал он, — то мне это сближение, это смешение священного с чувственным отнюдь не по сердцу, мне не нравится, когда отводят, освящают и украшают особые помещения для того, чтобы именно там возбуждать и поддерживать в нас набожные чувства. Никакая обстановка, даже самая будничная, не должна нарушать в нас чувства божественного, которое может нам сопутствовать всюду и превратить в храм любое место. Я люблю, когда домашнее богослужение совершается в зале, где в обычное время обедают, встречают гостей, где забавляются играми и танцами. Высшее, совершеннейшее в человеке не имеет формы, и надо остерегаться, как бы не дать ему проявиться иначе, чем в форме благородного поступка.

Шарлотта, в общем уже знавшая образ его мыслей, за короткий срок познакомившись с ним еще ближе, сразу же предоставила ему соответствующее поле деятельности. Созвав своих мальчиков-садовников, которым архитектор сделал смотр перед отъездом, она приказала им построиться в большой зале; одетые в чистые нарядные мундирчики, они своими уставными движениями и непринужденной живостью производили очень хорошее впечатление. Учитель подверг их испытанию в соответствии со своими правилами и очень скоро, путем разных вопросов, выяснил характер и способности каждого: менее чем за час он незаметным образом сумел многому научить детей и быть им полезным.

— Как это вам удается? — спросила Шарлотта, когда мальчики ушли. — Я слушала очень внимательно; речь шла только о самых обыкновенных вещах, но я не знаю, как бы я сумела за такой короткий срок, при таком множестве вопросов и ответов, так последовательно всего этого коснуться.

— Быть может, — отвечал учитель, — следовало бы хранить секреты своего ремесла. Но я не хочу скрывать от вас весьма простую истину, благодаря которой можно достигнуть многого. Изберите тот или иной предмет, вопрос, понятие — называйте это, как хотите; все время имейте его в виду; уясните его себе во всех его частностях, и тогда вам будет легко из разговора с толпой детей узнать, какие сведения о нем у них уже имеются и что еще нужно разбить в них, сообщить им. Пусть ответы на ваши вопросы будут несообразны, пусть они будут уводить в сторону, но если только вы новым вопросом вернете умы и души детей к исходной точке, если вы не дадите сбить себя с избранного пути, то в конце концов они будут знать, думать и понимать лишь то и лишь так, как этого хочет учитель. Самая большая его ошибка была бы — дать ученикам увлечь его в сторону, не суметь удержать их внимание на том предмете, который он сейчас разбирает. Попробуйте как-нибудь сами сделать такой опыт, и он покажется вам весьма интересным.

— Вот это мило, — сказала Шарлотта. — Значит, хорошая педагогика — прямая противоположность хорошему тону. В светском разговоре ни на чем не следует задерживаться, а в преподавании важнейший закон — бороться против рассеянности.

— Разнообразие без рассеянности — лучший девиз и для школы и для жизни, если бы только не было так трудно поддерживать это похвальное равновесие, — сказал учитель и собирался продолжать, но Шарлотта прервала его, чтобы еще раз посмотреть на мальчиков, которые как раз в эту минуту веселым шествием двигались через двор. Он выразил свое удовлетворение по поводу того, что мальчиков заставляют ходить в форме.

— Мужчины, — сказал он, — должны были бы с юности были бы с юности привыкать действовать сообща, ощущать себя равными среди равных, повиноваться и работать во имя целого. К тому же всякая форма способствует развитию военного духа, равно как и выправке, подтянутости, а мальчики и так прирожденные солдаты: стоит лишь посмотреть, как они дерутся и играют в войну, как идут в атаку или на приступ.

— Зато вы не осудите меня, — промолвила Оттилия, — что я моих девочек одеваю не одинаково. Надеюсь, что когда я покажу вам их, пестрота красок будет вам приятна.

— Я это очень одобряю, — ответил он. — Женщины непременно должны одеваться разнообразно, каждая на свой вкус и лад, чтобы каждая научилась распознавать, что ей особенно к лицу, что ей больше всего подходит. Но еще более важное основание для этого в том, что им предназначено проводить жизнь и действовать в одиночку.

— Это весьма парадоксальное утверждение, — возразила Шарлотта, — ведь мы никогда не бываем одни.

— О нет, — ответил учитель, — это именно так, если иметь в виду отношения женщины к другим женщинам. Взглянем на женщину в роли возлюбленной, невесты, жены, хозяйки и матери; она всегда стоит отдельно, она всегда одна и хочет быть одна. Так обстоит дело даже с самыми тщеславными. Каждая женщина по своей природе исключает другую, ибо от каждой из них требуют того, что составляет долг всего ее пола. У мужчин положение иное. Мужчине требуется мужчина; он создал бы второго мужчину, если бы того не было в природе; а женщина могла бы прожить века, даже и не подумав о том, чтобы создать себе подобную.

— Стоит только, — промолвила Шарлотта, — выразить истину в причудливой форме, и причудливое в конце концов будет казаться истиной. Мы извлечем все лучшее из ваших замечаний, но все же, как женщины, будем держаться общества женщин и действовать с ними заодно, чтобы не дать мужчинам слишком больших преимуществ над нами. Не осуждайте же нас впредь за то, что мы еще живее будем злорадствовать, видя, что и мужчины не слишком-то ладят меж собою.

Опытный учитель весьма тщательно вник во все, что Оттилия делала со своими маленькими питомицами, и выразил ей свое безусловное одобрение.

— Вы, — сказал он, — совершенно правильно делаете, что готовите своих подчиненных лишь для простых, насущных дел. Опрятность пробуждает в детях радостное чувство собственного достоинства, и если их научили бодро и сознательно делать то, что они делают, — значит, главное достигнуто.

С большим удовлетворением он заметил, что здесь нет ничего, рассчитанного на показ, на внешний блеск, а, напротив, все имеет внутренний смысл и отвечает насущным потребностям.

— Как мало слов, — воскликнул он, — нужно было бы для того, чтобы выразить всю сущность воспитания, если бы только люди имели уши, чтобы слышать.

— Хотите попробовать со мной? — приветливо спросила Оттилия.

— С удовольствием, — ответил он, — но только вы меня не выдавайте. Из мальчиков должно воспитывать слуг, а из девочек — матерей, тогда везде все будет хорошо.

— Готовиться в матери, — возразила Оттилия, — на это еще женщины, пожалуй, согласятся, так как, даже не будучи матерями, они то и дело поневоле становятся няньками; но для того, чтобы стать слугами, наши молодые люди, конечно, слишком высокого мнения о себе, — ведь каждый из них считает себя призванным повелевать.

— Потому-то мы и скроем это от них, — сказал учитель. — Мы льстим себе, вступая в жизнь, но жизнь не льстит нам. Многие ли по доброй воле согласятся на то, к чему в конце концов будут принуждены? Оставим, однако, эти рассуждения, пока что к делу не относящиеся. Вам повезло в том, что вы сумели найти верные приемы обращения с вашими воспитанницами. Когда самые маленькие из ваших девочек возятся с куклами и шивают для них какие-нибудь лоскутки, когда старшие сестры заботятся о младших и семья сама помогает себе и себя обслуживает — тогда следующий шаг в жизнь уже не труден, и такая девушка найдет у мужа все то, что она оставила у родителей.

Однако в образованных сословиях задача куда сложнее. Нам приходится считаться с более высокими, нежными, утонченными отношениями, в особенности же — с общественными условиями. Потому-то в наших воспитанниках мы должны развивать и внешние качества; это необходимо и могло бы быть прекрасно, если бы всегда соблюдались известные границы, ибо, задаваясь целью воспитать детей для более широкого круга, их легко вовлечь в безграничное и упустить из виду то, чего властно требует их природа. В этом и заключается задача, которую воспитатели либо разрешают, либо не умеют разрешить.

Многие из тех знаний, коими мы наделяем ваших учениц в пансионе, внушают мне страх, ибо опыт подсказывает, как мало они им пригодятся в дальнейшем. Едва только женщина становится хозяйкой или матерью, как все это забрасывается и предается забвению.

И все же, раз уж я посвятил себя этому делу, я не могу отказаться от скромной надежды, что когда-нибудь мне вместе с преданной помощницей удастся развить в моих воспитанницах именно то, что понадобится им, когда они перейдут к собственной самостоятельной деятельности, и я смогу сказать себе: в этом смысле их воспитание завершено. Правда, вслед за тем обычно начинается новое воспитание, необходимость которого вызывается если не нами самими, то условиями нашей жизни.

Каким правильным показалось Оттилии это замечание! Как сильно изменила ее за этот год страсть, которой она раньше и не предчувствовала! Каких только испытаний не видела она перед собой, заглядывая лишь в близкое, в самое близкое будущее!

Молодой человек не без умысла упомянул о помощнице, о жене, ибо при всей своей скромности не мог удержаться и хоть отдаленным образом не намекнуть на свои намерения, да к тому же некоторые обстоятельства и события побудили его воспользоваться этим

посещением для того, чтобы приблизиться к своей цели.

Начальница пансиона была уже в преклонных годах, среди своих подчиненных она давно приискивала компаньона и наконец сделала своему помощнику, которому имела все основания доверять, предложение управлять пансионом вместе с нею, смотреть на него как на свой собственный и после ее смерти вступить в полное владение им в качестве ее единственного наследника. Главное дело теперь заключалось, по-видимому, в том, чтобы ему найти единомыслящую супругу. Взору его и сердцу втайне рисовалась Оттилия; правда, его одолевали и некоторые сомнения, но теперь обстоятельства благоприятствовали ему больше, чем когда-либо. Люциана вышла из пансиона; Оттилия могла свободно в него вернуться; доносились, правда, какие-то слухи о ее отношениях с Эдуардом, но к этой вести, как часто бывает в подобных случаях, все относилось безразлично, а кроме того, это могло только ускорить возвращение Оттилии. Но он так и не принял бы никакого решения, не сделал бы ни одного шага, если бы приезд неожиданных гостей не послужил к тому толчком, — ведь появление людей значительных никогда и ни в каком кругу не может остаться без последствий.

Графу и баронессе часто приходилось слышать обращенные к ним вопросы о достоинстве различных пансионов, ибо почти каждый человек озабочен воспитанием своих детей, и они давно собирались ознакомиться именно с этим учебным заведением, о котором говорилось так много хорошего, а теперь, в новом своем положении, они могли вместе осуществить это давнее намерение. Но баронесса имела в виду и кое-что другое. Во время своего последнего пребывания у Шарлотты она подробно переговорила с ней обо всем, касавшемся Эдуарда и Оттилии, и всячески настаивала на удалении Оттилии, стараясь ободрить Шарлотту, все еще напуганную угрозами Эдуарда. Они искали разных выходов, а когда коснулись пансиона, то речь зашла о привязанности помощника к Оттилии, и баронессе это еще более укрепило в решении посетить пансион.

Она приезжает, знакомится с помощником начальницы, они осматривают заведение и беседуют об Оттилии. Сам граф охотно говорит о ней, так как ближе узнал ее при последнем посещении. Оттилия с ним сблизилась, он даже привлекал ее, ибо в содержательных беседах с ним она надеялась узнать и увидеть то, что до сих пор оставалось ей вовсе неизвестным. И если и общении с Эдуардом она забывала свет, то в присутствии графа свет делался для нее по-настоящему заманчивым. Всякое притяжение взаимно. Граф чувствовал к Оттилии такую привязанность, что готов был смотреть на нее, как на дочь. Тем самым она теперь во второй раз, и в еще большей степени, чем в первый, становилась баронессе поперек дороги. Кто знает, какие средства та пустила бы в ход против нее во времена более пылкой страсти; теперь же ей было достаточно, выдав Оттилию замуж, сделать ее безвредной для замужних женщин.

Баронесса незаметно, но ловко и умно навела помощника на мысль предпринять недолгую поездку в замок и постараться приблизить исполнение своих планов и желаний, которых он от нее не утаил.

С полного согласия начальницы он отправился в путь, питая в душе самые лучшие надежды. Он знал, что Оттилия к нему расположена, и если их разделяет разность сословий, то при современном образе мыслей она легко могла бы сгладиться. Да и баронесса ясно дала ему понять, что Оттилия — по-прежнему бедная девушка. Родство с богатым домом, по ее словам, никому не приносит пользы, ибо совесть не позволяет человеку лишиться сколько-нибудь значительной суммы тех, пусть давно богатых, людей, которые в силу близкого родства имеют большее право на наследство. И, разумеется, достойно удивления, что люди так редко пользуются великим преимуществом распорядиться после смерти своим достоянием на благо любимых ими и, очевидно, из уважения к традициям отдают предпочтение тем, кому имущество завещателя перешло бы и в том случае, если бы он не выразил своей воли.

В дороге он уже ощущал Оттилию равной себе. Радушный прием усилил его надежды. Правда, он нашел, что Оттилия менее откровенна, чем раньше; но ведь она стала и более взрослой, более образованной и, если угодно, более общительной, чем прежде. Его как друга познакомили со всем, что тесно соприкасалось с его деятельностью. Однако всякий раз, когда он хотел ближе подойти к своей цели, его удерживала какая-то внутренняя робость.

Но Шарлотта однажды сама подстрекнула его, сказав в присутствии Оттилии:

— Что ж, вы теперь осмотрели примерно все, что подрастает вокруг меня. А как вы находите Оттилию? Вы ведь можете сказать это и при ней.

Учитель с большой проницательностью и рассудительностью заметил в ответ, что нашел в Оттилии существенную перемену к лучшему в смысле большей непринужденности обращения, большей общительности, большей широты взгляда на житейские дела, сказывающейся не столько в речах, сколько в поступках; но все же, по его мнению, ей было бы весьма полезно вернуться на некоторое время в пансион, где бы она основательно и прочно, в определенной последовательности, усвоила то, чему свет учит нас лишь урывками и скорее сбивая с толку, чем принося удовлетворение, а порою и попросту слишком поздно. Он не станет об этом распространяться; Оттилия сама лучше знает, от каких связанных между собою уроков и занятий она была тогда оторвана.

Оттилия не могла этого отрицать; но в том, что она почувствовала при его словах, она бы никому не призналась, так как и сама едва ли могла разобраться во всем этом. Ничто в мире уже не казалось ей бессвязным, когда она думала о любимом, и она не понимала, о какой связности можно думать, когда его нет с нею.

Шарлотта ответила на предложение умно и дружелюбно. Она сказала, что обе они давно желали возвращения Оттилии в пансион. Однако все это время она не могла обойтись без милой своей подруги и помощницы, хотя в дальнейшем она уже не будет препятствовать Оттилии, если та не изменит своего желания вернуться туда, чтобы закончить свое образование.

Учитель с радостью встретил эти слова; Оттилия же ничего не смела возразить, хотя при одной мысли об этом ей становилось страшно, Шарлотта рассчитывала выиграть время; Эдуард, думалось ей, вернется домой, вернется к прежней жизни как счастливый отец, и тогда, — в этом она была убеждена, — все само уладится, да и судьба Оттилии будет так или иначе устроена.

После значительного разговора, заставляющего призадуматься всех его участников, обычно наступает молчание, своего рода замешательство. Оттилия и Шарлотта начали ходить по зале, учитель стал перелистывать какие-то книги, и тут ему попался фолиант, оставшийся на столе еще со времен Люцианы. Увидев, что там одни только обезьяны, он тотчас же его захлопнул. Но, видимо, это

подало повод к разговору, следы которого мы находим в дневнике Оттилии.

## ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ

Как может человек заставить себя столь тщательно рисовать противных обезьян? Мы унижаем себя даже тем, что смотрим на них, как на животных; но, поддаваясь соблазну искать под этими личинами сходство со знакомыми людьми, мы и вправду ожесточаемся.

Человеку нужна какая-то доля извращенности, чтобы заниматься карикатурами и пародиями. Нашему доброму наставнику я обязана тем, что меня не мучили естественной историей: я никак не могла бы сдружиться с червяками и жуками.

Нынче он признался мне, что испытывает то же самое. «Из природы, — сказал он, — нам следовало бы знакомиться только с тем, что непосредственно окружает нас. С деревьями, которые вокруг нас зеленеют, цветут, приносят плоды, с каждым кустом, мимо которого мы проходим, с каждой былинкой, через которую переступаем, мы находимся в действительной связи, они наши истинные соотечественники. Птицы, порхающие возле нас с ветки на ветку, поющие в листве над нами, принадлежат нам, разговаривают с нами с самого детства, и мы научаемся понимать их язык. Разве чуждое нам и вырванное из своей среды существо не производит на нас жуткого впечатления, которое сглаживается только вследствие привычки? Какую пеструю и шумную жизнь нужно вести для того, чтобы терпеть при себе обезьян, попугаев и арапов».

Порою, когда мной овладевало любопытство и хотелось увидеть подобные диковины, я испытывала зависть к путешественнику, который смотрит на эти чудеса в их живой вседневной связи с другими чудесами; но ведь и сам он становится при этом другим человеком. Безнаказанно никто не блуждает под пальмами, и образ мыслей, наверно, тоже изменяется в стране, где слоны и тигры — у себя дома.

Достоин уважения лишь тот естествоиспытатель, который даже самое чуждое, самое необычайное умеет описать и изобразить в местной обстановке, со всем его окружением, всякий раз в его подлинной стихии. Как бы мне хотелось хоть раз послушать, как рассказывает Гумбольдт!

Кабинет естественной истории может показаться вам чем-то вроде египетской гробницы, где набальзамированы и выставлены всякие идолы — животные и растения. Касте жрецов, может быть, и подобает заниматься всем этим в таинственной полутьме, но в преподавании не должно быть места подобным вещам, тем более что они легко могут вытеснить что-нибудь более близкое нам и более достойное внимания.

Учитель, умеющий пробудить в нас чувство на примере одного какого-нибудь доброго дела, одного прекрасного стихотворения, делает больше, нежели тот, кто знакомит нас с целой вереницей второстепенных созданий природы, описывая их вид и указывая их названия, ибо в итоге мы узнаем лишь то, что и так должно быть нам известно, а именно, что человек есть совершеннейшее и единственное подобие образа божьего.

Пусть каждому будет предоставлена свобода заниматься тем, что привлекает его, что доставляет ему радость, что мнится ему полезным; но истинным предметом изучения для человечества всегда остается человек.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не много есть людей, которые умеют сосредоточиться на недавнем прошлом. Либо нас властно притягивает к себе настоящее, либо мы теряемся в давно прошедшем и стараемся, насколько это вообще возможно, вызвать к жизни и восстановить то, что уже полностью утрачено. Даже в знатных и богатых семьях, которые многим обязаны своим предкам, про деда обычно помнят больше, нежели про отца.

Таким размышлениям предавался наш учитель, гуляя по старому замковому саду в один из тех прекрасных дней, когда уходящая зима словно прикидывается весной, и он восхищался высокими липовыми аллеями и правильными посадками, относившимися еще ко временам Эдуардова отца. Разрослись они превосходно — так, как и должно было быть по замыслу насадившего их, и вот теперь, когда пришла пора по-настоящему любоваться ими и воздать должное их красоте, никто уже ее говорил о них; сюда почти не ходили и все увеселения, все заботы перенесли в другое место, более открытое и просторное.

Вернувшись в замок, он поделился этими мыслями с Шарлоттой, которая благосклонно выслушала его.

— Жизнь увлекает нас за собой, — заметила она, — а мы думаем, будто действуем самостоятельно, будто сами выбираем свои занятия, свои удовольствия; если же внимательнее присмотреться, то, конечно, мы лишь вынуждены вместе с другими выполнять планы нашего времени, подчиняться его склонностям.

— Разумеется, — сказал учитель, — и кто же устоит против течения в окружающей его среде? Время движется вперед, а с ним — взгляды, мнения, предубеждения и вкусы. Если молодость сына приходится на время такого перелома, то можно быть уверенным, что у него не будет ничего общего с отцом. Если отец жил в такой период, когда людям нравилось приобретать, закреплять собственность за собой, ставить всему границы и тесные пределы и, удалившись от света, наслаждаться своим достоянием, то сын будет стремиться к широте, к возможности поделиться, распространить и раскрыть то, что было замкнуто.

— Целые эпохи, — заметила Шарлотта, — напоминают этого отца и этого сына, которых вы изобразили. Мы едва можем представить себе те времена, когда любой город должен был иметь свои стены и рвы, когда любую дворянскую усадьбу строили где-нибудь на болоте и далее в самый ничтожный замок попасть можно было только через подъемный мост. Теперь даже крупные города сносят свои валы, рвы засыпаются и вокруг замков владетельных князей, города нынче — только большие поселения, и когда, путешествуя, видишь все это, можно подумать, что утвердился всеобщий мир и мы накануне золотого века. Никому не покажется уютным сад, если он не походит на открытую местность; ничто не должно напоминать о чем-либо искусственном, насильственном, мы хотим дышать свободно, полной грудью. Допускаете ли вы, мой друг, что из этого состояния можно перейти в другое, вернуться к прежнему?

— Почему бы и нет? — возразил учитель. — Во всяком состоянии, и в стесненном и в вольном, есть свои трудности. Большое состояние предполагает изобилие и ведет к расточительности. Давайте остановимся на вашем примере, достаточно наглядном. Как только появляется нужда, возникает опять и самоограничение. Люди, которым приходится извлекать пользу из своей земли, снова обносят оградой сады, чтобы не лишиться их плодов. Так мало-помалу возникает и новый взгляд на вещи. Житейская польза вновь берет верх, и даже многоимущий в конце концов считает необходимым из всего извлекать пользу. Поверьте мне, легко может случиться, что ваш сын забросит новый парк и удалится за суровые стены под высокие липы своего деда.

Шарлотта в душе была рада услышать, что ей пророчат сына, и поэтому простила наставнику несколько нелюбезное предсказание той участи, которая может со временем постигнуть ее милый парк. И она вполне дружелюбно ответила:

— Мы оба еще не так стары и потому сами не переживали подобных противоречий; но если мысленно вернуться к ранней юности, вспомнить жалобы стариков, слышанные тогда, принять к тому же в соображение судьбу целых стран и городов, то против вашего замечания нечего будет возразить. Но разве ничего нельзя поделаться с таким положением вещей, разве нельзя привести к согласию отца с сыном, родителей с детьми? Вы так мило пророчите мне сына, — неужели же ему непременно суждено быть в разладе со своим отцом, суждено разрушить то, что строили его родители, а не завершить и совершенствовать, продолжая в том же духе?

— На это есть разумное средство, — ответил учитель, — но люди редко прибегают к нему. Пусть отец сделает сына совладельцем, даст ему возможность строить и насаждать вместе с ним, пусть позволит ему, так же как и себе, некоторые безвредные прихоти. Одна деятельность может сплестись с другой, но нельзя сшить их, как два куска. Молодая ветвь легко и просто привьется к старому стволу, зрелый же сучок не срастается с ним.

Учитель был рад, что теперь, незадолго до отъезда, он случайно сказал Шарлотте нечто приятное и тем самым снова и еще больше расположил ее в свою пользу, же давно пора было ему возвращаться домой, но он не решался уехать, пока не убедился, что на окончательный ответ по поводу Оттилии он не может надеяться до разрешения Шарлотты от бремени. Покорившись обстоятельствам и возлагая надежды на будущее, он вернулся к начальнице.

Приближалось время родов Шарлотты. Она почти целые дни не выходила из своих комнат. Женщины, собиравшиеся вокруг нее, составляли ее тесный круг. Оттилия занималась хозяйством, почти не соображая, что делает. Она, правда, полностью покорилась судьбе, хотела и дальше служить Шарлотте, ее ребенку, Эдуарду, но не представляла себе, как это будет возможно. От полного смятения ее спасало только то, что дни ее были заняты всевозможными хлопотами.

У Шарлотты благополучно родился сын, и все женщины уверяли, что он — вылитый отец. Только Оттилия не могла в душе согласиться с этим, когда поздравляла роженицу и желала счастья ребенку. Шарлотта еще и прежде, занимаясь приготовлениями к свадьбе дочери, болезненно чувствовала отсутствие мужа; теперь и при рождении сына не было отца; не он должен был решить, какое дать ему имя.

Первый из друзей, явившихся с поздравлениями, был Митлер, поручивший своим лазутчикам тотчас же известить его об этом событии. Он прибыл немедленно и притом в весьма благодушном расположении. Он едва мог скрыть в присутствии Оттилии свое торжество, Шарлотте же высказал его громко и оказался именно тем, кто призван был рассеять все заботы и устранить все временные затруднения. Крестины решено было не откладывать. Старый пастор, одной ногой стоявший уже в могиле, должен был своим благословением соединить прошедшее с будущим; мальчика решили назвать Отто: он и не мог носить другого имени, кроме имени отца и друга.

Понадобилась вся решительность и настойчивость этого человека, чтобы устранить тысячи возражений, колебаний, задержек, советов премудрых и мудреных, нерешительность, противоречия, сомнения, а ведь в подобных обстоятельствах из всякого преодоленного затруднения обычно тотчас возникает новое, и когда хочешь со всеми сохранить добрые отношения, непременно случается кого-нибудь обидеть.

Все оповещения и родственные уведомления взял на себя Митлер; они должны были быть немедленно же написаны, ибо сам он придавал огромное значение тому, чтобы о счастье, которое он считал столь великим для этой семьи, стало известно всем, не исключая людей зложелательных и злоречивых. И действительно, недавняя любовная драма не ускользнула от внимания публики, которая и без того обычно убеждена, что все происходит лишь затем, чтобы ей было о чем посудачить.

Обряд крещения предполагалось обставить достойно, но скромно и не затягивать его. Решено было, что восприемниками будут Оттилия и Митлер. Старый пастор, поддерживаемый церковным служителем, приблизился медленным шагом. Молитва была прочтена, ребенка положили на руки Оттилии, она нежно взглянула на него и испугалась взгляда его открытых глаз, ибо ей почудилось, что она смотрит в собственные свои глаза, да и всякого поразило бы такое совпадение. Митлер, приняв ребенка, тоже был озадачен — во всем его облике ему бросилось в глаза сходство с капитаном, столь разительное, какого ему еще никогда не приходилось встречать.

Слабость доброго старого священника не позволила ему ознаменовать обряд крещения чем-либо, кроме обычной литургии. Зато Митлеру под впечатлением происходящего припомнилось, как он сам когда-то совершал богослужение, да и вообще ему свойственно было в любом случае жизни представлять себе, что бы и как бы он по поводу него сказал. На этот раз ему чем труднее было удержаться, что тесный кружок, среди которого он находился, состоял только из друзей. Поэтому к концу обряда он преспокойно занял место пастора и в жизнерадостной проповеди стал излагать свое мнение об обязанностях восприемника и свои надежды, тем более распространяясь о них, что на довольном лице Шарлотты он, казалось, читал одобрение.

Бодрому оратору было и невдомек, что старый пастор охотно бы присел, но еще менее он думал о том, что вот-вот накличет и горшую беду, ибо, тщательно обрисовав отношение каждого из присутствующих к младенцу и при этом подвергнув немало испытанию выдержку Оттилии, он под конец обратился к старцу со следующими словами:

— А вы, господин пастор, теперь можете сказать вместе с Симеоном: ныне отпускаеши, владыко, раба твоего с миром, ибо очи мои узрели спасителя дома сего.



Он уже собирался блистательно заключить свою речь, как вдруг заметил, что старик, которому он протягивал ребенка, сперва как будто и наклонился над ним, но потом неожиданно откинулся назад. Его едва успели подхватить, усадили в кресло, поспешили на помощь, — но поздно, он был уже мертв.

Увидеть и осознать в таком непосредственном соседстве рождение и смерть, гроб и колыбель, охватить это страшное противоречие не только силой воображения, но и просто взглядом — для всех присутствующих было тяжелым испытанием, тем более что все случилось так неожиданно. Одна только Оттилия с какой-то завистью смотрела на усопшего, лицо которого все еще сохраняло ласковое, приветливое выражение. Жизнь ее души была убита — зачем же тело продолжало существовать?

Если нерадостные события дня не раз уже наводили ее на размышления о бренности, о разлуке, об утрате, то в утешение ей ночью даны были дивные сны, уверявшие ее в том, что ее любимый жив, укреплявшие и возрождавшие силу жизни в ней самой. Когда же она по вечерам лежала в постели, витая между явью и сном, в сладостном полузабытьи, ей чудилось, будто перед нею светлое, озаренное мягкими лучами пространство. Она совершенно ясно различала Эдуарда, но только одетого не так, как обычно, а в воинских доспехах, всякий раз в иной позе, вполне, однако, естественной и нисколько не фантастической: он то стоял, то шел, то лежал, то сидел на коне. Этот образ, вырисовываясь в мельчайших подробностях, двигался перед ее глазами без малейшего усилия с ее стороны — ей не приходилось напрягать ни волю, ни фантазию. Порою она видела его окруженным какой-то массой, по большей части движущейся и более темной, чем освещенный фон; она едва различала силуэты, которые казались ей то людьми, то лошадьми, то деревьями или горами. Обычно она засыпала среди этих видений, а когда просыпалась поутру после спокойно проведенной ночи, то чувствовала себя более бодрой, умиротворенной, ибо знала твердо, что Эдуард еще жив, что между ними все та же тесная неизменная связь.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступила весна, более поздняя, но зато более дружная и радостная, чем обычно. В саду Оттилия увидела плоды своих забот: все вовремя дало ростки, зазеленело и зацвело; то, что было подготовлено в благоустроенных оранжереях и на грядках парников, тотчас поспешило навстречу природе, и все, чем еще оставалось заняться и распорядиться, уже не означало труд, полный надежд на будущее, но сразу же приносило радостное удовлетворение.

Ей приходилось, однако, утешать садовника, так как из-за сумасбродства Люцианы среди горшечных растений образовалось немало пробелов, а местами нарушилась симметрия древесных крон. Она старалась ободрить его и уверить, что все это скоро восстановится, но он слишком глубоко чувствовал, слишком ясно понимал свое дело, чтобы такие доводы могли утешить его. Подобно тому как садовника не должны отвлекать никакие посторонние увлечения и наклонности, так не должно нарушаться и спокойное развитие, в котором нуждается растение, чтобы достигнуть совершенства длительного или мимолетного. Растение — как упрямый человек, от которого всего можно добиться, если уметь обращаться с ним. Мирный взгляд, спокойная последовательность во всем, что надо делать в каждое время года, в каждый час, — вот что требуется от садовника, пожалуй, в большей мере, чем от кого бы то ни было.

Этими качествами добрый старик обладал в высокой степени, потому и Оттилии так приятно было трудиться вместе с ним; правда, талант свой он уже с некоторых пор не мог проявлять достаточно спокойно. Хотя он в совершенстве знал все, что касалось плодоводства и огородничества, хотя он умел удовлетворить всем требованиям садоводства в старинном вкусе, — ведь одному всегда больше удается одно, а другому другое, — хотя в уходе за оранжерейными растениями, в выгонке луковичных цветов, гвоздик и примул он мог бы поспорить с самой природой, все же новейшие декоративные деревья и модные цветы оставались ему до некоторой степени неизвестными, а беспредельное поле ботаники, открывшееся перед ним, и жужжавшие здесь чужеземные названия внушали ему даже какую-то робость и досаду. Растения, которые с прошлого года начали выписывать его господу, он считал бесполезной тратой средств и расточительностью; не раз он видел, как засыхали эти дорогие цветы, и не больно ладил с торговцами по садовой части, которые, как ему казалось, нечестно относились к нему.

Поэтому после целого ряда опытов он составил себе особый план, который Оттилия тем охотнее поддерживала, что он был, в сущности, рассчитан на возвращение Эдуарда, чье отсутствие как в этом, так и во многих других случаях, с каждым днем давало себя знать все болезненнее.

Чем глубже растения пускали корни, чем больше они давали побегов, тем сильнее и Оттилия чувствовала себя привязанной к этим местам. Ровно год назад она появилась здесь как существо постороннее, ничем не примечательное. Как много за это время она приобрела, но как много — увя! — она за это же время и утратила! Она никогда не была так богата и никогда не была так бедна. Ощущение богатства и бедности мгновенно сменялись в ней и переплетались так тесно, что единственным спасением для нее были хозяйственные заботы, которым она предавалась с живым участием, более того — со страстью.

Как легко себе представить, она больше всего заботилась о том, что особенно любил Эдуард, и почему бы ей было не надеяться, что вскоре вернется он сам и что заботливое внимание, проявленное ею к отсутствующему, вызовет его благодарность?

Но она старалась еще и по-иному быть ему полезной. Ока взяла на себя почти целиком заботы о ребенке, и ей тем естественнее было заниматься непосредственным уходом за ним, что решено было не брать для него кормилицы, а питать его молоком, разбавленным водою. Он должен был в то прекрасное время года пользоваться свежим воздухом, и она брала его на руки сама и носила спящего, еще ничего не сознающего, среди распустившихся и распускающихся цветов, которые так радостно должны были улыбаться его детству, среди молодых кустарников и растений, словно предназначенных расти вместе с ним. Осматриваясь вокруг, она невольно думала о том, в каком богатстве рожден этот ребенок, ибо почти все, что мог окинуть взор, со временем должно было принадлежать ему. Как хотелось, чтобы он и вырос на глазах у своего отца, своей матери и оправдал радостно возрожденный союз между ними.

Оттилия сознавала все это столь отчетливо, что будущее становилось для нее действительностью и о себе она совершенно забывала. Под этим ясным небом, под этими яркими солнечными лучами ей вдруг как-то сразу сделалось ясно, что ее любовь может стать совершенной, только став бескорыстной, и временами ей даже казалось, что она уже достигла такой высоты. Она желала только блага своему другу, она считала себя в силах отказаться от него, даже никогда не видеться с ним, лишь бы знать, что он счастлив. Но одно она твердо решила: никогда не принадлежать другому.

В замке позаботились о том, чтобы осень не уступила роскошью весне. Все так называемые летники, все, что продолжает цвести осенью и дерзко развивается наперекор холодам, было посеяно в изобилии, и астрам всевозможных сортов предстояло раскинуться звездным покровом на поверхности земли.

## ИЗ ДНЕВНИКА ОТТИЛИИ

Мы заносим в наши дневники удачную мысль, где-нибудь прочитанную, или нечто примечательное, рассказанное при нас. Но если бы мы в то же время не жалели труда и выбирали из писем наших друзей любопытные замечания, своеобразные суждения, брошенные мимоходом остроумные слова, мы бы очень обогатились. Письма сохраняют, чтобы никогда их больше не перечитывать: в конце концов их уничтожают из осторожности, и так безвозвратно исчезает самое прекрасное, самое непосредственное дыхание жизни для нас и для других. Я решила избежать этого упущения.

Опять повторяется сначала сказка каждого года. Теперь мы, слава богу, читаем самую приятную ее главу. Фиалки и ландыши — как бы эпиграфы и виньетки к ней. Мы всегда радуемся, раскрывая ее в книге жизни.

Мы браним нищих, особенно же несовершеннолетних, когда они на улицах просят милостыни. Но разве мы не замечаем, что они сразу находят себе дело, как только есть чем заняться? Едва успеет природа раскрыть свои благодатные сокровища, а дети уже тут как тут и принимаются за какую-нибудь работу; никто из них уже не нищенствует, каждый протягивает тебе букет; он собрал его, пока ты еще спал, и просящий смотрит на тебя так же приветливо, как и его приношение. Никто не кажется жалок, если хоть отчасти чувствует себя вправе требовать.

И почему это год бывает порою таким коротким, а порою таким долгим, почему он кажется таким коротким, а в воспоминаниях — такой долгий? Так было с минувшим годом, и нигде я так остро не чувствую, как в саду, насколько тесно переплетаются преходящее и долговечное. И все же не бывает ничего столь мимолетного, что не оставило бы чего-либо подобного себе.

Мы миримся и с зимою. Все кажется просторнее, когда деревья стоят перед нами призрачные и прозрачные. Они — ничто, но ничего и не заслоняют от нас. А стоит только появиться почкам и бутонам, как нам уже не терпится — скорее бы все покрылось листвою, пейзаж ожил бы, а дерево приняло отчетливый образ.

Все совершенное в своем роде должно стать выше своего рода, оно должно стать чем-то другим, несравнимым. В иных звуках соловей еще остается птицей, потом он подымается над своим классом и, кажется, хочет показать всем пернатым, что значит по-настоящему петь.

Жизнь без любви, вдали от любимого — не более как *comédie a tiroirs*[4], плохая пьеса с выдвигаемыми ящиками. Выдвигаешь один ящик за другим, задвигаешь и спешишь перейти к следующему. Все хорошее и значительное, что еще попадает здесь, едва связано одно с другим. Всякий раз надобно начинать сызнова, а всякий раз хотелось бы и кончить.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Что до Шарлотты, то она бодра и здорова. Она радуется на крепкого мальчика, который одним своим видом многое обещает и ежечасно занимает ее взор и душу. Благодаря ему она по-новому вступает в связь с миром и со своими владениями; прежняя деятельность пробуждается в ней; куда она ни взглянет, она видит, как много сделано в минувшем году, и радуется созданному. Вдохновленная каким-то особым чувством, она с Оттилией и ребенком подымается к дерновой хижине, кладет дитя на столик, словно на домашний алтарь, и, видя два пустых сиденья, вспоминает о прошлом, и новая надежда зарождается в ее сердце — для нее и для Оттилии.

Молодые девушки порой скромно оглядываются на того или другого юношу, втайне спрашивая себя, хотели бы они выйти за него замуж, но тот, кто должен заботиться о судьбе дочери или питомицы, окидывает взглядом более широкий круг. Так было сейчас и с Шарлоттой, которой брак Оттилии с капитаном не казался невозможным, — ведь сживали они когда-то рядом в этой хижине. Ей не осталось неизвестным и то, что виды на выгодную женитьбу для него исчезли.

Шарлотта поднималась по дорожке, Оттилия несла ребенка за ней. Шарлотта предалась разнообразным думам. Бывает кораблекрушение и на суше; скорее оправиться после него, восстановить свои силы — прекрасно и достойно хвалы. Ведь вся жизнь основана на выигрышах и потерях. Кто не строил планов и не наталкивался на препятствия! Как часто выбираешь одну дорогу, а потом отклоняешься от нее! Как часто мы отвлекаемся от твердо намеченной цели, чтобы достичь другой, высшей! У путешественника, к величайшей его досаде, в дороге ломается колесо, но вследствие этой докучной случайности он завязывает приятнейшие знакомства, отношения, оказывающие влияние на всю его жизнь. Судьба исполняет наши желания, но на свой лад, чтобы дать нам многим больше того, что мы пожелали.

Занятая такими или сходными размышлениями, Шарлотта поднялась до нового здания на вершине, где и нашла полное им подтверждение, ибо окрестности оказались гораздо красивее, чем можно было вообразить. Все чужеродное, мелкое было удалено, и то прекрасное, чем пейзаж был обязан природе и что создало время, выступило во всей своей чистоте и бросалось в глаза; кругом зеленели молодые посадки, предназначавшиеся для заполнения кое-каких пустот и для создания живописной связи между отдельными частями местности.

Самый дом был уже почти пригоден для жилья; вид из окон, особенно из верхних комнат, поражал чрезвычайным разнообразием. Чем дольше вы смотрели, тем больше прекрасного открывалось вам. Какие эффекты должны здесь были возникать в зависимости от времени дня, от лунного или солнечного освещения! Очень хотелось остаться здесь; и в Шарлотте быстро проснулось желание снова строить и созидать — теперь, когда она видела, что вся черновая работа уже сделана. Потребовались еще только столяр, обойщик, маляр, обходившийся трафаретом да легкой позолотой, и в скором времени здание было закончено. Вскоре были оборудованы погреб и кухня, ибо на таком расстоянии от замка все необходимое надо было иметь под рукой. Обе женщины с ребенком поселились теперь

наверху, и из этого место пребывания, как из нового центра, им открылись ряд новых путей для прогулок. Здесь, на высоте, при чудесной погоде они наслаждались чистым вольным воздухом.

Любимой прогулкой Оттилии, в одиночестве или с ребенком, был спуск к тому месту, где оставляли привязанной одну из лодок, предназначенных для переправы через озеро. Порою она развлекалась катаньем по воде, но одна, без ребенка, так как Шарлотта за него беспокоилась. Оттилия не пропускала ни одного дня, чтобы не зайти в замковый сад к садовнику и принять дружеское участие в его заботах о множестве саженцев, которые теперь все были выставлены на свежий воздух.

В это прекрасное время года Шарлотте пришлось весьма кстати приезд одного англичанина, который познакомился с Эдуардом в путешествии, позднее несколько раз встречался с ним и теперь пожелал осмотреть прекрасный парк, так как слышал о нем столько хорошего. Он привез рекомендательное письмо от графа, а сам представил Шарлотте в качестве своего спутника молчаливого, но очень любезного человека. То в обществе Шарлотты и Оттилии, то с садовником и егерями, часто со своим спутником, а порою и в одиночестве он бродил по окрестностям, и из его замечаний можно было усмотреть, что он любитель и знаток таких парков, да и сам, наверно, не раз занимался их устройством. Несмотря на свой пожилой возраст, он весело принимал участие во всем, что может украсить жизнь и сделать ее более содержательной.

В его обществе женщины стали по-настоящему наслаждаться всем, что их окружало. Его опытный глаз со всею свежестью воспринимал каждое впечатление, и созданное здесь тем более доставляло ему удовольствие, что этой местности он раньше не знал и едва был в состоянии различить то, что здесь было сделано человеком, от того, что создала сама природа.

Можно сказать, что благодаря его замечаниям парк словно рос и обогащался. Он уже сейчас указал на то, что обещают дать со временем новые, подрастающие посадки. От него не ускользнуло ни одно место, где можно было оттенить или заново вызвать какой-либо живописный эффект. Тут он отмечал ручеек, который, если его расчистить, мог бы стать украшением поросшего кустарником участка, там — грот, из которого, если его расширить, получился бы желанный приют отдохновения; стоило только срубить несколько деревьев, как открылся бы вид на великолепную группу скал. Он поздравлял хозяев с тем, что им еще есть над чем потрудиться, и уговаривал не торопиться с этим, а приберечь удовольствие творить и устраиваться на будущие годы.

Он никому не был в тягость, а в остальное время, не занятое прогулками и разговорами, большую часть дня занимался тем, что с помощью переносной камеры-обскуры снимал живописные виды парка и перерисовывал их, собирая, таким образом, в своих путешествиях богатые плоды для себя и для других. Это он делал уже несколько лет во всех чем-либо примечательных местностях и составил себе таким способом приятную и преинтересную коллекцию. Он показал дамам целый портфель, который возил с собой, и развлек их как самими рисунками, так и объяснениями к ним. Им было отрадно, что, не выходя из своего уединения, они с таким удобством могут странствовать по всему свету и смотреть на проносящиеся перед ними побережья и гавани, моря и реки, города, замки и многие другие местности, знакомые из истории.

При этом для каждой из них привлекательно было разное: для Шарлотты представляли общий интерес исторические достопримечательности; внимание же Оттилии останавливали главным образом те местности, о которых любил рассказывать Эдуард, где он охотно бывал, куда часто возвращался, ибо у каждого человека бывает пристрастие к тем или иным — близким или отдаленным — местам, которые его притягивают, волнуют, становятся ему особенно дорогими по воспоминаниям о первом впечатлении, или вследствие определенных обстоятельств, или по привычке, наиболее отвечая ея склонностям.

Она поэтому спросила лорда, где ему нравится больше всего и где бы он поселился, если бы ему был предложен выбор. Он не затруднился указать на целый ряд живописных мест и с тем особым акцентом, что отличал его французскую речь, с удовольствием и не торопясь поведал о том, отчего они ему особенно дороги и памяты.

А на вопрос, где теперь его обычное местопребывание и куда ему всего приятнее возвращаться, он, нисколько не колеблясь, дал следующий неожиданный для дам ответ:

— Я теперь привык чувствовать себя везде как дома и в конце концов нахожу как нельзя более удобным, чтобы другие для меня строили, насаждали и занимались домашним хозяйством. В мои собственные владения меня не тянет — отчасти по причинам политическим, но больше потому, что сын мой, для которого я, в сущности, трудился и устраивал, надеясь все это передать ему и в то же время насладиться всем этим вместе с ним, ко всему совершенно равнодушен и теперь отправился в Индию с намерением, как и многие другие, шире пользоваться жизнью, а то и промотать ее. Конечно, мы делаем слишком много затрат на приготовления к жизни. Вместо того чтобы с самого же начала удовлетвориться умеренными благами, мы все больше стремимся к широте, создавая себе тем самым все большие неудобства. Кто наслаждается теперь моими строениями, моим парком, моими садами? Не я, даже не мои родные, а какие-то приезжие, любопытные, беспокойные путешественники. Даже и при больших средствах мы всегда только наполовину чувствуем себя дома, особенно в деревне, где нам недостает многого, к чему мы привыкли в городе. Нет под рукой любимой книги, не захватили с собой как раз того, что нам сейчас нужнее. Мы все время устраиваемся на домашний лад только затем, чтобы слова уехать, и если мы это делаем не по воле или прихоти, то нас принуждают к тому обстоятельства, страсти, случайности, необходимость и мало ли что еще...

Лорд и не подозревал, как глубоко задела его слова обеих слушательниц. Да и разве не подвергается такой опасности тот, кто высказывает хотя бы самое общее суждение даже в кругу людей, обстоятельства которых ему хорошо известны! Для Шарлотты такие случаи — уколы, даже от руки людей доброжелательных и благомыслящих, не были новы, к тому же жизнь ее отчетливо представлялась ей очаям, что она не испытывала особенной боли, когда кто-нибудь необдуманно и неосторожно заставлял ее бросить взгляд на то или иное безрадостное зрелище. Оттилию же, которая в своей еще полусознательной юности больше предчувствовала, чем видела, которая могла, вернее, должна была отвращать свои взоры от того, чего ей не хотелось и не полагалось видеть, — Оттилию эти искренние речи повергли в ужасное состояние; словно кто-то могучим взмахом разорвал утешительный покров, и ей представилось, что все делавшееся до сих пор для дома и угодий, для сада, парка и всей окрестности, было совершенно напрасно, ибо тот, кому все это принадлежит, этим не пользуется; он, как нынешний гость, вытеснен из дому самыми близкими и родными людьми и принужден скитаться по свету, подвергаясь к тому же величайшим опасностям. Она привыкла слушать и молчать, но на этот раз она была во власти мучительнейшего переживания, которое скорее усиливали, чем смягчали, все дальнейшие речи гостя, продолжавшего говорить, как всегда, остроумно, оригинально и

обдуманно.

— Теперь, как мне кажется, — продолжал он, — я нахожусь на правильном пути, потому что все время рассматриваю себя как путешественника, который от многого отказывается, чтобы многим насладиться. Я привык к переменам, более того — они стали для меня потребностью, подобно тому как в опере мы вечно ждем новых декораций именно потому, что их и без того много. Я знаю, чего могу ждать от самой лучшей и самой плохой гостиницы; как бы она ни была хороша или плоха, я нигде не нахожу того, к чему привык, и в конце концов оказывается, что это одно и то же — полностью зависеть от необходимой привычки или полностью же от произвольной случайности. Теперь я, по крайней мере, могу не раздражаться из-за того, что какую-нибудь вещь потеряли или положили не на место, что моя постоянная комната непригодна для жилья и ее нужно приводить в порядок, что разбили мою любимую чашку и мне потом долгое время неприятно пить из другой. От всего этого я теперь избавлен, и если загорается дом, где я остановился, то мои слуги спокойно укладывают вещи, и мы уезжаем со двора и из города. И при всех этих выгодах, если в точности расчесть, оказывается, что за год я истратил не более, чем истратил бы дома.

Слушая эти слова, Оттилия все время видела перед собой Эдуарда; как, терпя лишения и тяготы, он так же блуждает теперь по неизведанным дорогам, как с опасностью для жизни он ночует под открытым небом и среди стольких превратностей и непрерывного риска приучает себя жить без родины и без друзей, отбрасывая все, лишь бы ничего не терять. К счастью, общество на некоторое время разошлось. Оттилия могла выплакаться наедине. Никогда скорбь, тяжкая и гнетущая, так не мучила ее, как эта ясность, которую она еще более стремилась прояснить: ведь так обычно и бывает, что мы начинаем сами мучить себя, раз только что-нибудь нас мучит.

Положение Эдуарда представлялось ей таким плачевным, таким жалким, что она решила во что бы то ни стало сделать все для возвращения его к Шарлотте, скрыть где-нибудь в уединении и безмолвии свою скорбь и свою любовь и заглушить их, отдавшись какой-либо деятельности.

Между тем спутник лорда, человек спокойный, разумный и в высшей степени наблюдательный, заметил промах, допущенный в разговоре, и указал своему другу на сходство положений. Тот ничего не знал об обстоятельствах семьи Эдуарда, тогда как его спутник, которого в путешествиях, собственно, ничто так не занимало, как подобные необычные случаи, возникающие на почве естественных или искусственных отношений, вызванных столкновением закона и произвола, рассудка и разума, страсти и предубеждения, успел и раньше, — более же подробно за время своего пребывания в этом доме, — ознакомиться со всем, что здесь произошло и что происходило.

Лорду было очень жаль, но он не смутился.

— Чтобы никогда не попадать в такое положение в обществе, надо было бы всегда молчать; ведь не только серьезные мысли, но и самые пошлые суждения могут столь же резким образом задеть присутствующих. Постараемся, — сказал он, — заглазить это нынче вечером и воздержимся от всяких разговоров на общие темы. Расскажите-ка дамам какой-нибудь занимательный и поучительный анекдот, какую-нибудь историю из числа тех, которыми вы во время нашего путешествия обогатили вашу память и ваш портфель.

Однако, несмотря на лучшие намерения, приезжим и на сей раз не удалось развлечь приятельниц невинной беседой. Ибо спутник лорда, возбудив их внимание и самое живое участие целым рядом необычайных, поучительных, веселых, трогательных и страшных историй, решил заключить рассказом о происшествии, правда, необычайном, но мирном, сам не подозревая, как оно близко сердцу его слушательниц.

## СОСЕДСКИЕ ДЕТИ

Новелла

Двое детей из двух живших по соседству почтенных семейств, мальчик и девочка, по своему возрасту вполне подходили для того, чтобы впоследствии стать мужем и женой; в надежде на такое будущее они воспитывались вместе, и родители уже радовались предстоящему браку. Но весьма скоро обнаружилось, что вряд ли это намерение осуществится: между этими двумя превосходными натурами стала проявляться какая-то странная вражда. Быть может, они были слишком во всем похожи — оба сосредоточенные в самих себе, точно знающие, чего хотят, твердые в своих решениях; каждый в отдельности они пользовались любовью и уважением своих сверстников, но, бывая вместе, всегда оказывались соперниками; каждый созидал сам для себя и разрушал созданное другим, не соревнуясь в стремлении к общей цели, а всегда борясь за один и тот же предмет; обычно добронравные и любезные, они питали только злобу и даже ненависть друг к другу.

Эти странные отношения дали себя знать еще в пору детских игр и обострялись с годами. По примеру мальчиков, которые играют в войну и, разделившись на два лагеря, вступают друг с другом в сражение, упрямая и смелая девочка стала во главе одного из отрядов и сражалась против другого с такой отвагой и таким ожесточением, что обратила бы его в позорное бегство, если б ее всегдашний соперник не держался весьма мужественно и в конце концов не обезоружил свою соперницу и не взял ее в плен. Но тут она защищалась с таким упорством, что он, опасаясь за свои глаза и в то же время боясь ее поранить, должен был сорвать с себя шелковый шейный платок и связать ей руки за спиной.

Этого она никогда не могла ему простить и в дальнейшем предпринимала столь коварные попытки навредить мальчику, что родители, уже давно обратившие внимание на столь необычное страстное ожесточение, сговорившись, решили разлучить эти два враждебные друг другу существа и отказаться от светлых надежд.

Мальчик, попав в новую среду, вскоре показал себя с наилучшей стороны. Всякое учение шло ему впрок. Покровителя и собственная склонность предопределили его к военной карьере. Всюду, где бы он ни находился, его любили и уважали. Одаренный превосходными качествами, он, казалось, мог действовать только на благо, на радость другим и, ясно сам того не сознавая, был весьма счастлив, что избавился от единственного соперника, данного ему природой.

В девочке же сразу произошла резкая перемена. С годами благодаря воспитанию и, что всего важнее, повинуюсь какому-то внутреннему

чувству она отошла от буйных игр, которым до тех пор предавалась вместе с мальчиками. Вообще ей словно чего-то не доставало, вокруг нее не было ничего, достойного ее ненависти, но любви ее еще никто не заслужил.

Молодой человек, постарше ее бывшего соперника-соседа, родовитый, богатый и с положением в обществе, всеми любимый, пользовавшийся любовью и особым благоволением женщин, почувствовал к ней непреодолимое влечение. Первый раз в жизни за нею ухаживал друг, влюбленный, поклонник. Предпочтение, какое он оказывал ей перед другими, которые были и старше и образованнее ее, блистали ярче и могли притязать на большее, ей чрезвычайно льстило. Его постоянная внимательность, чуждая всякой назойливости, его преданность и готовность оказать поддержку в разных неприятных обстоятельствах, его желание видеть ее своей женой, высказанное родителям, правда, в виде скромной надежды на будущее, ибо она была еще так молода, — все это расположило ее к нему, а привычка и внешняя сторона их отношений, отныне получивших признание света, тоже сделали свое. Ее так часто называли невестой, что наконец и она стала видеть в себе невесту, а потому, когда она обменялась кольцом с человеком, который так давно уже считался ее женихом, ни она, ни кто бы то ни был другой не думали, что их любовь еще нуждается в испытании.

Спокойное течение вещей не было ускорено даже и помолвкой. Обе стороны предоставили всему идти своим чередом; они радовались совместной жизни, и было решено насладиться этой дивной порой, как весною, как началом жизни более строгой, предстоящей в будущем.

Между тем отсутствовавший юноша с успехом завершил свое образование, достиг заслуженной ступени на своем жизненном поприще и приехал в отпуск навестить родных. Случилось само собою, что он снова хотя и естественным, по странным образом оказался на пути своей прекрасной соседки. В последнее время она жила только дружелюбными, семейственными чувствами, как подобает невесте, и в согласии со всем ее окружающим считала себя счастливой и в известном смысле была счастлива. Но вот впервые после долгого перерыва снова что-то стало ей поперек дороги. Это «что-то» не было ей ненавистно, она уже стала неспособна ненавидеть; более того, детская ненависть, которая, в сущности, была не чем иным, как смутным признанием внутренних достоинств соперника, перешла теперь в радостное изумление, в веселое любованье, в любознательную откровенность, в сближение, наполовину вольное, наполовину невольное и все же неизбежное, причем все это было взаимно. Долгое отсутствие давало повод для долгих бесед. Даже их детское неразумие служило теперь, когда они поумнели, предметом шутливых воспоминаний; казалось, они хотели загладить былую задорную ненависть хотя бы дружелюбным и внимательным обхождением, кап будто ожесточенное взаимное непонимание в прошлом требовало отныне столь же решительного взаимного признания.

Что до него, то он ни в чем не преступал должных пределов благоразумия. Его положение, знакомства, честолюбие, виды на будущее занимали его настолько, что дружеское расположение очаровательной невесты он принимал с благодарностью и удовольствием как некое добавление ко всему остальному, не видя в этом ничего необычайного и не имея намерения отнимать ее у жениха, с которым у него к тому же были наилучшие отношения.

Совсем иное творилось в ее душе. Она словно пробудилась от сна. Борьба ее с юным соседом была первой ее страстью, и эта упорная борьба была не чем иным, как упорной, как бы прирожденной любовью, только принявшей видимость неприязни. Да и теперь, в воспоминаниях, ей казалось, будто она всегда его любила. Ее злые затеи того времени, когда она держала оружие в руках, вызывали у нее улыбку; она уверяла себя, что испытала приятнейшее чувство, когда он ее обезоружил, а все, что она предпринимала ему во зло и во вред, представлялось ей теперь лишь невинным средством привлечь его внимание. Она кляла тягучую дремотную привычку, по вине которой ее женихом мог стать человек столь незначительный; она изменилась, изменилась вдвойне, изменилась и в настоящем и в прошлом — в зависимости от того, как на это посмотреть.

Если бы кто-нибудь мог разобраться в ее чувствах, которые она таила в себе, приобщиться к ним, то он бы не осудил ее, ибо жених и вправду не выдерживал сравнения с соседом, стоило их увидеть друг возле друга. Если первому нельзя было отказать в известном доверии, то второму можно было верить вполне; если первого хотелось иметь собеседником, то во втором вы были бы рады увидеть товарища; а стоило подумать о каком-нибудь труднейшем испытании, об обстоятельствах чрезвычайных, то в первом можно было бы слегка усомниться, тогда как второй внушал несомненную уверенность. Женщины обладают особым природным чутьем, которым угадывают подобные различия, и для развития его в себе находят и основания, и частые поводы.

Чем дольше прекрасная невеста питала в тайнике своей души подобные чувства, чем реже постороннему представлялся повод сказать ей что-нибудь в пользу жениха, выразить то, на что, казалось, наводило, чего требовали обстоятельства и долг, к чему, как будто бесповоротно, взывала непреложная необходимость, тем больше сердце красавицы подчинялось только этой исключительной страсти; в то время как, с одной стороны, ее неразрешимыми узами связывали отношения светские и семейные, жених и данное ему слово, то, с другой, честолюбивый юноша вовсе не делал тайны из своих мыслей, планов и намерений, держал себя с ней как преданный, по даже не слишком нежный брат и уже заводил речь о своем близком отъезде, — в ней словно вновь проснулся дух ее детских лет, со всем своим коварством и ожесточением, и теперь, на более высокой жизненной ступени, он готовился, негодуя, проявить себя более действенным, и даже пагубным, образом. Она решила умереть, чтобы наказать некогда ненавистного, а теперь так страстно любимого человека за его безучастность и, раз уж ей не придется обладать им, навеки запечатлеться в его воображении, в его раскаянии. Она хотела, чтобы ее мертвый лик неотступно стоял перед ним, чтобы он упрекал себя в том, что не понял, не распознал, не оценил ее чувств.

Этот страшный бред всюду преследовал ее. Она всячески скрывала его, и, хотя другие ей удивлялись, все же никто не был настолько проницателен и умен, чтобы распознать истинную причину ее смятения.

Тем временем друзья, родственники, знакомые изощрялись в устройстве всякого рода празднеств. Не проходило дня, чтобы не было затеяно что-нибудь новое и неожиданное. В окрестностях не оставалось почти ни одного живописного местечка, которое не было бы украшено для приема многочисленных веселых гостей. И наш юноша перед своим отъездом тоже решил не отстать от других и пригласил молодую чету с близкими родственниками на увеселительную поездку по реке. Гости поднялись на большое красивое, богато украшенное судно, одну из тех яхт, где имеется небольшая Зала и несколько кают, что делает возможным пользоваться и на воде удобствами суши.

Яхта под звуки музыки неслась по широкой реке; общество скрылось от дневной жары в каюты, развлекаясь салонными и азартными играми. Молодой хозяин, никогда не умевший сидеть без дела, сел за руль, сменив старого кормчего, который тут же заснул подле него, и

бодрышему требовалась теперь вся его осмотрительность, так как он приближался к месту, где русло реки было сжато двумя островами, берега которых плоские и покрытые галькой, то с одной, то с другой стороны врезались в воду и делали фарватер опасным. Заботливый и зоркий рулевой чуть не поддался соблазну разбудить кормчего, но понадеялся на себя и направил судно к узкому проливу. В это мгновение на палубе появилась его прекрасная противница с венком на голове. Она сняла его и бросила рулевому.

— Возьми себе на память! — крикнула она.

— Не мешай мне, — крикнул он ей в ответ, подхватывая венок. — Мне нужны сейчас все мои силы, вес мое внимание.

— Я больше не помешаю тебе, — крикнула та. — Ты меня больше не увидишь! — с этими словами она поспешила на носовую часть яхты и бросилась в воду. Раздались голоса: «Спасите! спасите! она тонет!» Он был в страшнейшем замешательстве. От шума просыпается старый кормчий, хочет схватить руль, а молодой — передать его; но не успели они поменяться местами, как судно садится на мель; и в то же мгновение юноша, скинув верхнее платье, кидается в воду и плывет вслед за прекрасной своей противницей.

Вода — стихия, дружелюбная для того, кто с нею знаком и умеет с ней обращаться. Она понесла его, искусный пловец, оставался ее господином. Вскоре он настиг красавицу, увлекаемую потоком; он схватил ее, поднял над водой и поплыл; их быстро уносило вперед, пока острова и камни не остались далеко позади и река вновь не приняла своего плавного широкого течения. Только тут он пришел в себя, опомнился после первого потрясения, заставившего его действовать чисто машинально, ни в чем: не давая себе отчета; подняв голову над водой, он огляделся и поплыл, насколько хватало сил, к плоскому, поросшему кустарником берегу, который легко и удобно вдавался в реку. Здесь он положил на землю свою прекрасную ношу, но она, казалось, уже не дышала. Юноша был в отчаянии, но тут в глаза ему бросилась тропинка, убегавшая в кустарник. Снова взвалив на себя дорогую ношу, он вскоре заметил уединенную хижину, к которой и направился. Там оказались добрые люди — молодая супружеская чета. В беде, в несчастье люди быстро находят нужные слова. Все, что он догадался потребовать, было ему предложено. Живо развели яркий огонь, постлали на ложе шерстяные одеяла, принесли шубы, меха и все, что было теплого. Стремление спасти взяло верх над всеми иными соображениями. Не было упущено ничего, чтобы вернуть к жизни прекрасное, полуокоченевшее нагое тело. Это удалось. Она открыла глаза, увидела друга, обвила его шею своими дивными руками. Долго она его не выпускала; слезы потоком хлынули из ее глаз и довершили выздоровление.

— Неужели, — воскликнула она, — ты покинешь меня теперь, когда я тебя нашла?

— Никогда! — воскликнул он. — Никогда!

И, сам уже не зная, ни что он говорит, ни что он делает, прибавил:

— Но только береги себя, береги, подумай о себе — ради себя самой и ради меня.

Теперь она подумала о себе и только тут заметила, в каком она виде. Стыдиться своего любимого, своего спасителя она не могла, но она рада была отпустить его, чтобы он позаботился о себе: ведь на нем все было мокрое.

Молодые муж и жена, посоветовавшись друг с другом, предложили юноше и красавице свои свадебные наряды, висевшие тут же в достаточной сохранности, чтобы с ног до головы одеть молодую пару. Скоро оба искателя приключений были не только одеты, но и разряжены. Вид у них был очаровательный, и когда они, снова сойдясь вместе, с восхищением взглянули друг на друга, то в порыве неудержимой страсти, но все же и улыбаясь своему маскараду, устремились друг другу в объятия. Пыл молодости и одушевление любви в несколько минут восстановили их силы; не доставало только музыки, чтобы они пустились танцевать.

Перенестись из воды на сушу, от смерти к жизни, из семейного круга в лесную глушь, от отчаяния к блаженству, от равнодушия к любви, к страсти, перенестись в мгновение ока — голова не в состоянии была все это вместить, она готова была разорваться на части или помутиться. Чтобы вынести такую неожиданность, на помощь должно прийти сердце.

Всецело поглощенные друг другом, они лишь спустя некоторое время подумали о том, какой страх, какую тревогу должны были испытывать оставленные ими спутники, да и сами они едва могли без тревоги, без страха подумать о том, как они снова встретятся с ними.

— Бежать ли? Скрыться ли? — спросил юноша.

— Останемся вместе, — сказала она, бросаясь ему на шею.

Крестьянин, узнавший от них о корабле, севшем на мель, поспешил без дальнейших расспросов к берегу. Яхта благополучно плыла по реке; снять ее с мели стоило великого труда. Плыли наудачу, в надежде найти потерянных. Поэтому, когда крестьянин знаками и криками привлек к себе внимание плывущих, указав им на место, где удобно было пристать, и продолжал кричать и подавать знаки, судно повернуло к берегу. Но что за зрелище ожидало их, когда они причалили! Родители помолвленных первыми устремились на берег; любящий жених едва не лишился рассудка. Не успели узнать, что милые дети спасены, как они уже сами вышли из кустов в странном своем наряде. Их не узнали, пока они не подошли совсем близко.

— Кого мы видим? — воскликнули матери.

— Что мы видим? — воскликнули отцы.

Спасенные упали перед ними на колени.

— Вы видите детей ваших, — воскликнули они, — единую чету!

— Простите нас! — воскликнула девушка.

— Дайте нам ваше благословение! — воскликнул юноша.

— Благословите нас! — воскликнули оба среди всеобщего изумленного безмолвия.

— Благословите! — раздалось в третий раз, и кто бы посмел отказать им в благословении!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рассказчик сделал паузу или, вернее, уже закончил повествование, когда заметил, что Шарлотта чрезвычайно взволнована; она даже встала и, извинившись, вышла из комнаты. Повесть эта была ей знакома. Описанный случай в самом деле произошел между капитаном и девушкой, его соседкой, правда, не совсем так, как это рассказал англичанин, но в главных своих чертах события не были искажены и только в частности несколько развиты и приукрашены, как обычно бывает с подобными историями, сперва прошедшими через уста толпы, а потом через фантазию рассказчика, одаренного вкусом и остроумием. В конце концов все оказывается и так и не так, как оно было.

Оттилия по просьбе обоих гостей последовала за Шарлоттой, и тогда лорд, в свою очередь, заметил, что, пожалуй, и на этот раз был допущен какой-то промах и рассказано, очевидно, нечто знакомое хозяевам или близко задевшее их.

— Надо нам остерегаться, — прибавил он, — как бы не сделать еще что-нибудь худшее. Мы, кажется, принесли мало радости хозяйкам в благодарность за все то доброе и приятное, что видели здесь; надо нам найти приличный повод, чтобы скорее распрощаться.

— Признаюсь, — ответил его спутник, — меня здесь удерживает одно обстоятельство, не выяснив которого подробнее, мне бы не хотелось уезжать из этого дома. Вчера, когда мы шли по парку с камерой-обскурой, вы, милорд, были слишком заняты выбором живописного места и не заметили, что происходит рядом. Вы свернули в сторону от главной аллеи, чтобы пройти к одному мало посещаемому месту близ озера, откуда открывался прелестный вид на противоположный берег. Оттилия, которая была с нами, не решилась идти дальше и попросила переехать с ней туда на лодке. Я согласился и любовался ловкостью прекрасной лодчицы. Я заверил ее, что после Швейцарии, где очаровательнейшие девушки тоже заступают место перевозчика, мне уже не случалось с таким удовольствием качаться на волнах, но я все же не мог удержаться и спросил, почему она не захотела идти боковой дорожкой, а в ее нежелании и вправду заметна была какая-то робость и тревога.

— Если вы надо мной не будете смеяться, — вполне дружелюбно ответила она, — то я постараюсь вам кое-что сказать по этому поводу, хотя и для меня здесь есть какая-то тайна. Всякий раз, как я ступала на эту боковую дорожку, меня охватывал необыкновенный трепет, которого я больше нигде не испытывала и который не умею себе объяснить. Вот почему я избегаю подвергаться этому ощущению, тем более что вслед за тем у меня начинается боль в левом виске, от которой я вообще иногда страдаю.

Мы причалили, Оттилия занялась разговором с вами, а я тем временем осмотрел место, которое она мне издала отчетливо указала. И каково было мое удивление, когда я там обнаружил весьма явные признаки каменного угля, убедившие меня в том, что, если бы здесь произвели изыскания, в земле можно было бы найти богатые залежи.

Прошу прощения, милорд, я вижу — вы улыбаетесь, и прекрасно знаю, что вы, как мудрый человек и друг, лишь снисходите к тому страстному вниманию, с которым я отношусь к этим вещам, возбуждающим в вас одно недоверие, но для меня невозможно уехать отсюда, пока я не произведу над этой милой девушкой опыт с качанием маятника...

Не бывало случая, чтобы лорд, когда речь касалась этого предмета, не повторял своих контраргументов, которые спутник его выслушивал скромно и терпеливо, оставаясь, однако, ври собственном мнении и предрешенных намерениях. Он, в свою очередь, утверждал, что если подобные опыты удаются не над каждым, нет все же основания от них отказываться; напротив, тем серьезнее и основательнее следует изучить это дело, ибо здесь, наверно, должны обнаружиться ныне еще скрытые от нас всевозможные отношения и формы сродства между веществами неорганическими, между ними и веществами органическими и, наконец, этих последних между собою.

Он уже разложил свой набор золотых колец, кусков железного колчедана и других металлов, всегда находившихся при нем в изящной шкатулке, и начал в виде пробы опускать над одними металлами другие, подвешенные на нитке. При этом он сказал:

— Ничего не имею против злорадства, которое читаю на вашем лице, милорд, злорадства по поводу того, что у меня и ради меня ничто не приходит в движение. Но то, что я делаю, это только предлог. Когда вернутся дамы, им будет любопытно, каким странным делом мы тут заняты.

Женщины вернулись. Шарлотта сразу же сообразила, что это такое.

— Я об этих вещах кое-что слышала, — сказала она, — но никогда не видала их действия. Раз уж все у вас наготове, позвольте попробовать, не удастся ли мне.

Она взяла нитку в руку; к опыту она отнеслась с полной серьезностью и нить держала твердо, без всякого волнения, но ни малейшего колебания не было заметно. Очередь была за Оттилией. Она еще спокойнее, непринужденнее, безотчетнее держала маятник над металлами, лежавшими на столе. Но в тот же миг маятник словно подхватило мощным вихрем, и он в зависимости от того, что клали на стол, стал вертеться то в одну, то в другую сторону, чертя то круги, то эллипсы или же начиная раскачиваться по прямой линии, отвечая всем ожиданиям гостя, даже превосходя все, что можно было ожидать.

Сам лорд был слегка озадачен, спутник же его был так доволен и увлечен, что ему все было мало и он не переставал требовать продолжения и видоизменения опытов. Оттилия любезно исполняла его желания, пока в конце концов ласково его не попросила уволить ее, так как у нее снова начинается головная боль. Он же, изумленный, даже восхищенный, с воодушевлением стал уверять ее, что совершенно вылечит ее, если она доверится его врачеванию. После короткого колебания Шарлотта, поняв, что именно

подразумевается, отклоняется, отклоняется, сделанное с благим намерением, ибо не хотела вблизи себя допускать нечто такое, против чего всегда таила боязливое предубеждение.

Гости уехали, и хотя они таким странным образом задели чувства хозяек, все же оставили по себе желание встретиться с ними когда-нибудь еще раз. Шарлотта пользовалась теперь хорошей погодой, чтобы отдать визиты по соседству, и никак не могла с этим кончить, так как все кругом, — кто с подлинным участием, кто просто в силу привычки, — до сих пор проявляли к ней особое внимание. Дома она оживала при виде ребенка, и, право же, нельзя было его не любить, о нем не заботиться. Он казался каким-то чудесным существом, чудом-ребенком, восхищая взгляд и ростом, и пропорциональным сложением, и силой, и здоровьем; что же больше всего поражало в нем, то было двойное сходство, которое все более в нем развивалось. Чертами лица и формами тела ребенок все более напоминал капитана, глаза же его все труднее было отличить от глаз Оттилии.

Под влиянием этого необычайного сродства и еще более, быть может, благодаря прекрасному чувству, врожденному женщине, которая окружает нежной любовью ребенка любимого человека, даже если он родился от другой, Оттилия заменяла мать подрастающему младенцу, или, вернее, была для него второй матерью. Если Шарлотта уходила, то Оттилия оставалась одна с ребенком и нянькой. Нанни, ревнуя ее к мальчику, на которого ее госпожа словно перенесла всю свою любовь, с недавних пор покинула ее и вернулась к своим родителям. Оттилия по-прежнему выносила ребенка на свежий воздух и совершала прогулки все более далекие. Она брала и рожок с молоком, чтобы в нужное время покормить дитя. При этом она обычно не забывала взять какую-нибудь книгу и, гуляя с ребенком на руках и занятая в то же время чтением, казалась прелестной Пенсерозой.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Главная цель похода была достигнута, и Эдуард, украшенный орденами, с почетом был уволен от службы. Он немедленно уехал в свое небольшое имение, где застал подробные известия о своих, за которыми велел установить зоркое, незаметное для них наблюдение. Тихое пристанище встретило его приветливо, так как, пока он отсутствовал, многое по его указанию было здесь изменено, исправлено и усовершенствовано, и если в усадьбе и вокруг нее не доставало простора, то это возмещалось внутренним порядком и удобствами.

Эдуард, которого более быстрое течение жизни приучило и к большей решительности, счел нужным теперь осуществить то, что успел уже достаточно обдумать. Первым делом он пригласил к себе майора. Встреча была радостной. Дружба молодости, как и кровное родство, имеют то великое преимущество, что ни ошибки, ни недоразумения, какого бы свойства они ни были, никогда не могут повредить им, оказаться непоправимыми, и прежние отношения через некоторое время вновь восстанавливаются.

Эдуард, радостно встретив друга, расспросил его прежде всего о его делах и услышал от него, как благосклонно, в полном соответствии с его желаниями, отнеслось к нему счастье. Потом Эдуард дружески, полушутя спросил, не предвидится ли и нежный союз. Майор тоном весьма серьезным ответил на это отрицательно.

— Я не могу и не считаю себя вправе скрытничать, — продолжал Эдуард, — я должен тотчас поделиться с тобой моими мыслями и намерениями. Ты знаешь, как страстно я люблю Оттилию, и, наверно, давно угадал, что только из-за нее я бросился в пламя войны. Не стану отрицать, что я желал избавиться от жизни, которая без нее не имела для меня смысла, но вместе с тем должен тебе признаться, что никогда не отчаивался вполне. Счастье с нею было так прекрасно, так желанно, что я не в силах был совершенно отказаться от него. Столько утешительных предчувствий, столько ясных предзнаменований укрепляли во мне веру, безумную мечту, что Оттилия может стать моею. Бокал с нашим вензелем брошен был в воздух, когда закладывали дом, и не разбился вдребезги, а был подхвачен на лету, и опять находится в моих руках. «Так пусть же я сам, — воскликнул я однажды после того, как провел в этом тихом приюте столько часов, полных сомнения, — пусть я сам, вместо этого бокала, стану знаменем того, возможен ли наш союз или нет. Пойду и буду искать смерти, но не как безумец, а как человек, надеющийся жить. Оттилия же пусть будет наградой, за которую я сражусь; ее я надеюсь добиться, завоевать за каждым боевым строем, в каждой траншее, в каждой осажденной крепости. Я буду творить чудеса, желая остаться невредимым, стремясь завоевать Оттилию, а не потерять ее». Такие чувства указывали мне путь, они помогали мне среди всех опасностей, но теперь я чувствую себя как человек, который достиг своей цели, преодолел все препятствия, уже ничто не преграждает мне дорогу. Оттилия моя, и все, что отделяет эту мысль от ее воплощения, для меня не существует.

— Ты одним росчерком пера, — возразил майор, — уничтожаешь все, что можно и должно бы тебе возразить, и тем не менее приходится повторять эти возражения. Вспомнить о твоих отношениях к жене во всем истинном их значении — это я предоставляю тебе самому; однако твой долг и перед ней, и перед самим собой — не забывать об этом. Но стоят мне только вспомнить, что судьбою вам дарован сын, и я чувствую себя обязанным сказать тебе, что вы навеки принадлежите друг другу, что ради этого существа вы обязаны жить вместе, чтобы вместе заботиться о его воспитании, о его будущем благополучии.

— Со стороны родителей, — возразил Эдуард, — это одно лишь самообольщение — воображать, будто их существование столь необходимо для их детей. Все живое находит пищу и поддержку, и если сын, рано лишившись отца, не может пользоваться в молодости разными удобствами и преимуществами, то, пожалуй, он от этого только выигрывает; он быстрее созревает для жизни в свете, ибо раньше понимает, что надо сообразоваться с другими, а этому, рано или поздно, мы все должны научиться. Но здесь об этом не приходится и говорить; мы достаточно богаты, чтобы обеспечить нескольких детей, а сыпать столько благ на голову одного человека — вовсе не долг наш, да это и не было бы благодеянием.

Когда майор попытался несколькими словами напомнить о достоинствах Шарлотты и ее неизменных, испытанных отношениях с Эдуардом, тот с горячностью перебил его:

— Мы поступили глупо, и это я слишком хорошо сознаю. Тот, кто, уже достигнув известного возраста, хочет осуществить желания и надежды молодости, всегда обманывает себя, ибо у каждого десятилетия в жизни человека — свое счастье, свои надежды и планы. Горе человеку, которого обстоятельства или собственное заблуждение побуждают хвататься за прошлое или будущее! Мы сделали глупость — так неужели же на всю жизнь? Неужели мы должны из-за каких-то щепетильных сомнений отказать себе в том, чего нам не запрещают нравы нашего времени? Как часто человек отрекается от своих намерений и поступков, так неужели же не сделать этого именно тут, когда речь идет о целом, а не о частном, не о том или ином условии, а обо всей совокупности жизни!



Майор не преминул столь же искусно, сколь и решительно указать Эдуарду на многообразные нити, связывающие его с женой, с обеими семьями, со светом, с его владениями, но ему не удалось вызвать в нем никакого участия.

— Все это, мой друг, — ответил Эдуард, — своим мельканием задевало мне душу; и в разгаре сражения, когда земля дрожала от несмолкающего грохота, когда пули жужжали и свистели вокруг меня и направо и налево падали мои товарищи, когда подо мной была ранена лошадь, на голове прострелена шляпа, все это всплывало передо мной и ночью при тихом свете костра, под небом, усеянном звездами. Все, чем я связан с людьми, возникало перед моим духовным взором; все это я передумал, перечувствовал, со всем этим я уже свыкался, от всего этого отрешался по многу раз, но теперь это, как видно, навсегда.

Могу ли скрыть от тебя, что в такие мгновения и ты вставал передо мной, и ты был прочно со мною связан, — да мы и связаны друг с другом с давних пор! Если я оказался в долгу перед тобою, то теперь могу вернуть его тебе с лихвою; если ты остался мне должен, то теперь ты имеешь возможность со мною рассчитаться. Я знаю, ты любишь Шарлотту, и она того заслуживает; я знаю, она к тебе равнодушна, да и как бы она не оценила твои достоинства! Прими ее из моих рук! Дай мне Оттилию — и мы тогда счастливейшие люди на земле.

— Именно потому, что ты хочешь подкупить меня такими бесценными дарами, — возразил майор, — я должен быть тем более строг и осмотрителен. Твое предложение, перед которым я почтительно склоняюсь, не облегчает дела, а скорее затрудняет его. Речь идет не только о тебе, но и обо мне, не только о судьбе, но и добром имени, о чести двух людей, доселе безупречных, которые, решаясь на поступок столь удивительный, чтобы не назвать его иначе, подвергают себя опасности явиться в глазах общества в весьма странном свете.

— Именно то, что мы были так безупречны, — возразил Эдуард, — дает нам право дать когда-нибудь повод и к упрекам. Тот, кто всей жизнью доказал, что он человек почтенный, делает почтенным и такой поступок, который, если бы его совершил другой, показался бы двусмысленным. Что до меня, то после недавних испытаний, которым я себя подверг, после трудных и опасных дел, которые совершил ради других, я чувствую себя вправе кое-что сделать и для себя. Что до тебя и Шарлотты, то предоставим вашу судьбу на волю будущего; меня же ни ты, ни кто другой не удержит от раду манного мною. Тому, кто мне протянет руку помощи, и я окажу всемерную помощь; если же меня предоставят самому себе или даже будут мне противодействовать, то я решусь на крайние меры, что бы из того ни вышло.

Майор считал своим долгом как можно дольше сопротивляться намерениям Эдуарда и применил против своего друга довольно хитрый маневр; для вида согласившись уступить ему, он заговорил о формальных и деловых подробностях, связанных с предполагаемым разводом и браками. А тут, как выяснилось, предстояло так много неприятного, сложного, неудобного, что Эдуард пришел в самое дурное расположение духа.

— Вижу, — воскликнул он наконец, — не только у врагов, но и у друзей надо приступом брать то, чего желаешь; от того, что я хочу, что мне необходимо, от этого я ни за что не отрекусь; я овладею им, и, уж конечно, скоро и решительно. Подобные отношения, я это знаю, нельзя ни уничтожить, ни создать иначе, как многое опрокинув, сдвинув с места все, что хочет оставаться в неподвижности. Размышлениями здесь делу не поможешь; для рассудка все права равны: на поднимающуюся чашу весов всегда можно положить противовес. Решайся же, мой друг, действовать ради меня и себя, ради меня и себя распутать, развязать и вновь связать все это. Пусть другие соображения тебя не останавливают; свету мы и так уже дали повод говорить о нас, он еще раз о нас поговорит, потом забудет, как забывает обо всем, что не ново, и позволит нам действовать по нашему разумению, не принимая в нас более участия.

Майору не оставалось иного выхода, как уступить Эдуарду, который смотрел на это дело как на нечто заранее и заведомо решенное, обсуждал в деталях, как все устроить, и говорил о будущем весело, даже шутливо.

Потом он снова стал серьезен и, призадумавшись, продолжал:

— Было бы преступным самообманом, если б мы тешились надеждой и ожидали, что все уладится само собой, что нами руководить и нам благоприятствовать будет случай. Так мы не спасем себя, не восстановим нашего спокойствия, да и как бы я мог найти себе утешение, раз я сам поневоле оказался во всем виноват! Ведь своей настойчивостью я убедил Шарлотту пригласить тебя к нам, да и Оттилия появилась у нас лишь вследствие этой перемены в нашем доме. Мы уже не властны над тем, что отсюда произошло, но в нашей власти все это обезвредить, обратить обстоятельства нам во благо. Твое дело — отворачиваться от тех прекрасных и радостных видов на будущее, которые я для нас всех открываю, твоё дело — навязывать мне и всем нам унылое самоотречение, поскольку ты считаешь его возможным, поскольку оно возможно вообще; но разве и в случае, если бы мы решили вернуться в прежнее состояние, нам не пришлось бы переносить всякие неприятности, неудобства, испытывать постоянную досаду и ничего хорошего, ничего отрадного из этого произойти не могло бы? Разве радовало бы тебя то блестящее положение, в котором ты сейчас находишься, если б ты не мог посещать меня, жить со мною? А ведь после того, что произошло, это все-таки было бы мучительно. Мы же с Шарлоттой, при всем нашем богатстве, оказались бы в печальном положении. И если ты вместе со светом легкомысленно считаешь, что годы и расстояние притупляют подобные чувства, изглаживают впечатления, врезавшиеся так глубоко, то дело здесь идет именно о тех годах, которые надо было бы прожить не в горе и в лишениях, а в радости и довольстве. И, наконец, самое важное: если внешние обстоятельства и наши душевные свойства еще могут нам позволить держаться выжидательно, то что? Станется с Оттилией, которой пришлось бы покинуть наш дом, лишиться в обществе нашей поддержки, влачить жалкое, плачевное существование среди проклятого холодного света! Укажи мне такое положение, при котором Оттилия могла бы быть счастлива без меня, без нас, — это будет довод более сильный, чем все остальные, довод, который если и не заставит меня согласиться с ним уступить ему, все же будет мною с готовностью рассмотрен и взвешен.

Решить эту задачу было не так-то легко; друг, по крайней мере, не нашел удовлетворительного ответа, и ему ничего не оставалось иного, как еще раз внушить Эдуарду, насколько серьезно, рискованно и даже в некотором смысле опасно положение дел, и что следует, по крайней мере, основательнейшим образом обдумать, как к нему приступить. Эдуард согласился, однако лишь при условии, что друг не покинет его прежде, чем они не придут к единодушному решению, не сделают первых шагов.

Даже вполне чужие и друг к другу равнодушные люди, прожив вместе некоторое время, предаются в конце концов взаимным душевным излияниям, и между ними неизбежно возникает известная близость. Тем более естественно, что между нашими друзьями, после того как они прожили вместе некоторое время в ежедневном и ежечасном общении, тайн уже не оставалось. Они оживляли в памяти былые годы, и майор не скрыл, что Шарлотта предназначала Эдуарду Оттилию, когда он вернулся из путешествия, и предполагала впоследствии выдать за него эту милую девушку. Эдуард, который был в восторге и в смятении от этого открытия, со своей стороны без стеснения говорил о взаимной симпатии Шарлотты и майора, изображая ее в самых ярких красках именно потому, что это было для него удобно и желательно.

Ни полностью отрицать ее, ни полностью в ней признаться майор не мог; но Эдуард тем решительнее, тем бесповоротнее укреплялся в своем мнении. Все представлялось ему как нечто не только возможное, но уже и осуществившееся. Всем: участникам оставалось лишь дать согласие на то, чего они все желали; развода, конечно, удастся добиться; вскоре за этим последует брак, и Эдуард уедет с Оттилией в путешествие.

Среди отрадных образов, какие создает наша фантазия, нет, быть может, ничего прелестнее, чем те, которые рисуют себе двое любящих, молодая супружеская чета, собираясь насладиться своей совместной жизнью во всей ее свежести и новизне среди нового, свежего для них мира, испытать и укрепить свой длительный союз в смене многообразных впечатлений. Между тем майор и Шарлотта, пользуясь неограниченными полномочиями, должны были по праву и справедливости распорядиться всем, что касается поместий, имущества и разных земных благ и все устроить ко всеобщему удовольствию. Но вот на что особенно рассчитывал Эдуард, на чем он как будто более всего настаивал: поскольку ребенок останется при матери, воспитывать мальчика должен майор, развивая его способности в соответствии со своими взглядами. Недаром ему при крещении дали их общее имя Отто.

В уме Эдуарда все это сложилось так прочно, что, спеша приступить к исполнению своих намерений, он уже не желал ждать ни одного дня. На пути к поместью они приехали в маленький городок, где у Эдуарда был свой дом, в котором он предполагал остановиться, чтобы выждать там возвращения майора. Однако он не мог пересилить себя и остаться в городе и решил еще немного проводить своего друга. Они были верхами и, увлеченные важным разговором, проехали вместе и дальше.

Вдруг они увидели вдали на холме новый дом, красные кирпичи которого впервые блеснули перед их глазами. Эдуардом овладевает страстное, непреодолимое желание: все должно быть решено сегодня же вечером. Сам он укроется в деревне, совсем поблизости; майор же со всей настойчивостью изложит дело Шарлотте, застанет ее врасплох и неожиданностью предложения заставит ее свободно и откровенно высказать свои чувства. Ибо Эдуард, который свои желания приписывал и ей, не допускал мысли, что он не идет навстречу ее горячим желаниям, и надеялся так скоро получить ее согласие потому, что сам ни с чем иным не мог быть согласен.

Он уже видел счастливый исход, радовался ему и, чтобы скорее получить желанную весть в своей засаде, уговорился с майором, что согласие будет возведено несколькими пушечными выстрелами или же, если тем временем наступит ночь, будет выпущено несколько ракет.

Майор поскакал в замок. Шарлотту он не застал; ему сказали, что теперь она живет в новом здании, в настоящее же время уехала с визитом к соседям и, вероятно, не так скоро вернется домой. Он возвратился в гостиницу, где оставил свою лошадь.

Тем временем Эдуард влекомый непреодолимым нетерпением, покинул свое убежище и прокрался в парк глухими тропинками, знакомыми лишь охотникам и рыбакам; с наступлением вечера он оказался в кустарнике возле озера, зеркальную гладь которого впервые видел столь широкой и чистой.

Оттилия в этот вечер гуляла близ озера. Она несла ребенка и, по своему обыкновению, читала во время ходьбы. Так она дошла до дубов, что у пристани. Мальчик уснул; она села, положила его подле себя и продолжала читать. Книга была одна из тех, которые притягивают к себе нежную душу и уже не отпускают ее. Она утратила представление о времени и часе и забыла, что ей предстоит еще далекий обратный путь к новому дому; она сидела, поглощенная книгой, погруженная в себя, такая очаровательная, что деревья и кусты кругом, казалось, должны бы были ожить и прозреть, чтобы любоваться ею, радоваться за нее. И вот красноватый луч заходящего солнца упал на нее сзади, позолотив ей щеку и плечо.

В парке было пусто, в окрестностях безлюдно, и Эдуард, которому удалось так далеко пробраться незамеченным, шел все дальше. Вот он выходит из кустарника около самых дубов, видит Оттилию, она — его; он бросается к ней, падает к ее ногам. Сперва они молчат, стараясь овладеть собою, потом он в немногих словах объясняет, как и зачем он здесь. Он послал майора к Шарлотте, судьба их обоих решается, может быть, в это мгновение. Он никогда не сомневался в ее любви, она, конечно, не сомневалась в нем. Он просит ее согласия. Она колеблется, он заклинает ее: хочет воспользоваться своим прежним правом и заключить ее в объятия: она показывает ему на ребенка.

Эдуард видит его и поражается.

— Великий боже! — восклицает он. — Если бы я имел повод сомневаться в моей жене, в моем друге, это дитя служило бы страшной уликой против них. Разве это не черты майора? Такого сходства я не видел никогда.

— О нет! — отвечала Оттилия. — Все говорят, что он похож на меня.

— Возможно ли? — спросил Эдуард, и в это самое мгновение ребенок открыл глаза, большие, черные, пронзительные глаза, глубокие и ласковые. Мальчик таким осмысленным взглядом смотрел на мир; он, казалось, уже знал тех, кто стоял перед ним. Эдуард кинулся на землю подле ребенка, потом склонил колени перед Оттилией.

— Да, это ты! — воскликнул он. — Эти глаза — твои! Но позволь мне глядеть в глаза только тебе. Ах! Дай мне набросить покров на тот

злополучный час, что дал жизнь этому существу. Неужели мне смущать твою чистую душу злосчастною мыслью, что муж и жена, во взаимном отчуждении, могут, прижимая друг друга к сердцу, осквернить своими страстными желаниями союз, освященный законом? Или нет: раз уж до этого дошло, раз моя связь с Шарлоттой должна быть расторгнута, раз ты будешь моею, почему бы мне этого не сказать! Почему не произнести мне жестокие слова: это дитя родилось от двойного прелюбодеяния! Оно отделяет меня от жены и ее от меня, вместо того чтобы связывать нас. Так пусть же оно свидетельствует против меня, пусть эти чудесные глаза говорят твоим, что я в объятиях другой принадлежал тебе, а ты, Оттилия, почувствуй всей душой, что эту ошибку, это преступление я могу искупить только в твоих объятиях! Что это! — воскликнул он, вскакивая с места: выстрел, только что раздавшийся, он принял за знак, который должен был подать майор. Но то стрелял охотник в горах, где-то поблизости. Другого выстрела не последовало; Эдуарда томило нетерпение.

Только теперь Оттилия заметила, что солнце уже склонилось за горы. Последний его отблеск еще сверкнул в окнах дома на холме.

— Уходи, Эдуард — воскликнула Оттилия. — Мы так долго были лишены друг друга, так долго терпели. Вспомни о нашем долге перед Шарлоттой. Она должна решить нашу судьбу, не будем же предвосхищать ее, Я твоя, если она согласна; если же нет, я должна от тебя отказаться. Если ты думаешь, что вес решится так скоро, то будем ждать. Возвращайся же в деревню, где майор тебя ждет. Мало ли что может произойти, — вдруг потребуются объяснение? И мыслимо ли, чтобы грубый пушечный выстрел возвестил успех его переговоров? Быть может, он ищет тебя в эту самую минуту. Шарлотту он не застал, я это знаю; он, пожалуй, отправился ей навстречу, так как было известно, куда она поехала. Возможно столько случайностей! Оставь меня! Теперь она должна вернуться. Она ждет меня и мальчика там, наверху.

Оттилия торопилась, говоря это. В уме она перебирала все возможности. Она была счастлива вблизи Эдуарда, но чувствовала, что теперь должна удалить его.

— Умоляю, заклинаю тебя, мой любимый, — воскликнула она, — возвращайся к себе и жди майора!

— Повинуюсь твоим приказаниям! — воскликнул Эдуард, бросив на нее полный страсти взгляд, а потом крепко сжав ее в объятиях. Она обвила его своими руками и нежно прижала к груди. Надежда падучей звездой блеснула над их головами. Им чудилось, им мечталось, что они принадлежат друг другу; они впервые решительно, свободно обменялись поцелуем и расстались с усилием над собою, с болью в душе.

Солнце зашло, и уже смеркалось, а от озера веяло сыростью. Оттилия стояла смущенная, взволнованная; она взглянула на дальний дом, и ей показалось, что она видит на балконе белое платье Шарлотты. Кружный путь вдоль озера был далек; она знала нетерпение, с которым Шарлотта всегда ждала сына. На том берегу, прямо против себя, она видит платаны, и только водное пространство отделяет ее от дорожки, которая тотчас же приведет к дому. И мыслями и взглядом она уже там. Опасение, не позволявшее ей довериться волнам вместе с ребенком, исчезает в этой тревоге. Она спешит к лодке, не чувствует, что сердце ее бьется, что ноги дрожат, что ей грозит обморок.

Она прыгает в лодку, хватая весло и отталкивается от берега. Ей приходится сделать усилие, оттолкнуться во второй раз; лодка покачнулась и пошла по воде. Левою рукой обхватив ребенка и в ней же держа книгу, а в правой весло, она тоже покачнулась и упала в лодке. Она роняет весло в одну сторону, а когда делает попытку подняться, ребенок и книга падают в воду за другой борт лодки. Она успевает схватить ребенка за его одежду, но неудобное положение мешает ей самой привстать. Свободной правой руки недостаточно, чтобы ей повернуться, подняться; наконец это ей удается, она вынимает ребенка из воды, но глаза его закрыты, он перестал дышать.

Она совершенно опомнилась в тот же миг, но тем ужаснее ее горе. Лодка уже почти на середине озера, весло уплыло, на берегу она не видит ни души, да и чем бы ей это помогло! От всех оторванная, она скользит по лону неприступной вероломной стихии.

Она ищет помощи у самой себя. Ей так часто приходилось слышать о спасении утопающих. Она помнит то, что видела вечером в день своего рождения. Она раздевает ребенка и обтирает его своим кисейным платьем. Она разрывает на себе одежду и впервые обнажает грудь перед лицом открытого неба; впервые она прижимает к чистой нагой груди живое существо, — увы! — уже не живое. Холодное тело несчастного создания леденит ее грудь до глубины сердца. Слезы без конца льются из ее глаз и сообщают окоченевшему обманчивую теплоту и видимость жизни. Она не оставляет своих усилий, заворачивает его в свою шаль, гладит, прижимает, дышит на него, плачет, целует, думая всем этим заменить средства помощи, которых она лишена в своем одиночестве.

Все напрасно! Ребенок не движется у нее на руках, не движется лодка на поверхности озера; но прекрасная душа Оттилии и здесь не оставляет ее без помощи. Она обращается к небу. Стоя в лодке, она опускается на колени и обеими руками подымает окоченевшего ребенка над своей невинной грудью, которая белизной и — увы! — холодностью напоминает мрамор. Подняв к небу влажный взор, она взывает о помощи, ожидая ее оттуда, где нежное сердце надеется найти веку безмерность блага, когда кругом иссякло все.

И не напрасно она обращается к звездам, которые поодиночке уже начинают мерцать. Подымается легкий ветерок и гонит лодку к платанам.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Она спешит к новому дому, зовет лекаря, передает ему ребенка. Тот, не теряя присутствия духа, испытывает привычные средства, применяя их одно за другим к этому нежному мертвому телу. Оттилия во всем помогает ему; она все приносит, подает, хлопочет, но словно блуждая в ином мире, ибо величайшее несчастье, как и величайшее счастье, изменяет облик всех предметов, и только когда после всех попыток этот славный человек качает головой и на ее вопросы, проникнутые надеждой, сперва молчит, а потом тихо произносит «нет», она покидает спальню Шарлотты, где все это происходило, и, едва достигнув гостиной, в полном изнеможении падает, не дойдя до дивана, лицом на ковер.

В эту минуту услышали, как подъехала Шарлотта. Лекарь настоятельно просит всех окружающих остаться здесь, сам он хочет выйти ей навстречу, подготовить ее, но она уже входит в комнату. Она видит Оттилию, лежащую на полу, а одна из горничных бросается навстречу

ей с криком и плачем. Тут входит лекарь, и она сразу узнает все. Но неужели она сразу откажется от всякой надежды! Этот опытный, искусный и умный лекарь просит ее об одном — не смотреть на ребенка; он же удаляется, чтобы обмануть ее новыми попытками оживить его. Она села на диван, Оттилия все еще лежит на полу, по уже склонив свою прекрасную голову на колени подруги. Сострадательный врач то приходит, то уходит; заботы его как будто направлены на ребенка, на самом же деле он заботится о женщинах. Так наступает полночь, мертвая тишина становится все глубже. Шарлотта более не скрывает от себя, что ребенка не вернуть к жизни; она хочет его видеть. Опрятно завернутого в теплые шерстяные одеяла, его положили в корзину, которую и ставят рядом с ней на диване; видно только личико: вот он лежит, спокойный и прекрасный.

Весть о несчастье вскоре взволновала и деревню, а там донеслась до гостиницы. Майор поднялся на холм по знакомым дорожкам; он обошел вокруг дома и, остановив одного из слуг, бежавшего за чем-то в пристройку, получил от него более подробные сведения и велел вызвать лекаря. Тот вышел, удивленный появлением своего прежнего покровителя, рассказал ему о положении и взялся подготовить Шарлотту к свиданию с ним. Он вернулся в дом, начал разговор издалека, переводя воображение Шарлотты с одного предмета на другой, пока наконец не напомнил ей о друге, о его неизменном участии, о его близости по духу, по образу мыслей, которая тут же вскоре оказалась и близостью в прямом смысле. Словом, она узнала, что друг желает ее видеть.

Майор вошел, Шарлотта встретила его скорбной улыбкой. Он стоял перед нею. Она приподняла зеленое шелковое одеяло, которым был прикрыт труп, и при тусклом свете свечи он не без тайного содрогания увидел свое застывшее подобие. Шарлотта указала ему на стул, и так они молча, друг против друга, просидели всю ночь. Оттилия все еще спокойно лежала на коленях у Шарлотты, она тихо дышала — спала или казалась спящей.

Забрезжило утро, свеча погасла, Шарлотта и ее друг словно пробудились от тяжелого сна. Она посмотрела на майора и спокойным тоном спросила:

— Объясните мне, друг мой, какими судьбами вы явились сюда, чтобы принять участие в этой печальной сцене?

— Сейчас, — отвечал майор голосом таким же тихим, каким она задала вопрос, словно они не хотели разбудить Оттилию, — сейчас не время и не место прибегать к умолчаниям, делать вступления и лишь постепенно переходить к сущности дела. Несчастье, в котором я вас застаю, так ужасно, что важный повод, по которому я приехал к вам, теряет перед ним все свое значение.

И он вполне спокойно и просто признался ей, в чем цель его миссии, как ее представляет себе Эдуард, и что значит его приезд, который был продиктован и свободной его волей, и собственным его интересом. То и другое он изложил с величайшей почтительностью, но в то же время и с полной откровенностью; Шарлотта слушала его спокойно, не выражая ни удивления, ни досады.

Когда майор кончил, Шарлотта ответила ему так тихо, что ему пришлось придвинуть свой стул, чтобы расслышать ее слова:

— В таком положении, как сейчас, я еще не была никогда, но в случаях сколько-нибудь похожих я всегда себя спрашивала: что будет завтра? Я прекрасно чувствую, сейчас в моих руках судьба нескольких человек, и то, что я должна сделать, не вызывает у меня ни малейшего сомнения, и я сейчас же это скажу. Да, я согласна на развод. Мне следовало раньше на него решиться; своей нерешительностью, своим сопротивлением я убила ребенка. Есть вещи, на которых судьба настаивает упорно. Напрасно преграждают ей дорогу разум и добродетель, долг и все, что есть в мире святого; должно случиться то, что она считает правильным, что нам не кажется правильным, но в конце концов она добивается своего, что бы мы ни затевали.

Ах, что я говорю! Судьба хочет снова привести в исполнение мое же собственное намерение, мое желание, наперекор которому я совершила свой необдуманный шаг. Разве Оттилия и Эдуард не казались мне самой подходящей парой? Разве я не пыталась их сблизить? Разве сами вы, мой друг, не знали об этом плане? Так почему же я не умела отличить мужское упрямство от истинной любви? Почему отдала ему руку, если я, оставаясь ей другом, могла сделать счастливым и его, и другую женщину? Взгляните только на эту несчастную, что дремлет здесь! Я трепещу той минуты, когда от сна, похожего на смерть, она вернется к действительности. Как ей жить, как ей утешиться, если у нее нет надежды своей любовью вернуть ему то, что она у него отняла, явившись орудием в руках необычайной случайности? А она все может ему возратить, — так сильно, так страстно она его любит. Если любовь все может вытерпеть, то тем более она может все возратить. Обо мне же теперь нечего и думать.

Уходите незаметно, дорогой майор! Скажите Эдуарду, что я согласна на развод, что вести это дело я предоставляю ему, вам, Митлеру, что мое будущее положение меня несколько не заботит и я спокойна за него во всех отношениях. Я подпишу любую бумагу, которую мне принесут, — пусть только не требуют от меня, чтобы я тоже что-то делала, обдумывала, обсуждала.

Майор встал. Она протянула ему руку над головой Оттилии. Он прижал эту милую руку к своим губам.

— А я? На что надеяться мне? — прошептал он совсем тихо.

— Ответ пусть будет еще за мною, — промолвила Шарлотта. — Мы не виноваты и не заслужили несчастья, но и не заслужили того, чтобы жить счастливо вместе.

Майор удалился, всей душой сострадав Шарлотте, но не будучи в силах жалеть о бедном умершем ребенке. Эта жертва казалась ему неизбежной для их общего счастья. Ему представлялась Оттилия с собственным младенцем на руках, вернувшая Эдуарду все, что у него отняла; ему представилось, как и сам он будет держать на коленях сына, который с большим правом, чем умершее дитя, будет напоминать его всеми своими чертами.

Эти радостные надежды и образы встали перед его душой, когда он на обратном пути в гостиницу встретил Эдуарда, который всю ночь прождал его под открытым небом, тщетно надеясь, что огненный сигнал или пушечный гром возвестят ему о счастливом исходе. Он уже знал о несчастье и, тоже не жалея о бедном существе, видел в этом случае, хотя и не хотел бы в том себе признаться, вмешательство судьбы, сразу устраняющее все препятствия на пути к его счастью. Поэтому майору, который сообщил ему о решении жены, нетрудно

было убедить его вернуться в деревню, а потом и в городок, чтобы там обсудить дело и предпринять первые шаги.

Шарлотта, после того как ее оставил майор, лишь несколько минут просидела, погруженная в свои мысли: Оттилия привстала, устремив на подругу взгляд своих больших глаз. Сперва она подняла голову с ее колен, потом поднялась с пола и встала перед Шарлоттой.

— Уже во второй раз, — так начала девушка, и в тоне, которым она говорила, было неотразимое очарование, — во второй раз со мной случается то же самое. Ты как-то говорила мне, что в человеческой жизни повторяется порою то же самое и при одинаковых обстоятельствах. Теперь я вижу, как это правильно, и должна сделать тебе одно признание. Как-то раз, вскоре после смерти моей матери, я, тогда еще маленькая девочка, придвинула мою скамеечку к тебе; ты сидела на диване, как сейчас; моя голова лежала у тебя на коленях, я не спала, но и не бодрствовала, я полудремала. Я слышала все, что происходило вокруг меня, особенно же отчетливо все разговоры, но я не в силах была пошевелиться, что-нибудь сказать; даже если бы я хотела, я не могла бы дать понять, что нахожусь в полном сознании. Ты в тот раз разговаривала обо мне с одной подругой; ты жалела обо мне, бедной сироте, что осталась на свете одна; ты говорила о том, в каком зависимом положении я буду находиться и как плохо мне придется, если надо мной не воссияет некая счастливая звезда. Я верно и точно, быть может, слишком точно, запомнила то, чего ты, казалось, желала для меня, чего от меня требовала. По моим тогдашним скудным понятиям я составила себе из всего этого законы поведения; по ним я долго жила, с ними считалась во всем, что делала, в то время когда ты любила меня, заботилась обо мне, когда взяла меня в свой дом, да еще и некоторое время спустя.

Но я сошла с моего пути, я нарушила мои законы и даже перестала их создавать; и вот после этого страшного события ты снова открываешь мне глаза на мое положение, которое много плачевнее, чем тогда. Лежа у тебя на коленях, полуокаменев, я вдруг как бы из иного мира вновь слышу над собой твой тихий голос; я слышу и узнаю, что должна думать о себе; мне страшно самой себя, но так же, как и в тот раз, я в этом сне, похожем на смерть, увидела для себя новый путь.

Как и тогда, я приняла решение, а что я решила, ты сейчас узнаешь. Никогда не буду я принадлежать Эдуарду! Бог страшным образом раскрыл мне глаза на мое преступление. Я хочу его искупить, и пусть никто не пытается удержать меня! Ты, дорогая моя, милая моя, посчитайся с этим. Верни майора, напиши ему, чтобы он не предпринимал никаких шагов. Как я томилась, что не могла ни двинуться, ни пошевелиться, когда он уходил. Мне хотелось подняться, закричать; ты не должна была отпускать его с такими кошмарными надеждами...

Шарлотта и видела и чувствовала, в каком состоянии находится Оттилия, но она надеялась, что время и увещания окажут на нее свое действие. Однако, когда она попробовала заговорить о будущем, о надежде, о том, что и горе смягчается, Оттилия с жаром воскликнула:

— Нет! Не пытайтесь меня поколебать, не пытайтесь меня обмануть! В тот миг, когда я узнаю, что ты согласилась на развод, я в том же озере искуплю мою вину, мое преступление.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Если в счастливую и мирную пору совместной жизни родные, друзья, домочадцы даже больше, чем это нужно, толкуют о том, что вокруг них происходит или должно произойти, по многу раз сообщают друг другу о своих намерениях, начинаниях, занятиях, и, хоть прямо и не советуясь, все же как бы постоянно совещаются обо всех житейских делах, то, напротив, в обстоятельствах чрезвычайных, где, казалось бы, человек более всего нуждается в чьей-либо помощи и поддержке, каждый сосредоточивается в самом себе, стремится действовать самостоятельно, поступать по-своему и, скрывая средства, какими он пользуется, делает общим достоянием лишь исход, лишь достигнутою цель, лишь конечный результат.

В жизни обеих подруг после стольких необычайных и печальных событий наступило задумчиво-строгое затишье, и они бережно и ласково заботились друг о друге. Шарлотта велела незаметно перенести гробик в придел церкви. Там покоился младенец, первая жертва зловещего рока.

Шарлотта, насколько то было в ее силах, вернулась к жизненным заботам, и Оттилия была первой, кто нуждался в ее поддержке. На нее она обратила все свое внимание, но не давала ей этого заметить. Она знала, с какой силой эта дивная девушка любит Эдуарда; мало-помалу она выяснила, как протекала сцена, предшествовавшая несчастью, и узнала все ее подробности частью от самой Оттилии, частью из писем майора.

Оттилия, со своей стороны, значительно облегчала Шарлотте повседневную жизнь. Она была откровенна, даже разговорчива и только никогда не говорила о настоящем или о недавнем прошлом. Она все умела замечать, всегда была наблюдательна и много знала, — теперь все это обнаружилось. Она занимала и развлекала Шарлотту, еще лелеявшую тайную надежду соединить эту милую ей чету.

Но не таково было состояние Оттилии. Тайну своего жизненного пути она открыла подруге; она отрешилась теперь от давней своей скованности, от привычки к подчинению. Благодаря своему раскаянию, благодаря своей решимости она чувствовала себя освобожденной и от бремени своей вины, своей несчастной судьбы. Ей уже не требовалось усилия над собой; она в глубине сердца простила себя только под условием полного самоотречения, и это условие было для нее нерушимо навечно.

Так прошло некоторое время. Шарлотта чувствовала, что дом, и парк, и озеро, и группы скал и деревьев ежедневно оживляют в них обеих лишь скорбные воспоминания. Что им надо переменить место — было ясно. Но как это сделать, решить было нелегко.

Оставаться ли им обоим вместе? Первоначальное желание Эдуарда как будто требовало этого, к этому вынуждали его письма, его угрозы. Но как было не признать, что, несмотря на всю их добрую волю, все их благоразумие, все их усилия, им обоим было мучительно жить друг подле друга. В разговоре они многого избегали касаться. Порою хотелось понять что-нибудь лишь наполовину, но чаще какое-нибудь выражение истолковывалось ложно, — если не рассудком, то чувством. Обе боялись причинить друг другу боль, но эта-то боязнь прежде всего и была ранима и ранила сама.

Но если решиться на перемену места и вместе с тем хотя бы на краткую разлуку, то как тут не встать старому вопросу, куда отправить Оттилию? То знатное и богатое семейство, о котором была уже речь, по-прежнему искало для единственной наследницы, подающей такие надежды, занимательных и одаренных подруг. Еще во время последнего пребывания, а потом и в письмах баронесса предлагала Шарлотте послать туда Оттилию; теперь Шарлотта снова заговорила об этом с Оттилией. Но та решительно отказалась ехать туда, где она бы встретилась с тем, что принято называть большим светом.

— Чтобы мне не показаться тупой или упрямой, — промолвила она, — позвольте мне, дорогая тетя, сказать то, о чем при других обстоятельствах я считала бы нужным умолчать... Человек исключительно несчастный, даже если он ни в чем и не повинен, отмечен страшной печатью. Во всех, кто его видит, кто его замечает, его присутствие возбуждает какой-то ужас. Любой словно подмечает в нем следы страшного бремени, которое на него легло; любому человеку и жутко и любопытно. Так дом или город, где совершилось чудовищное деяние, внушает боязнь всякому, кто входит в него. Там и дневной свет не так ярок, и звезды словно теряют свой блеск.

До каких пределов, — впрочем, быть может, извинительных, — доходят по отношению к таким несчастным нескромность людей, их глупая назойливость и бестолковое добродушие! Простите мне, что я так говорю, но нельзя и поверить, сколько я выстрадала с той бедной девушкой, которую Люциана привела из дальних комнат, куда она забилась, обласкала ее и с лучшими намерениями хотела приохотить к играм и танцам. Когда бедное дитя, все более и более мучаясь, бросилось наконец бежать и лишилось чувств, я же подхватила ее на руки, а все гости в страхе и возбуждении с таким любопытством смотрели на несчастную, я, право, не думала, что и мне предстоит сходная участь; мое сочувствие к ней, искреннее и страстное, живо во мне и посейчас. Теперь я свое сострадание могу обратить на себя и должна остерегаться, как бы и мне не попасть в подобное положение.

— Но ты, милое дитя, — возразила Шарлотта, — нигде не сможешь укрыться от людских взоров. У нас нет монастырей, где раньше находили себе пристанище чувства, подобные твоим.

— Уединение — не пристанище, дорогая тетя, — отвечала Оттилия. — Самое лучшее пристанище там, где мы можем быть деятельными. Никакие покаяния, никакие лишения не спасут нас от зловещего рока, если он решился преследовать нас. Свет противен мне и страшен, если, ничем не занятая, я должна быть выставлена ему напоказ. Но за работой, радостной для меня, неутомимо исполняя мой долг, я выдержу взоры всякого человека, потому что взора божьего могу не бояться.

— Или я очень ошибаюсь, — сказала Шарлотта, — или тебя влечет вернуться в твой пансион.

— Да, — отвечала Оттилия, — не стану это отрицать; мне счастливым кажется тот, кто призван воспитывать других обычным путем, в то время как сам прошел необычайнейший. Разве мы не знаем из истории, что людям, которые после великих нравственных потрясений удалялись в пустыню, вовсе не удавалось укрыться, как они надеялись, найти себе там приют. Их снова призывали в мир, чтобы наставлять заблудших на путь истинный. А кто мог бы успешнее это сделать, как не они, уже посвященные в тайны жизненных заблуждений! Их призывали на помощь несчастным, и никто не был бы в силах оказывать лучшую помощь, как те, кого уже не могли постичь земные беды.

— Ты избираешь необычное призвание, — ответила Шарлотта. — Я не буду тебе мешать; пусть будет так, хотя бы, как я надеюсь, и на короткое время.

— Как я благодарна вам, — сказала Оттилия, — что вы позволяете мне сделать эту попытку, этот опыт. Если я не слишком обольщаюсь, это должно мне удался. Я буду вспоминать о том, скольким испытаниям я там подвергалась и как малы, как ничтожны они были в сравнении с теми, которые мне пришлось перенести впоследствии. Как весело я буду смотреть на смущение юных питомиц, улыбаться их детским горестям и нежной рукой выводить их из маленьких заблуждений. Счастливый не создан управлять счастливыми; человеку свойственно тем больше требовать и от себя и от других, чем больше ему дается. Лишь несчастный, оправившийся после потрясения, может в себе и в других развить сознание того, что и умеренными благами надо уметь наслаждаться.

— Позволь мне, — сказала после некоторого раздумья Шарлотта, — сделать только одно возражение против твоего плана, самое существенное, на мой взгляд. Тебе известны мысли твоего доброго наставника, умного и скромного. Вступив на путь, который ты избрала, ты будешь с каждым днем становиться для него дороже и необходимее. Если ему, судя по его чувствам, уже и сейчас трудно жить без тебя, то в дальнейшем, раз привыкнув к твоей помощи, он без тебя совсем не сможет заниматься своим делом. Ты будешь сперва помогать ему в его деятельности, чтобы она потом сделалась для него источником страдания.

— Судьба обошлась со мной немилостиво, — отвечала Оттилия, — и тот, кто меня любит, может быть, и не должен ждать для себя ничего лучшего. Этот друг так добр и умен, что в нем, надеюсь, разовьется столь же чистое чувство ко мне; он будет видеть во мне существо, отмеченное печатью провидения, существо, способное, быть может, и от себя и от других отвратить злое бедствие, но только благодаря тому, что оно посвятило себя тому святому, незримо нас окружающему, которое одно может оградить нас от грозных и враждебных сил...

Все, что милая девушка выразила с таким сердечным чувством, Шарлотта решила глубоко обдумать. Она всячески, хоть и самым осторожным образом, пыталась выведать, осуществимо ли сближение Оттилии с Эдуардом, однако и самое незаметное упоминание, самое слабое обнадеживание, малейшее подозрение, по-видимому, до глубины души задевало Оттилию; а однажды, когда это казалось неизбежным, она сказала об этом с полной ясностью.

— Если, — ответила ей Шарлотта, — твое решение отказаться от Эдуарда так твердо и неизменно, то остерегайся лишь одной опасности — свидания с ним. Вдали от любимого мы тем лучше владеем собою, чем глубже к нему наше чувство; тогда мы таим в себе всю силу страсти, которая раньше обращалась вовне. Но как быстро, как мгновенно рассеивается наше заблуждение, когда человек, без которого, как нам казалось, мы могли жить, вдруг снова встает перед нами, и жить без него мы уже не можем. Делай же теперь то, что считаешь самым уместным при нынешнем своем состоянии; проверь себя, лучше даже измени свое нынешнее решение, но только совершенно свободно, только так, как скажет твое сердце. Не допускай, чтобы случайность или неожиданность снова втянули тебя в прежнее положение; тогда в твоей душе воцарится невыносимый разлад. Как я уже сказала, прежде нежели ты сделаешь этот шаг,

прежде нежели ты уедешь от меня и начнешь новую жизнь, которая приведет тебя бог весть по каким путям, подумай еще раз, в самом ли деле ты можешь навсегда отказаться от Эдуарда. Но если ты решишься на это, дай мне слово, что ты не вступишь с ним ни в какие сношения, даже в разговор, хотя бы он и отыскал тебя, хотя бы стал добиваться с тобою встречи.

Оттилия, ни на миг не задумавшись, дала Шарлотте обещание, которое она уже раньше дала самой себе.

Но и теперь еще душу Шарлотты смущала угроза Эдуарда, что он готов отказаться от Оттилии лишь до той поры, пока она не разлучится с Шарлоттой. С тех пор, правда, обстоятельства так изменились, произошло столько событий, что слова эти, вырвавшиеся тогда под влиянием минуты, можно было бы считать утратившими всякое значение для дальнейшего, но все же она не хотела ни решиться на что бы то ни было, ни тем менее что-либо предпринять, если бы это могло хоть самым отдаленным образом его оскорбить, и Митлеру пришлось взять на себя задачу выведать мысли Эдуарда на этот счет.

После смерти ребенка Митлер часто, хоть и очень ненадолго, заезжал к Шарлотте. Несчастье сильно на него подействовало, и воссоединение супругов представлялось ему теперь маловероятным, но, по самому складу своего характера продолжая надеяться и добиваться, он теперь радовался про себя решению, принятому Оттилией. Он верил в целительную силу времени, все еще думая снова сблизить супругов, а на эти страстные порывы смотрел лишь как на испытания супружеской любви и верности.

Шарлотта сразу же, как только Оттилия впервые сказала о своем решении, написала майору, настоятельно прося его повлиять на Эдуарда, чтобы тот не предпринимал новых шагов и держался спокойно, выжидая, не восстановится ли душевное равновесие милой девушки. Сообщала она все необходимое и о дальнейших новостях и намерениях, и, спору нет, на Митлера возложено было трудное поручение подготовить Эдуарда к тому, что положение изменилось. Митлер же, хорошо зная, что мы легче миримся с переменами, уже совершившимися, чем даем согласие на перемены, еще предстоящие, убедил Шарлотту, что всего лучше тотчас же отправить Оттилию в пансион.

Поэтому, как только он уехал, начались приготовления к дороге. Оттилия стала укладываться, и Шарлотта заметила, что та не собирается взять с собою ни сундучок, ни что бы то ни было из вещей, в нем находящихся. Она промолчала, предоставляя девушке делать, что ей угодно. Приближался день отъезда. Карета Шарлотты должна была в первый день отвезти Оттилию до знакомого ночлега, а на второй — до пансиона; Нанни ее сопровождала с тем, чтобы остаться при ней в служанках. Пылкая девочка тотчас после смерти ребенка вернулась к Оттилии и по-прежнему всем своим существом, всей душой была привязана к ней; развлекая разговорами любимую госпожу, она как будто стремилась загладить происшедшее и всецело посвятить себя ей. Она была вне себя от счастья, что едет с нею и увидит новые места, так как до тех пор ни разу еще не уезжала со своей родины. Она тут же понеслась из замка в деревню рассказать о своей радости родителям и родственникам и заодно с ними попрощаться. К несчастью, она попутно забежала в комнату, где лежали больные корью, и, конечно, тут же заразилась. Путешествие не хотели откладывать. Оттилия сама на этом настаивала; она уже ездила этой дорогой и знала хозяев гостиницы, где собиралась остановиться; вез ее кучер Шарлотты, опасаться было нечего.

Шарлотта не возражала; мысленно и она спешила уже прочь из этих мест и хотела только приготовить для Эдуарда те комнаты замка, где жила Оттилия, и привести их в точно такой же вид, какой они имели до приезда капитана. Надежда возродить былое счастье нет-нет да и вспыхивает в человеке, а Шарлотта имела право питать такую надежду, да и сами обстоятельства ее на это наталкивали.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Митлер, прибывший для переговоров с Эдуардом, застал его в одиночестве. Облокотившись на стол, Эдуард правой рукой поддерживал голову. Он, видимо, очень страдал.

— Вас опять мучает головная боль? — спросил Митлер.

— Да, она мучает меня, — ответил Эдуард, — но я не в силах сетовать на нее: она мне напоминает об Оттилии. Может быть, — думается мне, — и она сейчас страдает, склонив голову на левую руку, и, верно, даже сильнее, чем я. Да почему бы мне и не терпеть эту боль, как она? Эти страдания для меня целительны, скажу больше — желанны; ибо так мне тем ярче, тем отчетливее и живее представляется ее терпение, а вместе с ним и другие ее добродетели; только в страдании мы по-настоящему и познаем те великие качества, которые необходимы, чтобы переносить его.

Митлер, увидев, что друг его настолько смирился перед судьбой, немедленно приступил к порученному делу, которое, однако, изложил постепенно, в исторической последовательности, начав с того, какая мысль возникла у Шарлотты и Оттилии, рассказал, как она мало-помалу созрела в намерение. Эдуард почти не делал замечаний. Из немногих слов, сказанных им, по-видимому, явствовало, что он все предоставляет на их усмотрение, мучившая его в это время боль как будто сделала его безразличным ко всему остальному.

Но едва он остался один, как вскочил и стал ходить по комнате. Он больше не чувствовал своей боли, он весь был поглощен другим. Воображение влюбленного разыгралось еще во время рассказа Митлера. Он видел Оттилию, одну или все равно что одну, на хорошо знакомой дороге, в привычной для него гостинице, в комнатах которой ему так часто случалось бывать; он думал, соображал, или, вернее, ничего не думал, ничего не соображал, а только страстно желал. Он должен был увидеться, поговорить с нею. Зачем, почему, что из этого должно было произойти, об этом он не думал. Он не пересиливал себя, он отдался течению.

Камердинер, посвященный в его намерения, немедленно выведал день и час отъезда Оттилии. Настало утро. Эдуард, никем не сопровождаемый, верхом поспешил туда, где должна была остановиться Оттилия. Он прибыл более чем заблаговременно; хозяйка, удивленная его внезапным приездом, радостно встретила его, — она была ему обязана большой семейной радостью: Эдуард выхлопотал знак отличия ее сыну-солдату, проявившему в бою большую храбрость; он сделал известным его подвиг, которому был единственным свидетелем, и сообщил о нем самому полководцу, преодолев препятствия, чинимые некоторыми недоброжелателями. Она не знала, чем угодить ему. Она поспешила по возможности прибрать в туалетной комнате, служившей, впрочем, и гардеробной и кладовой, но он объявил ей о предстоящем приезде одной дамы, которая остановится тут, а для себя просил наскоро приготовить комнатку сзади, выходящую в коридор. Хозяйке все это показалось таинственным, но ей было приятно услужить благодетелю,

проявившемуся столь большой интерес к приговору и принявшему в них самое деятельное участие. А он! С какими чувствами провел он время, тянувшееся так долго, до наступления вечера! Он оглядывал комнату, в которой должен был увидеть Оттилию; во всей своей необычной простоте она представлялась ему райской сенью. Чего только он не передумал, — поразить ли ему Оттилию неожиданностью или лучше предупредить ее? Это последнее решение в конце концов и восторжествовало: он сел и стал писать. Вот листок, который она должна была получить.

## ЭДУАРД — ОТТИЛИИ

В то время как ты, моя любимая, будешь читать это письмо, я буду близко от тебя. Не пугайся, не приходи в ужас; тебе нечего меня бояться. Я не стану вторгаться к тебе. Ты увидишь меня, только когда сама на то решишься.

Но прежде обдумай хорошенько и свое и мое положение. Как благодарен я тебе, что ты еще не сделала решительного шага; впрочем, и тот, который ты предприняла, достаточно серьезен. Не делай же его! Здесь, на этом необычном распутье, подумай еще раз: можешь ли ты быть моей? Хочешь ли ты быть моей? О, ты бы всем оказала великое благодеяние, а мне — безмерное!

Позволь же мне снова увидеть тебя, с радостью увидеть тебя. Позволь мне самому задать сладостный вопрос и услышать ответ из сладостных уст твоих. Приди на грудь мою, Оттилия, сюда, где ты уже покоилась не раз и где всегда твое место!

Пока он писал, его охватило такое чувство, будто вожденнейшая мечта его близка к исполнению, будто вот-вот она станет явью. «Она войдет в эту дверь, она прочтет это письмо, она, чей образ я так мечтал увидеть, здесь будет вправду стоять передо мною, как бывало раньше. Будет ли она та же, что и прежде? Не изменились ли ее облик и ее чувства?» Он все еще держал перо в руке, хотел написать то, что думал, но во двор въехала карета. Он, торопясь, приписал: «Я слышу, как ты подъехала. Прощай на один миг».

Он сложил письмо, надписал; запечатывать было уже поздно. Он бросился в комнатку, откуда был выход в коридор, и вдруг вспомнил, что оставил на столе часы с печатью. Оттилия не должна была сразу же увидеть их; он бросился назад и благополучно успел их унести. Из передней уже доносились шаги хозяйки, которая шла проводить приезжую в ее комнату. Он поспешил к себе, но дверь в комнатку захлопнул. Он давеча второпях уронил торчавший в ней ключ, который теперь лежал внутри, за дверью; замок защелкнулся, и Эдуард стоял, прикованный к месту. Он с силой нажимал на дверь — она не поддавалась. О, как бы он хотел проскользнуть в щель, слоено бесплотный дух! Но тщетно! Он прильнул лицом к дверному косяку. Оттилия вошла, хозяйка же, увидев Эдуарда, удалилась. Он уже не мог укрыться от Оттилии. Он повернулся к ней, и вот любящие вновь таким странным образом оказались лицом к лицу. Она спокойно и серьезно смотрела на него, не делая ни одного шага ни вперед, ни назад, а когда он хотел подойти к ней, на несколько шагов отступила к столу. Он тоже отступил.

— Оттилия, — воскликнул он тогда, — позволь мне прервать это страшное молчание! Неужели мы тени, стоящие друг против друга? Но прежде всего выслушай меня! Ты лишь случайно застала меня здесь. Возле тебя лежит письмо, которое должно было тебя предупредить. Прочитай его, прошу тебя, прочитай! И тогда реши, что найдешь возможным.

Она взглянула на письмо и после недолгого раздумья взяла его, развернула и прочла. Выражение ее лица не изменилось, пока она читала; затем она тихонько отложила письмо в сторону, подняла руки над головой, сложила ладони и, прижав их к груди, чуть-чуть наклонилась вперед, бросив на просящего такой взгляд, что он не мог не отказаться от всякого требования, всякого желания. Этот жест растерзал его сердце. Он не мог вынести вида, позы Оттилии. Казалось, она падет на колени, если он будет настаивать. В отчаянии он бросился из комнаты и послал к Оттилии хозяйку, чтобы не оставлять ее одну.

Он ходил по передней взад и вперед. Настала ночь, в комнате была тишина. Наконец вышла хозяйка и достала упавший ключ. Добрая женщина была взволнована, смущена, она не знала, что ей делать. Собираясь уходить, она протянула ключ Эдуарду, но он не согласился его принять. Она оставила свечу и удалилась.

Эдуард в глубочайшей тоске припал к порогу комнаты, где была Оттилия, и оросил его слезами. Вряд ли когда-нибудь двое любящих проводили более горестную ночь в столь близком соседстве.

Рассвело; кучер торопился ехать, хозяйка отперла комнату и вошла в нее. Она увидела, что Оттилия спит, не раздевшись, вернулась назад и кивнула Эдуарду, участливо ему улыбувшись. Оба вошли к спальне, но и это зрелище было для Эдуарда нестерпимым. Хозяйка не решалась разбудить покоящуюся девушку и села против нее. Наконец Оттилия открыла свои прекрасные глаза и поднялась с постели. От завтрака она отказывается, и в это время к ней входит Эдуард. Он настойчиво просит ее сказать хоть слово, объявить свою волю; он клянется, что подчинится ее воле во всем; но она молчит. Он ласково и настойчиво еще раз спрашивает ее, хочет ли она принадлежать ему. Как очаровательно, потупив взор, она качает головой в знак отказа! Он спрашивает ее, хочет ли она ехать в пансион. Она равнодушно делает знак отрицания. Когда же он спрашивает, не будет ли ему позволено отвезти ее назад, к Шарлотте, она в знак согласия решительно кивает головой. Он спешит к окну дать приказания кучеру, но она с быстротой молнии бросается вон из комнаты, спускается с лестницы и садится в карету. Кучер везет ее назад, к замку; Эдуард на некотором расстоянии следует верхом за каретой.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как удивилась Шарлотта, когда увидела Оттилию, въехавшую во двор замка, и тотчас вслед за нею примчавшегося верхом Эдуарда. Она поспешила к дверям: Оттилия выходит из кареты и приближается к ней с Эдуардом. В страстном порыве она с силой хватает супругов за руки, соединяет их и убегает к себе в комнату. Эдуард бросается к Шарлотте на шею, обливаясь слезами; он ничего не может объяснить, просит быть терпеливой с ним, позаботиться об Оттилии, помочь ей. Шарлотта спешит в комнату к Оттилии и вздрагивает, войдя в нее; все вынесено — одни только голые стены. Комната стала просторной и неуютной. Все вещи уже успели убрать, оставили посередине комнаты только сундучок, не зная, где найти ему место. Оттилия лежит на полу, положив голову и руки на сундучок. Шарлотта хлопчет над ней, спрашивает, что произошло, и не получает ответа.

Она оставляет при ней свою горничную, принесшую завтрак, и спешит к Эдуарду. Она находит его в зале, но и от него ничего не может



добиться. Он бросается перед ней на колени, омывает слезами ее руки и убегает в свою комнату; когда она спешит ему вслед, навстречу ей попадает его камердинер, который сообщает ей все, что было ему известно. Остальное она мысленно дополняет сама и тотчас же решительно принимается за то, чего требует настоящая минута. Комната Оттилии немедленно приводится в порядок. Свои покои Эдуард нашел такими, какими он их оставил, — до последнего клочка бумаги.

И вот все трое — под одним кровом, но Оттилия продолжает молчать, а Эдуард только и в силах просить жену хранить терпение, которого ему, очевидно, уже недостает. Шарлотта шлет гонцов к Митлеру и майору; первого не застают, второй приезжает. Ему-то Эдуард и изливает душу, признается во всем — до малейшей подробности; так Шарлота узнает обо всем, что случилось, что столь резко изменило положение вещей и внесло смуту в их души.

Ласково и любовно говорит она со своим мужем, прося его только об одном, — чтобы он покуда оставил девушку в покое. Эдуард сознает все достоинства, всю любовь, все благоразумие своей жены, но страсть владеет им всецело. Шарлотта обнадеживает его, обещает дать согласие на развод. Он не верит; он так болен, что вслед за надеждой его покидает и вера; он настаивает, чтобы Шарлотта обещала свою руку майору, впадает в безумную раздражительность. Стараясь смягчить и успокоить его сердце, Шарлотта исполняет и это требование. Она обещает майору свою руку, лишь только Оттилия решится на брак с Эдуардом, однако ставит непременно условием, чтобы сперва мужчины отправились вместе путешествовать. Майору дано от его двора поручение за границу. Эдуард обещает сопутствовать ему. Начинаются приготовления, и все слегка успокаиваются, так как теперь, по крайней мере, хоть что-то делается.

Между тем все замечают, что Оттилия почти ничего не ест и не пьет, по-прежнему храня упорное молчание. На нее пытаются действовать убеждением, она приходит в тревожное состояние, и попытку бросают. Ведь почти всем нам свойственна такая слабость: мы и для блага человека не захотим его мучить. Шарлотта перебрала в уме все средства и наконец напала на мысль пригласить из пансиона помощника начальницы, который имел на Оттилию сильное влияние; узнав, что она не приедет, он написал ей участливое письмо, оставшееся, однако, без ответа.

Чтобы не поразить Оттилию возможностью его приезда, об этом плане заводят речь в ее присутствии. Она, видимо, не соглашается и впадает в раздумье; но вот в ней как будто созревает решение, она спешит к себе в комнату и еще до наступления вечера шлет собравшимся такую записку:

#### ОТТИЛИЯ — ДРУЗЬЯМ

К чему, мои дорогие, прямо высказывать то, что само собой разумеется? Я сошла с моего пути и больше мне на него не вернуться. Какой-то демон, захвативший власть надо мною, будет чинить мне внешние преграды, даже если я в душе найду примирение с собой.

Мое намерение отказаться от Эдуарда, удалиться от него было честно. Я надеялась, что больше не встречу с ним. Случилось иначе: он сам, против воли своей, предстал передо мной. Мое обещание не вступать с ним в переговоры я, быть может, поняла и истолковала слишком дословно. Чувство и совесть в ту минуту внушили мне молчать, я была нема в присутствии друга, а теперь мне не о чем говорить. Строгий монашеский обет, тяжелый и мучительный для того, кто дал бы его сознательно и обдуманно, я дала случайно, под давлением чувства. Позвольте же мне соблюдать его до тех пор, пока сердце мне это повелевает. Не призывайте никого в посредники! Не настаивайте, чтобы я говорила, чтобы я ела и пила больше, чем для меня необходимо. Помогите мне своей снисходительностью, своим терпением пережить это время. Я молода, а в молодости исцеление приходит порой внезапно. Потерпите меня в вашем кругу, порадайте вашей любовью, просветите вашими беседами, но душу мою предоставьте мне самой.

Путешествие обоих друзей, к которому так долго готовились, не состоялось, потому что отложено было заграничное поручение майора — так кстати для Эдуарда! Снова взбудораженный письмом Оттилии, вновь ободренный ее словами, полными утешения и надежды, приняв теперь решение ждать и дожидаться, он вдруг объявил, что не уедет.

— Как безрассудно, — воскликнул он, — преднамеренно и преждевременно отбрасывать самое важное, самое необходимое, то, что еще возможно сохранить, хотя бы тебе и грозила утрата! И зачем? Лишь затем, что человек хочет казаться свободным в своих желаниях, в своем выборе. Так и я, одержимый этим глупым самомнением, нередко на несколько часов, даже на несколько дней ускорял свой отъезд и расставался с друзьями, лишь бы только не стать в зависимость от последнего неизбежного срока. Но нет, на сей раз я останусь. Да и почему бы мне удаляться? Разве она уже не отдалена от меня? Мне и в голову не приходит взять ее за руку, прижать к моей груди; я даже не решаюсь об этом и думать, страшусь самой мысли. Она не ушла от меня, она вознеслась надо мною.

И он остался: он этого хотел, он не мог иначе. И вправду, было ни с чем не сравнимо то сладкое чувство, какое он испытывал, находясь близ нее. Да и она продолжала испытывать то же чувство, была не в силах отказаться от этой блаженной необходимости. Как прежде, они оказывали друг на друга неопишное, почти магически-притягательное действие. Они жили под одной кровлей, и часто, даже не думая друг о друге, занятые иными делами, отвлекаемые обществом, они неизменно друг к другу приближались. Находились ли они в одной и той же зале, как уже стояли или сидели рядом. Только самая непосредственная близость успокаивала их, но зато успокаивала совершенно, и этой близости им было довольно; не нужно было им ни взгляда, ни слова, ни жеста, ни прикосновения, а лишь одно — быть вместе. И тогда это были уже не два человека, а один человек, в бессознательно полном блаженстве, довольный и собою и целым светом. И если одного из них что-то удерживало в одном конце дома, другой мало-помалу невольно к нему приближался. Жизнь была для них загадкой, решение которой они находили только вместе.

Оттилия была весела и спокойна, так что на ее счет можно было не тревожиться. Она редко удалялась от общества; настояла лишь на том, чтобы еду ей подавали отдельно. И только Нанни прислуживала ей.

То, что обычно случается с каждым человеком, повторяется чаще, чем принято думать, ибо все это определено его природой. Характер, индивидуальность, склонности, направление развития, место, обстановка и привычки образуют в совокупности целое, в которое каждый человек погружен, как в некую стихию или атмосферу, где ему только и удобно и хорошо. И, таким образом, по прошествии многих лет мы, к нашему удивлению, находим, что те самые люди, на изменчивость которых слышится столько жалоб, не изменились, да и не поддаются

изменениям после стольких внешних и внутренних воздействий.

Так и в повседневной совместной жизни наших друзей почти все двигалось по старой колее. Оттилия по-прежнему, хотя и храня молчание, выказывала свою предупредительность, всегда старалась сделать приятное; как прежде, вели себя и остальные. Тем самым весь домашний кружок являл как бы видимость прежней жизни, и было простительно самообольщение, будто все осталось по-старому.

Осенние дни, своей продолжительностью равные весенним, заставляли друзей возвращаться домой в те же часы, что и весной. Плоды и цветы, составляющие украшение этого времени года, позволяли думать, будто это осень после той первой весны; время, которое протекло с тех пор, словно позабылось. Ведь цвели те самые цветы, что были тогда посеяны; зрели плоды на тех деревьях, что тогда стояли в цвету.

Время от времени приезжал майор; часто показывался и Митлер. Общество собиралось постоянно, почти каждый вечер. Эдуард обычно читал вслух, и еще с большей выразительностью, с большим чувством, с большим совершенством и даже, если угодно, с большей живостью, чем прежде. Казалось, будто он своей веселостью, силой своего чувства хочет пробудить Оттилию от оцепенения, положить конец ее молчанию. Он, как и прежде, садился так, чтобы она могла смотреть ему в книгу, и даже приходил в беспокойство, делался рассеян, если она не смотрела в нее, если он не был уверен, что она следит взглядом за его словами.

Все печальные и тяжелые чувства той промежуточной поры рассеялись. Никто ни на кого не обижался: всякая горечь и раздражительность исчезли. Майор сопровождал на скрипке игру Шарлотты на фортепьяно, а флейта Эдуарда, как и прежде, гармонически сливалась с инструментом Оттилии. Близился и день рождения Эдуарда, который в прошлом году так и не довелось отпраздновать. Теперь его предполагалось отметить без всякой торжественности, запросто, в дружеском кругу. Таково на словах было обещание, отчасти высказанное, отчасти молчаливое, соглашение. Но по мере того, как приближался этот день, во всем поведении, во всем облике Оттилии все более проступала какая-то праздничность, которая ранее скорее чувствовалась, чем замечалась. В саду она, по-видимому, часто осматривала цветы; садовнику она указала беречь все сорта летников и особенно долго останавливалась около астр, которые в этом году цвели в необычайном изобилии.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Всего существеннее, однако, было то обстоятельство, не ускользнувшее от пристального взгляда друзей, что Оттилия, впервые разобрав свой сундучок, довольно многое отложила, что-то выкроила и приготовила все необходимое для одного, но совершенно полного наряда. Когда же с помощью Нанни она опять уложила остальное на место, ей с этим едва удалось справиться — так туго был набит сундучок, несмотря на то, что часть вещей из него вынули. Жадная молодая служанка не могла на все это досыта насмотреться, тем более что здесь хранились и мелкие принадлежности туалета: башмаки, чулки, подвязки, перчатки, — словом, всякая всячина. Она попросила Оттилию подарить ей что-нибудь из этих вещей. Оттилия отказала, но тотчас же выдвинула один из ящиков комода, а выбрать предоставила самой девушке, которая поспешно и бестолково чего-то нахватала и сразу же убежала прочь со своей добычей, чтобы рассказать о таком счастье и все показать домочадцам.

В конце концов Оттилии удалось все уложить; тогда она открыла потайное отделение, устроенное в крышке. Там она прятала записки и письма Эдуарда, засушенные цветы — память о прежних прогулках, прядь волос возлюбленного и разное другое. Теперь она прибавила еще одну вещь — портрет отца — и заперла сундучок, ключик от которого опять надела на золотую цепочку, висевшую у нее на груди.

В сердцах друзей меж тем зашевелились надежды. Шарлотта была убеждена, что Оттилия снова заговорит в день Эдуардова рождения, ибо все это время она чем-то потихоньку занималась, проявляя какую-то радостную удовлетворенность собою и улыбаясь улыбкой, скользкой по лицу человека, который втайне готовит своим близким что-то приятное и хорошее. Никто не знал, что Оттилия часами пребывает в страшном изнеможении, лишь силою духа превозмогая его на время, когда она показывается в обществе.

Митлер появлялся теперь чаще и на более долгий срок, чем обычно. Этот упрямый человек прекрасно знал, что бывает определенная минута, когда только и можно ковать железо. Молчание Оттилии и ее отказ он истолковывал по-своему. Для развода до сих пор не предпринималось ни одного шага; судьбу доброй девушки он надеялся устроить каким-нибудь иным благоприятным образом; он прислушивался к мнениям, уступал, делал намеки и вел себя в своем роде довольно умно.

И только всякий раз, как ему представлялся повод высказывать суждения о предметах, которым он придавал особое значение, он был не в силах справиться с собою. Он много жил в одиночестве, в обществе же других привык действовать и лишь этим выражал свое к ним отношение. Но стоило ему разразиться речью в кругу друзей, и она — как мы в том не раз убеждались — текла без удержу, раня или исцеляя, принося пользу или вред, смотря по случаю.

Вечером, накануне дня рождения, Шарлотта и майор сидели в ожидании Эдуарда, который уехал куда-то верхом; Митлер ходил по комнате взад и вперед; Оттилия оставалась у себя, рассматривая наряд, приготовленный к завтрашнему дню, и давала указания служанке, прекрасно ее понимавшей и ловко выполнявшей все ее безмолвные распоряжения.

Митлер как раз затронул одну из излюбленных своих тем. Он любил утверждать, что при воспитании детей и управлении народами нет ничего более неуклюжего и варварского, как запреты, как законы и предписания, что-либо воспрещающие.

— Человек от природы деятелен, — говорил он, — и если ему умело приказать, он сразу же принимается за дело и исполняет его. Что касается меня, то я в моем кругу предпочитаю терпеть ошибки и пороки до тех пор, пока не смогу указать на добродетель, им противоположную, нежели устранять недостаток, не заменяя его ничем положительным. Человек, если только может, рад делать полезное, целесообразное; он делает это, лишь бы что-нибудь делать, и раздумывает об этом не больше, чем о глупых проделках, которые затевает от праздности и скуки.

До чего же мне всякий раз бывает досадно, когда приходится слышать, как заставляют детей заучивать десять заповедей. Четвертая — еще вполне сносная и благоразумная: «Чти отца твоего и мать твою». Если дети хорошенько ее зарубят на носу, то потом целый день

могут упражняться в ее применении. Но вот эта третья заповедь — ну что тут скажешь? «Не убий!» Словно найдется человек, у которого будет хоть малейшая охота убить другого. Люди ненавидят, негодуют, поступают опрометчиво, и вследствие всего этого, да и многого другого, может случиться, что кто-нибудь кого-нибудь и убьет. Но разве не варварство — запрещать детям смертоубийство? Если бы говорили: «Заботись о жизни ближнего своего, удаляй все, что может быть для него пагубно, спасай его даже с опасностью для самого себя, а если ты причинишь ему вред, считай, что повредил самому себе», — вот это были бы заповеди, какие подобают просвещенным и разумным народам, хотя на уроках катехизиса, когда спрашивается: «Как сие надо понимать?» — им едва находится место.

И вот, наконец, шестая заповедь, — она, по-моему, просто отвратительна! Как? Возбуждать и предвосхищать опасными тайнами любопытство детей, направлять их раздраженную фантазию на диковинные картины и образы, которые с силой наталкивают на то, что как раз и пытаешься удалить. Куда лучше было бы предоставить какому-нибудь тайному судилищу карать по своему произволу за такие дела, чем позволять болтать о них перед лицом церкви и прихода.

В это время вошла Оттилия.

— «Не прелюбы сотвори», — продолжал Митлер, — как это грубо, как неприлично. Разве не лучше было бы сказать: «Ты должен свято чтить брачный союз; когда ты видишь любящих супругов, ты должен радоваться на них и разделять их счастье, как ты разделяешь радость солнечного дня. Если к отношениям между ними что-нибудь помрачится, ты должен стараться, чтобы они вновь прояснились; ты должен стараться умиловить, смягчить супругов, дать им ясно осознать взаимные их выгоды и высоким бескорытием способствовать благу ближних, заставляя их почувствовать, какое счастье проистекает из всякой обязанности, а особенно из той, что неразрывно соединяет мужа и жену».

Шарлотта сидела как на углях, и положение тем более казалось ей тревожным, что Митлер, как она была убеждена, не соображал, где и что он говорит, но прежде, нежели ей удалось его перебить, она увидела, что Оттилия, изменяясь в лице, вышла из комнаты.

— От седьмой заповеди вы нас, надеюсь, избавите, — с деланной улыбкой сказала Шарлотта.

— От всех остальных, — ответил Митлер, — если мне удастся спасти ту, на которой основаны все остальные.

Вдруг со страшным воплем вбежала Нанни:

— Она умирает! Барышня умирает! Скорей! Скорей!

Когда Оттилия, шатаясь, вернулась в свою комнату, убор, приготовленный к завтрашнему дню, был разложен на нескольких стульях, и девочка, любясь им и переходя от предмета к предмету, весело воскликнула:

— Посмотрите, дорогая барышня, вот подвенечный наряд, который так и просится, чтобы вы его надели!

Оттилия, услышав эти слова, опустилась на диван. Нанни видит, как госпожа ее бледнеет и цепенеет; она бежит к Шарлотте. Входят в комнату; общий друг — доктор тоже спешит сюда; ему кажется, что это — только приступ слабости. Он велит принести крепкого бульона; Оттилия с отвращением отказывается от него, с нею делаются чуть ли не судороги, когда чашку подносят ей ко рту. Это заставляет его тотчас же задать строгий вопрос: что Оттилия сегодня ела? Служанка запинается; он повторяет вопрос; девочка признается, что Оттилия не ела ничего.

Ему кажется, что Нанни что-то уж слишком смущена. Он вталкивает ее в соседнюю комнату, Шарлотта идет за ними, девочка бросается на колени и признается, что Оттилия уже давно почти ничего не ест. Вместо Оттилии она, по ее требованию, съедала кушанья; молчала же потому, что боялась послушаться немых просьб и угроз своей госпожи, да и потому еще, в простоте своей прибавила она, что все это было такое вкусное.

Вошли майор и Митлер; Шарлотту они застали в хлопотах вместе с врачом. Оттилия, бледная, небесно-прекрасная, сидела в углу дивана и, казалось, была в полном сознании. Ее уговаривают прилечь: она не соглашается, но делает знак, чтобы поднесли сундучок. Она ставит на него ноги и остается в удобной полулежащей позе. Она словно прощается, жесты ее выражают нежнейшую привязанность ко всем окружающим, любовь, благодарность, мольбу о прощении и сердечное «прости».

Эдуард, сойдя с коня, узнает о случившемся, бросается в ее комнату, падает перед ней на колени и, схватив ее руку, омывает ее немymi слезами. Он долго остается так. Наконец он восклицает:

— Неужели мне больше не услышать твоего голоса? Неужели ты для меня не вернешься к жизни, чтобы сказать хоть одно слово? Пусть, пусть будет так! Я последую за тобой; там мы найдем иные слова.

Она с силой сжимает ему руку, она смотрит на него взглядом, полным жизни и любви, и, глубоко вздохнув, после немого, дивно трогательного движения губ произносит с усилием, полным нежданной нежности:

— Обещай мне, что ты будешь жить!

— Обещаю! — восклицает он, но она уже не слышит его ответа: она мертва.

После ночи, проведенной в слезах, на долю Шарлотты выпала забота о погребении дорогих останков. Ей помогли майор и Митлер. Состояние Эдуарда было самое плачевное. Едва опомнившись от пароксизма отчаяния и немного придя в себя, он начал настаивать на том, чтобы Оттилию не уносили из замка, чтобы о ней продолжали заботиться, ухаживали за ней, обращались с ней, как с живой, ибо она не умерла, не могла умереть. Волю его исполнили, воздержавшись, по крайней мере, от того, что он запретил. Видеть ее он не порывался.

Но прибавился еще новый повод для опасения, новая забота появилась у друзей. Нанни, которую врач выбранил со всею резкостью, угрозами заставил признаться, а потом осыпал упреками, убежала. После долгих поисков ее нашли: она, казалось, лишилась рассудка. Родители взяли ее к себе. Даже самое ласковое обращение не действовало на нее, ее пришлось запереть, потому что она грозилась снова убежать.

Эдуарда постепенно удалось вывести из состояния отчаяния, близкого к безумию, но на его же несчастье: теперь он уверился, убедился, что погибло счастье его жизни. Ему решились сказать, что, если отнести тело Оттилии в придел, она все еще будет оставаться среди живых и найдет пристанище тихое и приветливое. Получить на это его согласие было нелегко; он уступил наконец под тем условием, что ее вынесут туда в открытом гробу, накроют в усыпальнице стеклянной крышкой и затеплят возле нее неугасимую лампаду, — на этом он смирился.

Дивное тело покойницы одели в тот самый наряд, который она сама себе приготовила; голову ее украсили венком из астр, таинственно мерцавших, как печальное созвездие. Чтобы украсить гроб, церковь, придел, все сады лишили их убранства. Они теперь стояли опустошенные — словно зима, коснувшись клумб, уничтожила всю их радость. Было раннее утро, когда Оттилию вынесли из замка в открытом гробу, и всходящее солнце еще раз покрыло румянцем ее небесный лик. Провожающие теснились вокруг, никто не хотел оказаться впереди или отстать, каждый хотел быть подле нее, каждый хотел в последний раз насладиться ее присутствием. Мальчики, мужчины, женщины — никто не оставался бесчувствен. Девочки были безутешны, всего больше ощущая утрату.

Нанни не было. Ее удержали дома, вернее — скрыли от нее день и час погребения. Ее сторожили в родительском доме, в каморке, которая выходила в сад. Однако, услышав колокольный звон, она мигом сообразила, что сейчас происходит, а когда женщина, сторожившая ее, поддалась любопытству и пошла взглянуть на процессию, она выбралась через окно в коридор и оттуда, найдя все двери запертыми, — на чердак.

Процессия как раз двигалась через деревяню по чисто убранной, усыпанной листьями дороге. Внизу Нанни отчетливо увидела свою госпожу — отчетливее, полнее, еще более прекрасной, чем она казалась тем, кто шел за гробом. Неземная, как бы паря над грядями облаков или над гребнями воля, она словно кивнула своей служанке, и та в полном смятении покачнулась, голова у нее закружилась, и Нанни полетела вниз.

Толпа со страшным воплем расступилась во все стороны. Среди толкотни и сутолоки носильщикам пришлось поставить гроб наземь. Девочка лежала почти рядом; все тело ее, казалось, было разбито. Ее подняли и — была ли то случайность или воля промысла — положили вплотную к телу покойной; чудилось даже, что сна сама последним усилием воли хочет дотянуться до любимой госпожи. Но едва только ее дрожащие руки, ее слабеющие пальцы дотронулись до платья Оттилии, до сложенных на груди рук, как девочка вскочила, вся распрямилась, обратила взор к небу, потом пала перед гробом на колени и в благоговейном восторге устремила глаза на свою госпожу.

Наконец она поднялась, словно охваченная вдохновением, и воскликнула в святом порыве радости:

— Да, она мне простила! То, чего ни один человек, чего я сама не могла себе простить, мне бог прощает ее взглядом, ее устами. Вот она опять лежит так тихо и безмятежно, но ведь вы видели, как она поднялась и, протянув руки, благословила меня, как она ласково на меня взглянула. Все вы слышали, вы все свидетели, как она мне сказала: «Ты прощена!» Я уже не стою среди вас, как убийца: она меня простила, бог меня простил, и теперь никто меня не попрекнет.

Толпа теснилась кругом; все были изумлены, все прислушивались, осматривались по сторонам, и никто не мог сказать, как же быть дальше.

— Несите же ее с миром! — сказала девочка. — Свое она исполнила и отстрадала, и больше ей нельзя жить среди нас.

Гроб понесли дальше, первой пошла за ним Нанни, и шествие достигло церкви и придела.

Здесь и поставили гроб Оттилии, поместив его в просторный дубовый ларь; в головах стоял гробик ребенка, в ногах сундучок. Нашли и женщину которая должна была первое время сторожить покойницу, безмятежно лежавшую под своим стеклянным покровом. Но Нанни не хотела уступить эту обязанность другой; она хотела остаться одна, без всякой помощницы, и ревностно присматривать за лампадой, только что впервые зажженной. Она просила об этом с таким жаром, с таким упорством, что ей уступили, лишь бы предотвратить еще более тяжелое душевное расстройство, которого можно было опасаться.

Она недолго оставалась одна: как только наступила ночь, как только зыблющийся свет лампы, полностью вступив в свои права, бросил более яркий луч, отворилась дверь, и архитектор вошел в придел, стены которого с их благочестивой росписью предстали его глазам в этом мягком мерцании, такие старинные и таинственные, какими он их никогда не мог вообразить себе.

Нанни сидела сбоку от гроба. Она сразу узнала его и молча указала на мертвую госпожу. И вот он стал по другую сторону гроба, полный юношеской силы и красоты, весь уйдя в себя, неподвижный, сосредоточенный, опустив руки и горестно сжав ладони, склонив голову над усопшей и устремив на нее свой взор.

Однажды он уже стоял вот так перед Велизарием. Невольно он принял ту же позу, и как естественна была она и теперь! Ведь и здесь лежало во прахе нечто бесценно благородное; если тогда в лице героя можно было оплакивать безвозвратно утраченные храбрость, ум, могущество, высокое положение и богатство, если тогда оказались не только не оцененными, но отвергнутыми, отринутыми качества, столь необходимые в решительные минуты для пользы народа, для пользы монарха, то теперь равнодушной рукой природы были уничтожены совсем иные скромные добродетели, лишь недавно взошедшие из ее плодоносных глубин, редкие, прекрасные, любви достойные добродетели, благостное влияние которых наш скудный мир воспринимает с радостью и наслаждением и об утрате которых всегда скорбит и тоскует.

Юноша молчал, молчала и девочка; когда же она увидела, что слезы не перестают литься из его глаз и он, казалось, растворяется в

безыходной скорби, она заговорила с ним, и слова ее были полны такой искренности и силы, такой благожелательной уверенности, что он, изумленный этой плавно льющейся речью, смог опять овладеть собою, и его прекрасная подруга представилась ему живой и деятельной, но уже в иной, более высокой сфере. Он осушил свои слезы, скорбь смягчилась; коленопреклоненный, простился он с Оттилией, потом сердечно пожал руку Нанни и в ту же ночь ускакал, так ни с кем и не повидавшись.

Лекарь, тайком от девушки, тоже провел эту ночь в церкви и утром, зайдя навестить Нанни, нашел ее веселой и бодрой. Он ожидал увидеть признаки душевного расстройства, думал, что она будет ему рассказывать о ночных беседах с Оттилией и других подобных явлениях; но она держалась вполне естественно, была спокойна и сохраняла полную ясность сознания. Она с величайшей точностью помнила прошлое и все обстоятельства настоящего, и ничто в ее речах не выходило за пределы правды и действительности, кроме случая во время погребения, рассказ о котором она часто и с большой охотой повторяла: как Оттилия приподнялась, благословила, простила ее и этим навеки ее успокоила.

Оттилия лежала все такая же прекрасная, напоминая скорее уснувшую, чем усопшую, и это привлекло многих посетителей. Жителям деревни и окрестностей хотелось еще раз увидеть ее, и каждый охотно выслушивал из уст самой Нанни ее невероятную повесть: одни — чтобы посмеяться, большинство — чтобы в ней усомниться, и лишь немногие — чтобы верить ей.

Всякая потребность, в действительном удовлетворении которой нам отказано, порождает веру. Нанни, разбившаяся на глазах у всех, исцелилась прикосновением к телу праведницы — так почему же не допустить, что подобное же счастье уготовано здесь и для других? Любящие матери стали, сначала тайком, приносить сюда своих детей, страдающих каким-нибудь недугом, и им казалось, что в их здоровье наступает внезапное улучшение. Доверие росло, и под конец не было старого и слабого, который не искал бы здесь для себя облегчения и утешения. Приток верующих все возрастал, и вскоре пришлось запираить придел, а в небогослужебные часы — и церковь.

Эдуард не решался посетить покойницу. Жизнь его тянулась день за днем, слезы, казалось, иссякли у него, он больше не способен был и страдать. С каждым днем он все меньше принимает участия в разговоре, все меньше ест и пьет. Некоторое утешение он словно находит в питье из бокала, оказавшегося для него, правда, неверным пророком. Он по-прежнему любит рассматривать вензель на нем, и его задумчиво-ясный взгляд словно говорит, что он и теперь еще надеется соединиться с любимой. Но подобно тому, как счастливцу благоприятствует малейшее обстоятельство и всякая случайность его окрыляет, так для несчастного ничтожнейшие мелочи становятся поводом к огорчению и соединяются ему на пагубу. И вот однажды, поднося к губам любимый бокал, Эдуард вдруг с ужасом его отставляет; бокал был тот и не тот; недоставало маленькой отметины. Зовут камердинера, и тот вынужден признаться, что подлинный бокал недавно разбился и его подменили таким же, тоже заказанным в дни молодости Эдуарда. Сердиться Эдуард не в силах; судьба его решена самой жизнью — так может ли его тронуть какой-то символ? И все же он глубоко подавлен. Питье ему стало противно; он как будто нарочно воздерживается от пищи, от разговора.

Но время от времени на него находит беспокойство. Он просит, чтобы ему дали поесть, он начинает разговаривать.

— Ах, — сказал он однажды майору, почти не отходившему от него, — как я несчастен, что все мои старания остаются только подражанием, только бесплодным усилием. Что для нее было блаженством, то для меня стало мукой, и все же ради того блаженства я принужден переносить и муку. Я должен идти за нею, идти ее путем; но меня удерживают моя природа и мое обещание. Какая страшная задача — подражать неподражаемому! Я чувствую, мой дорогой, для всего нужен талант, даже для мученичества...

Говорить ли еще о волнениях и заботах жены, друзей, врача, которые окружали Эдуарда в его безнадежном состоянии? Наконец его нашли мертвым. Митлер первый сделал это печальное открытие. Он позвал врача и, не теряя самообладания, подробно осмотрел все, что окружало покойного. Вбежала Шарлотта; у нее шевельнулось подозрение — не самоубийство ли это. Но врач и Митлер быстро сумели разубедить ее: первый — естественными соображениями, второй — нравственными; было ясно, что смерть застигла его внезапно. Воспользовавшись тишиной и одиночеством, Эдуард вынул из шкатулки и из бумажника все то, что до сих пор он так тщательно скрывал, все, что осталось ему от Оттилии: локон, цветы, сорванные в счастливые минуты, все записочки, полученные от нее, начиная с той, первую, которую его жена столь случайным и роковым образом ему когда-то передала. Не хотел же он выставить все это напоказ посторонним взглядам? Еще так недавно это сердце билось и нескончаемой тревогой, но вот и оно обрело нерушимый покой. Так как скончался он с мыслью о праведнице, то блаженной можно назвать и его кончину. Шарлотта отвела ему место подле Оттилии и запретила впредь кого бы то ни было хоронить в этом склепе. Под этим условием она сделала щедрые вклады в пользу церкви и школы, пастора и учителя.

Так покоятся вместе двое любящих. Тишина осеняет их гробницы, светлые родные лики ангелов смотрят на них с высоты сводов, и как радостен будет миг их пробуждения!

## КОММЕНТАРИИ

В предисловии к «Поэзии и правде» Гете отчетливо противопоставляет «стремительному бурному началу» его литературной деятельности медленную работу над позднейшими своими произведениями, такими, как «Ифигения», как «Тассо», «Эгмонт» или «Вильгельм Мейстер», на создание которых были потрачены годы, если не десятилетия. Претерпел жанровое преобразование и роман «Избирательное сродство», первоначально задуманный как краткая вставная новелла, какими так густо насыщены «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Работая над ними с большими перерывами, Гете помечает в записи от 11 апреля 1808 года: «Схематизировал ряд маленьких рассказов, особенно усердно «Избирательное сродство»...» Судьба «Избирательного сродства» оказалась сложной. Краткая новелла вскоре стала разрастаться: «Содержание ее было слишком значительным, слишком захватывало меня, чтобы можно было от него так легко отделаться». Летом того же 1808 года, проведенным в Карлсбаде, Гете не только «обдумывал и прикидывал», а уже начал диктовать первые страницы романа. Мы читаем в его дневнике от 22 июля: «План «Избирательного сродства» доведен до конца, начали вырисовываться первые наброски текста». Через месяц, 28 августа, в день рождения поэта, новая запись: «Опять принялся за «Избирательное сродство», обдумал его со всех сторон». Но по возвращении Гете в Веймар наступает долгий перерыв, вызванный неотложными делами. Только в начале апреля следующего года возобновляется прерванная работа, и 18-го числа того же месяца Гете читает то ли восемь, то ли девять первых глав романа на вечере у герцогини Луизы. С тех пор работа над «Избирательным сродством» не прерывается, и уже в конце июля сдается в набор главный массив еще не законченного произведения. «... если мы в

августе и в сентябрь хорошо поработаем, есть надежда со всем управиться», — пишет он жене из Иены. И оттуда же оповещает друга Рейнхольда (уроженца Германии и видного французского дипломата при Наполеоне и после реставрации Бурбонов): «Больше семи недель сижу здесь взаперти и, как беременная женщина, желаю только одного: чтобы ребенок явился на свет, а там будь что будет. Новорожденный представится вам предположительно в середине октября. Примите его ласково». И вправду, 16 октября 1809 года «Избирательное сродство» полностью напечатано. В таком быстром темпе Гете работал только в стремительную пору своей юности — так увлекла его работа над этим произведением.

Роман «Избирательное сродство» не так-то легко поддается истолкованию. Перед нами зримый, «вещный» мир: люди, природа, привольная или тронутая рукою искусного садовника, интерьеры, архитектура зданий, воздвигнутых или только воздвигаемых в поместье богатого барона, три пруда, превращенные в большое озеро, — все это выписано с наглядной четкостью, характерной для произведений Гете, созданных в эпоху его классицизма. Психология действующих лиц, их поступки, мысли, убеждения по-человечески понятны, но вместе с тем покрыты «воздушной фатой, легкой и все же непроницаемой», как сказано Гете в письме к Цельтеру от 26 августа 1809 года. Спор о том, реалистичен или же символистичен смысл и стиль «Избирательного сродства», завязался еще при жизни писателя и продолжается по сю пору, не приводя к окончательному решению. Не потому ли, что неправомерно само противопоставление, положенное в основу этой дискуссии, сомнительная альтернатива реалистичности либо символистичности стилистики романа?

Речь здесь, собственно, должна была бы идти об отправной точке самого замысла данного произведения и о соответствующем его сути стилистическом осуществлении такового. Ни в одном из прочих своих художественных произведений Гете не соприкасается так тесно с воззрениями Спинозы, как именно в «Избирательном сродстве». Согласно Спинозе, психология и этика строго детерминистичны. Люди только мнят, будто они обладают свободой, но их свобода иллюзорна и состоит разве в том, как разъясняет философ, «что они, вполне сознавая свои желания, не знают причин, какими они обусловлены». Человек — часть природы, или даже лишь «частица» ее, как предпочитал выражаться Спиноза, в силу чего человек связан с бесконечной «совокупностью причин», направляемых законами, хотя и точными и определенными, но нам неизвестными, чуждыми нашей природе и пашей власти над природой.

Эта-то неразрывная сопряженность человека с совокупностью неведомых ему причин и следствий является предпосылкой всего, что совершается в романе Гете, в котором каждое слово, каждый поступок действующих лиц наделен как бы двойной смысловой нагрузкой: житейски-реалистическим и вместе с тем знаменательно-символическим смыслом, не осознаваемым ни персонажами романа, ни — поначалу — даже его читателями, подкупленными плавным, классически прозрачным слогом повествования. Вот почему Гете советовал не ограничиваться однократным прочтением сложно задуманного и не менее сложно построенного произведения, а перечитывать его повторно («до трех раз», как сказано автором) и с внимательным учетом того, как походя употребленное слово, походя упомянутый поступок или даже тот или иной эпизод романа приобретают новый знаменательный смысл по мере развертывания сюжета. Только при таком «чтении, как труд и творчество» (В. Асмус) можно сполна оцепить, как искусно Гете приводит в движение сложный механизм, формирующий трагические судьбы четырех людей, поставленных в центр повествования: Оттилии и Эдуарда, Шарлотты и капитана.

Название романа — «Избирательное сродство», как известно, повторяет латинское заглавие трактата выдающегося шведского химика Торбера Бергмана «De attractionibus electivis», в немецком переводе вышедшего в 1782 году. В этом научном сочинении, как явствует из разговора между обитателями замка (ч. I, гл. 4), речь идет о взаимном притяжении и отталкивании «неодушевленных элементов», о воссоединении сродственных элементов и, напротив, о невозможности их соединения никакими механическими исхищрениями — смешиванием, растиранием, взбалтыванием. Наиболее примечательны случаи, когда какой-либо элемент, дотоле связанный с другим, порывает свою былую связь и вступает в новую с элементом, еще более сродственным ему. Наблюдая подобные явления, мы и впрямь «готовы приписывать этим элементам своего рода волевые устремления и свободное избрание, почему я и нахожу технический термин «избирательное сродство» вполне оправданным... Надо самому... участливо наблюдать, как эти бездушные элементы... ищут, наступают, поглощают, поедают и вслед за тем... вновь возникают в обновленной неожиданной форме. Лишь тогда начинаешь верить, что они, чего доброго, и в самом деле обладают смыслом и рассудком, поскольку мы замечаем, что наших чувств едва хватает для наблюдения над ними, а наш разум не в силах в полной мере постичь их», — так заключает капитан свой краткий пересказ оригинальной теории шведского ученого.

И вес же такую антропологизацию (очеловечивание) химико-физиологических процессов бездушных элементов едва ли можно считать правомерной. При полном признании единственности законов, управляющих Вселенной, общими как для нравственных, так и для физических явлений, необходимо учитывать, что эти законы действуют по-разному «в мире неразумной природы» и в качественно отличном от него человеческом обществе. В мире неразумной природы условный научный термин «избирательное сродство» едва ли не полностью совпадает с понятием естественной необходимости. Иначе обстоит с миром человеческой культуры, человеческим обществом. И здесь человек подвластен сокрушительной мощи природы, тем более если она предстает перед ним в прельстительном обличье великой любви, всепоглощающей страсти. Но человек может по-разному отнестись к ее призыву: с полной готовностью, бездумно и безвольно подчиниться ее стихийной власти или же пытаться воспротивиться ей — по причинам морального порядка, в силу доводов неподкупной совести.

Большая любовь — всегда переворот, ломка всего, беспощадное обновление души и жизни. Ее поистине великая сила в том и заключается, что с ее приходом внезапно исчезает деление на «мое» и «твое» при полном удержании меня и тебя — вещь сама по себе, казалось бы, невыносимая, творимая только любовью. Никакие решения разума и нравственной воли, против нее направленные здесь, почти, как правило, бессильны: они отменяются уже в самый момент их принятия под натиском возобладавшего чувства, не допуская над собою никакого насилия. Но в то же время — уж такова диалектика истинно большой любви — она не соглашается ставить себя вне нравственного закона — из уважения к своей чистоте. Обрести счастье такой ценой для возвышенной чистой любви оскорбительно и невыносимо.

В этом трагедия конфликта между вечным правом любви и земным (относительным и условным, как все земное) нравом узаконенного брачного союза. Этот трагический мотив получил свое классическое отображение и истолкование в «Избирательном сродстве» Гете.

Благородный грек — Гомер.

Брактеады — средневековые серебряные монеты, отчеканенные лишь на одной стороне; они имели распространенное хождение

главным образом в Германии. Двусторонние монеты — тоже германские монеты, отчеканенные с обеих сторон.

Красная нить — нить, вплетенная в морские канаты; в фигуральном значении это слово впервые встречается у Гете в данном месте романа; впоследствии оно получило широкое распространение в немецком, а также в русском языках.

Воссоединиться с близкими своими... — библеизм, означающий «умереть, быть похороненным в родовой усыпальнице».

Артемизия — царица Кари (IV в.). После смерти мужа, Мавзола, она ежедневно примешивала к своему питью щепоточку праха своего супруга и воздвигла ему пышный надгробный памятник, признававшийся «одним из семи чудес света» (отсюда слово «мавзолей»).

Эфесская вдова (иначе: матрона Эфесская) — намек на рассказ из «Сатирикона» Петрония о женщине, отдавшей на могиле мужа воину, охранявшему прах ее супруга.

Incroyables — название французских щеголей времен Директории.

Ван-Дейк (1599–1641) — выдающийся фламандский живописец. Картина, о которой здесь говорится, находилась в собрании герцога Девонширского; Гете знал ее по гравюре.

Пуссен Николл (1594–1665) — известный французский художник.

Тербург (собственно Герард Терборх, 1617–1681) — голландский художник, мастер жанровой живописи, Вилле Иоганн Георг (1715–1808) — немецкий гравёр XVIII в., преимущественно живший в Париже.

Праесере (лат. «ясли») — техническое обозначение живописи, изображающей рождение Христа.

Comedie a tiroir (иначе Comedie episodique) — комедия, построенная на чередовании сцен, лишенных крепкой органической связи между собой.

Пенсероза — задумчивость (итал.).

Четвертая и пятая заповедь по счету православной Библии — пятая и шестая.

«Как сие надо понимать?» — Этими словами начинаются все толкования заповедей в Лютеровом катехизисе. Шестая заповедь по православной Библии — седьмая.

Н. Вильмонт

Примечания

1 Mittler — посредник (нем.).

2 Щеголь времен Директории (франц.).

3 Повернитесь, пожалуйста! (франц.)

4 Буквально: комедия выдвижных ящиков (франц.), то есть пьеса, в которой сцены друг с другом не связаны.